# Сельский священник

# Оноре де Бальзак

## Глава I

## ВЕРОНИКА

В нижнем Лиможе, на углу улицы Старой почты и улицы Ситэ, лет тридцать тому назад находилась одна из тех лавок, в которых как будто ничего не изменилось со времен средневековья. Неосторожный пешеход не раз споткнулся бы на широких выщербленных плитах, покрывающих неровную, местами сырую землю, если б не отдал должного внимания всем выбоинам и буграм столь непривычной мостовой. Пропитанные пылью стены представляли собой причудливую мозаику из дерева и кирпичей, из камня и железа, прочностью своей обязанную времени, а может быть, и случаю. Более ста лет сложенный из огромных балок пол, не дав ни единой трещины, прогибался под тяжестью верхних этажей. Выложенный из кирпича, дом этот снаружи был облицован прямоугольными шиферными плитками на гвоздях и хранил бесхитростный облик городских строений доброго старого времени. Ни одно из окон, обрамленных деревянными наличниками, некогда украшенными резьбой, позднее разрушенными дыханием непогоды, не держалось прямо по отвесу: одно выпирало наружу, другое заваливалось назад, иные, казалось, вот-вот распадутся на части; а вокруг каждого окна из земли, бог весть откуда взявшейся в размытых дождем трещинах, весной прорастали хилые цветочки, скромные вьющиеся стебельки и чахлая травка. Бархатистый мох стлался по крыше и подоконникам. Краеугольный столб сложной каменной кладки — из тесаных камней вперемежку с кирпичом и булыжником — выгнулся настолько, что смотреть было страшно: казалось, он не сегодня-завтра рухнет под тяжестью дома, а конек крыши уже выпятился вперед чуть не на полфута. Вот почему муниципальные власти и дорожное ведомство, купив этот дом, распорядились снести его и расширить тем самым перекресток.

Опорный столб, расположенный на углу двух улиц, предлагал вниманию любителей старины прелестную, высеченную в камне нишу, в которой стояла статуя святой девы, сильно пострадавшая во время революции. Горожане, притязающие на осведомленность в археологии, распознавали следы каменного выступа, предназначенного для подсвечников, на который благочестивые жители Лиможа ставили зажженные свечи, возлагали свои ex voto[[1]](#footnote-1) и цветы. Источенная червем деревянная лестница в глубине лавки вела на верхние два этажа и на чердак. Дом, задним фасадом примыкавший к двум соседним домам, был лишен глубины и получал дневной свет только из окон. Каждый этаж насчитывал по две комнатки об одном окне, смотревшие одна на улицу Старой почты, другая — на улицу Ситэ. В средние века так жили все ремесленники.

Некогда дом, очевидно, принадлежал кольчужнику, оружейнику, ножовщику либо другому какому мастеру, чье ремесло не боялось свежего воздуха: в нижнем помещении ничего не было видно, если не открывать настежь железные ставни на каждом фасаде, где по обе стороны от столба находилось по двери, как во многих лавках или мастерских, расположенных на углу двух улиц. Сразу за дверным порогом из прекрасного, стертого временем камня шла низенькая стенка с замурованным в нее железным желобом; другой желоб был вделан над дверью в верхнюю балку, подпирающую стену второго этажа. С незапамятных времен скользили по этим желобам тяжелые ставни и закреплялись толстым железным брусом, с гремящими болтами; заперев подобным хитроумным способом обе двери, владелец лавки мог чувствовать себя в своем доме, как в крепости. Осматривая помещение, где на памяти лимузенцев в первое двадцатилетие нашего века всегда громоздились горы железа и меди — старые пружины, ободья, колокола и всякий металлический лом, остающийся на месте разрушенных зданий, — любители старины по длинной полоске сажи определяли место, где проходила труба кузнечного горна — подробность, подтверждавшая предположения археологов о первоначальном назначении лавки. На втором этаже были расположены одна комната и кухня; на третьем — две комнаты. Чердак служил складом для вещей более ценных, чем товары, сваленные как попало в лавке.

Этот дом был сначала снят внаймы, а несколько позже и куплен неким Совиа, бродячим торговцем, который с 1792 по 1796 год исколесил все деревни вокруг провинции Овернь, обменивая горшки, блюда, тарелки, стаканы — словом, домашнюю утварь, необходимую даже в самом скромном хозяйстве, — на никому не нужное железо, медь, свинец, на любой металл, в каком бы то ни было виде. Овернец отдавал глиняный горшок ценой в два су за фунт свинца или за два фунта железа, за ломаную кирку или разбитую лопату, за старый, продавленный котелок; и всегда, являясь судьей в собственной тяжбе, он взвешивал железо сам. На третий год Совиа стал скупать еще и жесть. В 1793 году ему удалось приобрести продававшийся с национальных торгов зáмок[[2]](#footnote-2). Он разобрал его по камешку, а полученную прибыль, без сомнения, удвоил, пустив ее в оборот по всем отраслям своей торговли. Впоследствии первые удачи подсказали ему мысль поставить дело на широкую ногу, и он обратился с таким предложением к своему земляку, жившему в Париже. Таким образом, мысль о создании «Черной шайки»[[3]](#footnote-3), столь прославившейся своими опустошительными набегами, зародилась в мозгу старого Совиа, бродячего торговца, которого весь Лимож в течение двадцати семи лет мог видеть в жалкой лавке среди разбитых колоколов, ломаных кос, цепей, чугунков, мятых свинцовых труб и всевозможного железного хлама. Надо отдать ему справедливость, он никогда не подозревал ни о степени известности, ни о размахе этого сообщества; он пользовался его поддержкой лишь в соответствии с капиталом, который доверил знаменитому банкирскому дому Брезака.

В 1797 году, устав от кочевой жизни по ярмаркам и деревням, овернец осел в Лиможе и там женился на дочери вдовца жестянщика, по имени Шампаньяк. После смерти тестя он купил дом, где и обосновался на постоянном месте со своею торговлей железным товаром, пробродив года три перед этим вместе с женой по окрестным деревням.

Совиа сравнялось пятьдесят лет, когда он женился на дочери старого Шампаньяка, но и ей, пожалуй, было не меньше тридцати. Девица Шампаньяк не отличалась ни красотой, ни привлекательностью; она родилась в Оверни, и ее местный говор оказался для жениха главным соблазном; кроме того, она обладала могучим сложением, при котором женщине не страшна самая тяжелая работа. Во всех поездках жена не отставала от Совиа. Она таскала на спине мешки с железом и свинцом и правила лошадью, запряженной в ветхий фургон, набитый горшками, при помощи которых муж ее занимался скрытым ростовщичеством. Смуглая, румяная, пышущая здоровьем, девица Шампаньяк открывала в улыбке белые крупные, как миндаль, зубы; а грудь и бедра этой женщины говорили о том, что сама природа создала ее для материнства. Если такая крепкая девушка не вышла замуж раньше, то лишь по вине своего отца, который хотя и не читал Мольера, но твердо усвоил слова Гарпагона: «Без приданого!» Однако отсутствие приданого не испугало Совиа. К тому же пятидесятилетнему мужчине не пристало быть разборчивым, и, кроме того, он рассчитал, что жена избавит его от расхода на прислугу. Он и не подумал прикупить что-нибудь к обстановке своей комнаты, где со дня свадьбы и до переезда в новый дом неизменно стояли на своих местах кровать с резными колонками, украшенная фестончатым пологом и занавесками из зеленой саржи, сундук, комод, четыре кресла, стол и зеркало — все собранное где попало. В верхней части сундука хранилась разрозненная оловянная посуда. Нетрудно понять, что кухня была под стать спальне. Ни муж, ни жена не знали грамоте — несущественный пробел в их воспитании, который, впрочем, не мешал им превосходно считать и держать свою торговлю в цветущем состоянии. Совиа не покупал ни одной вещи, если не был уверен, что при перепродаже она не принесет ему сто процентов прибыли. Чтобы не тратиться на ведение книг и счетов, он и платил и получал только наличными. Память у него была безупречная; пролежи товар в лавке хоть пять лет, супруги Совиа до последнего лиара будут помнить его покупную цену и нарастающие каждый год проценты.

Матушка Совиа, кроме часов, занятых хлопотами по хозяйству, все время проводила, сидя на колченогом стуле, прислоненном к угловому столбу лавки; она вязала, поглядывая на прохожих и охраняя свое железо, а не то сама продавала, взвешивала и отпускала его, если Совиа находился в разъездах за товаром.

На рассвете хозяин с грохотом отодвигал ставни, из лавки стремглав выскакивала голодная собака, а вслед за тем появлялась тетушка Совиа, чтобы помочь мужу разложить на выступах стены по улице Старой почты и по улице Ситэ гнутые пружины, звонки, бубенчики, ломаные ружейные дула и всякий железный хлам, который, заменяя вывеску, придавал довольно жалкий вид лавке, где зачастую набиралось на двадцать тысяч франков свинца, стали и меди.

Никогда бывший бродячий торговец и его жена не говорили о своем богатстве; они скрывали его, как злодей скрывает преступление; их долгое время подозревали в подпиливании луидоров и экю. Когда умер старый Шампаньяк, супруги Совиа и не подумали составить опись имущества. С проворством крыс они обшарили весь дом, обчистили его как мертвое тело и сами продали в своей лавке оставшийся жестяной товар. Раз в год, в декабре, Совиа отправлялся в Париж, пользуясь в таких случаях почтовой каретой. Умные головы квартала полагали, что именно затем, чтобы сохранить в тайне свое богатство, Совиа и возит денежки в Париж самолично. Позже стало известно, что, будучи еще в молодости связан делами с одним из самых крупных торговцев скобяным товаром в Париже, тоже овернцем, Совиа вносил свои фонды в банкирский дом Брезака, ставший опорой знаменитого сообщества, прозванного «Черной шайкой», которое было создано, как говорилось выше, по совету Совиа.

Совиа был невысокий, толстый человечек с усталым лицом, отличавшийся необычайно честным видом, который привлекал к нему клиентов и немало способствовал удачной торговле. Он был скуп на уговоры и внешне проявлял полное безразличие, что всегда помогало выполнению его замыслов. Здоровый румянец едва проступал сквозь черную металлическую пыль, покрывавшую его тронутое следами оспы лицо и вьющиеся волосы. Лоб, не лишенный благородства, напоминал классический лоб, которым почти все художники наделяют святого Петра, самого грубого, самого *народного* и вместе с тем самого лукавого из всех апостолов. У него были руки неутомимого труженика, широкие, плотные, квадратные, изрезанные глубокими трещинами. Грудь отличалась мощной мускулатурой. Он никогда не расставался с одеждой бродячего торговца: грубые, подбитые гвоздями башмаки, синие, связанные женой чулки, заправленные под кожаные гетры, бархатные штаны бутылочного цвета, клетчатый жилет, поверх которого висел на отполированной временем, точно сталь, железной цепочке медный ключ от серебряных часов, короткополая куртка того же бархата, что и штаны, а вокруг шеи — цветной галстук, до блеска затертый под бородой. По воскресным и праздничным дням Совиа надевал сюртук коричневого сукна, который носил столь бережно, что заменить его новым пришлось лишь два раза за двадцать лет.

Жизнь каторжников могла бы показаться роскошной по сравнению с жизнью четы Совиа. Мясо они ели только по большим церковным праздникам. Всякий раз, расходуя деньги на повседневные нужды, матушка Совиа без конца рылась в двух карманах, спрятанных у нее между платьем и нижней юбкой, и, вытащив какую-нибудь дрянную подпиленную монету — экю ценой в шесть ливров или в пятьдесят пять су, — долго смотрела на нее с отчаянием, не решаясь разменять ее. Обычно супруги Совиа довольствовались селедкой, красной фасолью, сыром, крутыми яйцами, в виде добавления к салату, и самыми дешевыми овощами, смотря по сезону. Никогда они не делали запасов, разве что несколько связок чесноку или луку, которые ничего не боялись и стоили не бог весть сколько. То малое количество дров, которое сжигали они за зиму, матушка Совиа покупала у встречных дровосеков, и ровно на день. Зимой в семь часов, летом в девять семейство укладывалось спать, заперев лавку и оставив ее под охраной огромного пса, который днем искал себе пропитания по всем кухням квартала. Свечей матушка Совиа сжигала едва ли на три франка в год.

Но вот скудную трудовую жизнь этих людей осветила радость, посланная самой природой, и по этому случаю они впервые решились на крупные издержки. В мае 1802 года у матушки Совиа родилась дочь. Она рожала одна, без всякой помощи и через пять дней после родов уже хлопотала по хозяйству. Кормила ребенка она сама, сидя на своем стуле, под открытым небом, и, пока малютка сосала, мать неустанно торговала железом. Молоко ей ничего не стоило, и она кормила дочь грудью до двух лет, что, впрочем, не принесло той вреда. Вероника росла самым красивым ребенком в нижнем городе, прохожие всегда останавливались полюбоваться ею. И тут соседки обнаружили у старого Совиа признаки чувствительности, хотя до сих пор все думали, что он лишен ее начисто. Пока жена готовила ему обед, отец держал малютку на руках и укачивал ее, напевая овернские песенки. Рабочие не раз видели, как он подолгу стоял, любуясь уснувшей на руках у матери Вероникой. Ради дочери он старался смягчить свой грубый голос и даже вытирал ладони о штаны, прежде чем взять ее. Когда Вероника начала ходить, отец часто усаживался в нескольких шагах от нее на корточки и протягивал ей руки, умильно улыбаясь, отчего плясали все глубокие железные складки на его жестком, суровом лице. Этот человек, казалось, сделанный из свинца, железа и меди, неожиданно превращался в человека из плоти и крови. Когда он стоял, прислонясь к своему столбу, неподвижный, словно статуя, крик Вероники сразу приводил его в смятение. Он бросался к ней через горы железной рухляди, среди которой прошли все детские годы девочки, игравшей обломками металла, сваленными в углах просторной лавки, ни разу не поранив себя; она бегала играть и на улицу или к соседям, но мать никогда не теряла ее из виду.

Нелишне будет заметить, что супруги Совиа отличались чрезвычайной набожностью. В самый разгар революции Совиа свято соблюдал воскресные дни и все праздники. Дважды он чудом избежал гильотины, грозившей ему за посещение мессы, которую служил не присягнувший священник[[4]](#footnote-4). Наконец он все-таки угодил в тюрьму за то, что помог бежать одному епископу, которому спас жизнь. По счастью, бродячий торговец знал толк в напильниках и железных прутьях и убежал без труда. Совиа был приговорен к смертной казни заочно и, к слову сказать, так и не снял с себя этот приговор — он умер, будучи уже мертвым. Жена разделяла его благочестивые чувства. Скаредность этой четы отступала только перед голосом религии. Старые торговцы железом щедро платили за освященные облатки и опускали монеты в церковную кружку. Если викарий собора Сент-Этьен приходил к ним за помощью, Совиа или его жена без всяких ужимок и отговорок немедленно выкладывали то, что считали своей долей в милостыне, собираемой по всему приходу. После 1799 года ниша в столбе дома, где стояла изувеченная статуэтка Мадонны, украшалась на пасху веточками букса. А когда зацветали цветы, прохожие часто видели перед Мадонной свежие букеты в стаканчиках синего стекла, особенно после рождения Вероники. Во время религиозных процессий супруги Совиа заботливо украшали свой дом полотнищами и цветочными гирляндами, а также принимали участие в сооружении и убранстве уличного алтаря — гордости их перекрестка.

Вероника Совиа была, разумеется, воспитана как добрая христианка. В возрасте семи лет к ней приставили воспитательницей монахиню из Оверни, которой супруги Совиа оказали в свое время кое-какие услуги. Оба они, когда речь шла только о них самих или их времени, бывали любезны и услужливы, как все бедняки, которые помогают друг другу с известной сердечностью. Монахиня научила Веронику читать и писать, познакомила ее с историей народа-избранника, с Катехизисом, Ветхим и Новым заветом и самую малость со счетом. Вот и все — сестра монахиня полагала, что этого достаточно, если не слишком много.

К девяти годам Вероника поражала всех жителей квартала своей красотой. Каждый любовался личиком, которое обещало стать в будущем достойным кисти художников, стремящихся к прекрасному идеалу. Девочку прозвали *маленькой мадонной*, в ней и сейчас уже можно было угадать будущую стройную фигуру и нежную белую кожу. Личико мадонны обрамляли пышные белокурые волосы, подчеркивающие чистоту ее черт. Тот, кто видел чудесную маленькую Марию на картине Тициана «Введение во храм», поймет, какова была в детстве Вероника: та же простодушная невинность, то же ангельское изумление во взоре, та же простая и благородная осанка, та же поступь инфанты.

В одиннадцать лет Вероника заболела черной оспой и осталась жива только благодаря заботам сестры Марты. За те два месяца, что девочка была в опасности, супруги Совиа показали соседям всю меру своей родительской любви. Совиа прекратил поездки за товаром, все время он сидел в лавке, поминутно бегая наверх к дочери, и бодрствовал ночи напролет у ее постели вместе с женой. Его немое горе казалось таким глубоким, что соседи не осмеливались заговорить с ним; они смотрели на него с состраданием и справлялись о здоровье Вероники только у сестры Марты. В тот день, когда опасность стала особенно грозной, прохожие и соседи увидели, как из глаз Совиа, первый и единственный раз за всю его жизнь, полились по изрезанным морщинами щекам слезы; он не вытирал их; несколько часов просидел он как пришибленный, не решаясь подняться к дочери, глядя перед собой невидящим взглядом — в то время его можно было обокрасть.

Вероника была спасена, но красота ее погибла. Это прелестное лицо окрасилось ровным красно-коричневым тоном и покрылось грубыми рябинами, глубоко пробившими нежную кожу. Потемневший лоб тоже был отмечен клеймом жестокой болезни. Самым разительным казалось несоответствие между кирпичным цветом лица и белокурыми волосами — оно разрушало былую гармонию. Все эти глубокие и неровные разрывы кожной ткани исказили тонкий профиль, нарушили чистоту линий носа, потерявшего свою греческую форму, и подбородка, раньше нежного, как белый фарфор. Болезнь пощадила лишь то, чего не могла поразить: глаза и зубы. Вероника не утратила также грацию и красоту своего тела, пластичность его линий и гибкость талии. В пятнадцать лет она была недурна собой и, что особенно утешало родителей, стала скромной и доброй девушкой, деятельной, трудолюбивой и домовитой.

Когда Вероника совсем поправилась, то после первого причастия отец и мать отвели ей две комнаты на третьем этаже. Совиа, столь суровый к самому себе и к своей жене, тут проявил известную заботу о жизненных удобствах; он испытывал смутное желание утешить дочь в утрате, значение которой она сама еще не понимала. Потеряв красоту, которая являлась гордостью этих двух людей, Вероника стала для них еще более дорогой и ненаглядной. В один прекрасный день Совиа притащил на спине купленный по случаю ковер и сам повесил его в комнате Вероники. При продаже с торгов какого-то замка он придержал для нее стоявшую в спальне знатной дамы кровать с красным камчатным пологом, красные камчатные занавеси и обитые такой же тканью кресла и стулья. Этими старинными вещами, настоящую цену которым он так и не узнал, Совиа обставил комнату дочери. На выступе под окном он пристроил горшки с резедой и всякий раз привозил из своих поездок то анютины глазки, то еще какие-нибудь цветы, которыми разживался, по-видимому, у садовников или трактирщиков. Если бы Вероника умела сравнивать и могла судить о характере, образе мыслей и невежестве своих родителей, она оценила бы, сколько горячей любви проявлялось в подобных мелочах; но она просто любила их от всей души и ни о чем не раздумывала.

У Вероники было лучшее белье, какое только могла раздобыть у торговцев ее мать. Тетушка Совиа позволяла дочери выбирать для платьев любую материю по ее вкусу. И отец и мать нарадоваться не могли на скромность дочери, у которой не было ни малейшей склонности к мотовству. Вероника довольствовалась голубым шелковым платьем для праздничных дней, в рабочие дни зимой она носила платье из грубой мериносовой шерсти, а летом — из полосатого ситца. По воскресеньям она ходила с родителями в церковь, а после вечерни — на прогулку по берегам Вьены или в окрестностях города. В будние дни Вероника сидела дома, вышивая ковер. Деньги от его продажи предназначались бедным. Итак, она отличалась нравом самым простым, самым целомудренным и примерным. Иногда она шила белье для богоугодных заведений. Работу она перемежала чтением и читала только те книги, какие давал ей викарий собора Сент-Этьен, священник, с которым познакомила семейство Совиа сестра Марта.

Законы семейного скопидомства на Веронику не распространялись. Мать сама готовила ей отдельно, радуясь, что может кормить ее на славу. Родители продолжали питаться орехами, черствым хлебом, селедкой и фасолью с прогорклым маслом, но для Вероники ничто не казалось им достаточно вкусным и свежим.

— Вероника, должно быть, вам стоит немало, — говаривал папаше Совиа живущий напротив шляпник. Он имел виды на Веронику для своего сына, расценивая состояние торговца железом не менее, как в сто тысяч франков.

— Да, сосед, да, — отвечал старый Совиа. — Она могла бы хоть десять экю спросить у меня, и я все равно бы ей дал. У нее есть все, чего она только хочет, но сама она никогда ничего не попросит, овечка моя кроткая!

Вероника действительно не знала цены вещам; она никогда ни в чем не нуждалась. Золотую монету она увидела впервые в день своей свадьбы, у нее даже не было своего кошелька. Мать покупала и давала дочке все, что ей было угодно; даже когда Вероника хотела подать милостыню нищему, она искала мелочь в карманах у матери.

— Недорого же она вам стоит, — говорил тогда шляпник.

— Вот вы как думаете! — возражал Совиа. — Вы бы не уложились и в сорок экю за год. А ее комната! Одной мебели там больше, чем на сотню экю; но когда у тебя одна-единственная дочь, можно позволить себе такую роскошь. В конце концов та малость, что у нас есть, достанется ей целиком.

— Малость? Да вы, наверно, богач, папаша Совиа. Вот уж сорок лет вы торгуете без всякого урона.

— Ну, не перережут же мне горло за тысячу двести франков, — отвечал старый торговец железом.

С того самого дня, как Вероника утратила нежную красоту, привлекавшую к ее детскому личику восхищенные взоры всех жителей квартала, Совиа удвоил свою энергию. Торговля его пошла настолько бойко, что теперь он ездил в Париж по нескольку раз в год. Все поняли, что он хотел богатством возместить то, что он на своем языке называл убытком дочери. Когда Веронике сравнялось пятнадцать лет, в порядках дома произошли большие перемены. Закончив трудовой день, отец и мать поднимались в комнату дочери, и весь вечер она при свете лампы, поставленной позади наполненного водой стеклянного шара, читала им «Жития святых» или «Назидательные письма» — одним словом, книги, которые давал ей викарий. Старуха Совиа вязала, рассчитывая окупить таким образом стоимость масла. Соседи могли наблюдать из своих окон двух стариков, которые, застыв в своих креслах, словно китайские болванчики, с восхищением слушали чтение дочери, напрягая все силы своего ума, глухого ко всему, что не было торговлей или верой в бога. Бывали, разумеется, девушки, столь же чистые, как Вероника, но ни одна из них не была чище или скромнее. Ее исповедь могла удивить ангелов и порадовать святую деву.

В шестнадцать лет Вероника достигла полного расцвета. Она была среднего роста — ни отец, ни мать у нее не были высокими; но фигура ее отличалась изящной гибкостью и той пленительной мягкостью линий, какая с трудом дается художникам, но свойственна самой природе, которая тонким резцом высекает гармонические формы, всегда заметные глазу знатока, даже сквозь белье и грубые одежды, в конце концов лишь прикрывающие и драпирующие обнаженное тело. Чуждая притворства, Вероника подчеркивала свою прелесть простыми и естественными движениями, ничуть о том не думая. Красота ее возымела полную силу, если дозволено будет заимствовать в юридическом языке это выразительное определение. У Вероники были округлые плечи уроженки Оверни, пухлые красные руки хорошенькой трактирной служанки, ноги сильные, но стройные и под стать всей фигуре.

Иногда с Вероникой происходили восхитительные, чудесные превращения, обещавшие подарить любви скрытую от всех глаз женщину. Должно быть, этот феномен и вызывал у родителей восторги перед ее красотой, которую, к великому удивлению соседей, они называли божественной. Первыми заметили эту особенность священник собора и верующие, стоявшие рядом с алтарем. Когда Вероника загоралась каким-нибудь сильным чувством — а религиозный восторг, охвативший ее во время первого причастия, разумеется, был для такой невинной девушки одним из самых сильных волнений, — казалось, будто внутренний свет стирал своими лучами ужасные следы оспы, и чистое, лучезарное личико ее детства вновь возникало в былой своей красоте. Оно сияло сквозь плотный покров, наброшенный болезнью, как сияет цветок, таинственно проступая из освещенной солнцем морской глубины. Вероника менялась всего на несколько секунд: маленькая мадонна появлялась и исчезала, как небесное видение. Ее зрачки, наделенные особой подвижностью, в такие минуты словно расцветали, и голубая радужная оболочка превращалась в узкое колечко. Это мгновенное превращение глаза, наблюдаемое у орлов, довершало удивительную перемену, происходившую во внешности Вероники. Буря ли сдерживаемых страстей, или сила, растущая из глубины души, расширяла ее зрачки среди бела дня, а не в темноте, как случается это с прочими людьми, и заливала чернью лазурь этих ангельских глаз? Как бы там ни было, никто не мог без волнения смотреть на Веронику, когда она после единения с богом возвращалась от алтаря на свое место, являясь всему приходу в былом своем блеске. В эти минуты красота ее затмевала прелесть самых прекрасных женщин. Какое очарование могло таиться для влюбленного и ревнивого мужчины в этом телесном покрове, скрывающем его супругу от посторонних взоров, в покрове, сорвать который дозволено только руке любви!

Губы Вероники были восхитительно изогнуты и словно подкрашены киноварью, так играла в них горячая чистая кровь. Подбородок и нижняя часть лица были немного тяжелы, в том смысле, какой придают этому слову художники, но эта тяжеловесная форма, согласно безжалостным законам физиогномики[[5]](#footnote-5), являлась признаком почти болезненной силы страстей. Прекрасно вылепленный царственный лоб венчала корона блестящих пышных волос, принявших теперь каштановый оттенок.

С шестнадцати лет и до дня своего замужества Вероника была грустна и задумчива. Живя в глубоком одиночестве, она, как все одинокие души, предавалась созерцанию своего внутреннего мира: развития мысли, прихотливого сплетения образов, свободного полета чувств, согретых чистой жизнью. Горожане, проходившие по улице Ситэ в погожий день, могли, подняв голову, увидеть дочку Совиа, которая, сидя в задумчивости у окна, шила, вязала или вышивала по канве. Ее головка четко выделялась среди цветов, придававших поэтический вид старому окну с бурым растрескавшимся подоконником и тусклыми стеклами в свинцовых переплетах. Порой отсвет красных камчатных занавесей падал на эту и без того колоритную головку; подобно алому цветку, Вероника царила в воздушном саду, заботливо разведенном ею на окне. В этом старом, прелестном своей наивностью доме главной прелестью был портрет молодой девушки, достойный Мьериса, Ван Остаде, Терборга или Герарда Доу и вставленный в одну из тех покосившихся, побуревших оконных рам, которые так удавались их кисти. Когда какой-нибудь чужеземец, пораженный этим видением, раскрыв рот, устремлял свой взор на третий этаж, старик Совиа высовывал голову на улицу, чуть не теряя равновесие, в полной уверенности, что дочь его сидит у окна. Убедившись в этом, он, потирая руки, говорил жене на овернском наречии: «Э! Старуха, погляди, как любуются на твою дочку!»

В 1820 году в простой и безмятежной жизни, которую вела Вероника, произошел случай, возможно, оказавший губительное влияние на все ее будущее, хотя для любой другой юной особы мог и не иметь никакого значения. Как-то в один из отмененных революцией праздничных дней — в эти дни семейство Совиа запирало лавку и отправлялось в церковь или погулять, хотя весь город продолжал работать, — Вероника, направляясь с родителями в загородную прогулку, прошла мимо книжного магазина и увидела на выставке книгу под названием «Павел и Виргиния». Прельстившись красивой гравюрой, она захотела купить книжку, и отец, заплатив сто су за роковой томик, сунул его в объемистый карман своего сюртука.

— Не следует ли показать это господину викарию? — спросила мать, которой всякая печатная книга казалась чем-то предосудительным.

— Я и сама подумала, — просто ответила Вероника.

Девушка всю ночь провела за чтением романа — одной из самых трогательных книг, написанных на французском языке. Художник, нарисовавший эту почти библейскую и достойную младенческих лет человечества взаимную любовь, перевернул душу Вероники. Божественная или дьявольская рука сорвала завесу, ранее скрывавшую от нее природу. Таившаяся в прекрасной девушке маленькая мадонна наутро увидела, что цветы ее стали еще краше, — она поняла их символический язык, она устремила к лазурному небосводу взор, полный восторга, и беспричинные слезы полились из ее глаз.

В жизни каждой женщины наступает минута, когда ей дано постичь свою судьбу, когда все ее существо, доселе безмолвное, властно дает о себе знать. Дремлющее в женщине шестое чувство не всегда пробуждает мужчина, избранный ее нечаянным беглым взглядом. Чаще, пожалуй, его пробуждает какое-нибудь неожиданнее зрелище, прекрасный ландшафт, чтение, пышное религиозное празднество, сочетание естественных приятных запахов, чудесное, окутанное легким туманом утро, ласкающие звуки божественной музыки — одним словом, некое внезапное движение, совершившееся в тайниках нашей души или тела. Одинокой девушке, замкнувшейся в своем мрачном доме, воспитанной простыми, чуть ли не грубыми людьми, девушке, которая никогда не слыхала ни одного нечистого слова, не постигла своим невинным сознанием ни одной дурной мысли, ангелоподобной ученице сестры Марты и доброго викария тайну любви, составляющей жизнь женщины, открыла пленительная книга, открыл гений. Для любой другой девушки это чтение было бы безопасным. Для Вероники эта книга оказалась страшнее книги непристойной. Совращение — понятие относительное. Есть возвышенные девственные натуры, которые можно совратить одной-единственной мыслью и нанести им тем больший ущерб, что они и не подозревают о необходимости защиты.

На другой день Вероника показала книгу доброму священнику и получила полное его одобрение, ибо роман «Павел и Виргиния» славился как книга детская, невинная и чистая. Но жаркое дыхание тропиков и красота пейзажей, но почти младенческая непорочность почти святой любви произвели глубокое впечатление на Веронику. Кроткий благородный образ автора внушил ей роковое человеческое верование — поклонение Идеалу. Она предалась мечтам о возлюбленном, подобном Павлу. Ее воображение рисовало сладостные картины в лесах благоуханного острова. В ребяческом увлечении она назвала зеленый островок на Вьене, расположенный ниже Лиможа, почти напротив предместья Сен-Марсиаль, островом Иль-де-Франс. Ее воображение заселило этот островок фантастическими созданиями, которые придумывают все молодые девушки, наделяя их собственными совершенствами. Долгие часы она проводила у окна, разглядывая проходящих мимо ремесленников, единственных мужчин, о которых позволяло ей думать скромное положение ее родителей. Привыкнув уже к мысли о браке с человеком из народа, она все же чувствовала в себе глубокое отвращение ко всякой грубости. Вот почему она любила придумывать романы, какие все молодые девушки сочиняют для самих себя. Быть может, она лелеяла, с пылкостью, естественной для девственного и утонченного воображения, прекрасную мысль облагородить одного из этих людей, поднять его на ту высоту, где парили ее мечты; быть может, она превращала в Павла какого-нибудь юношу, избранного ее взглядом, лишь затем, чтобы воплотить в живом существе свои безумные грезы, — так схваченные морозом испарения атмосферной влаги кристаллизуются на ветках придорожного дерева. Порой в своих мечтах она устремлялась в бездонные глубины, и если часто на лбу ее, после возвращения с надзвездных высот, сиял отблеск небесного сияния, еще чаще она, казалось, держала в руках цветы, собранные на берегу потока, за которым следовала до самого дна пропасти.

В теплую погоду Вероника, взяв под руку старого отца, отправлялась на прогулку вдоль берега Вьены и там с восторгом любовалась красотой неба и полей, пурпурным великолепием заходящего солнца или нарядной прелестью обрызнутого росой утра. Весь ее облик дышал подлинной поэзией. Она стала тщательно приглаживать и завивать буклями свои волосы, которые раньше просто заплетала в косы и укладывала вокруг головы. В туалете ее появилась некоторая изысканность. Дикая виноградная лоза, свободно прильнувшая к старому вязу, была теперь пересажена, подрезана и обвилась вокруг кокетливой зеленой решетки.

В декабрьский вечер 1822 года к старому Совиа, недавно вернувшемуся из Парижа, — ему в ту пору уже исполнилось семьдесят лет, — пришел викарий. Поговорив о том, о сем, викарий сказал:

— Подумайте о замужестве своей дочери, Совиа. В вашем возрасте не следует откладывать выполнение столь важного долга.

— Да захочет ли еще Вероника выйти замуж? — спросил удивленный старик.

— Как вам будет угодно, батюшка, — ответила она, опустив глаза.

— Выдадим мы ее, выдадим! — с улыбкой воскликнула толстая матушка Совиа.

— Что же ты, мать моя, ничего не сказала мне перед отъездом? — возразил Совиа. — Теперь придется снова ехать в Париж.

Жером-Батист Совиа — в глазах которого богатство стоило любого счастья, а любовь и брак были лишь средством передать добро своему другому я, — поклялся выдать Веронику за богатого буржуа. Давно уже эта мысль превратилась у него в твердо принятое решение. Его сосед, богатый шляпник, имевший две тысячи ливров дохода, просил уже у Совиа для своего сына, которому он собирался передать мастерскую, руку Вероники, девушки знаменитой во всем квартале своим примерным поведением и благочестием. Совиа вежливо отказал, даже не сообщив об этом Веронике. На другой день после того, как викарий, особа важная в глазах супругов Совиа, заговорил о необходимости выдать замуж Веронику, чьим духовным наставником он являлся, старик побрился, надел свой праздничный костюм и вышел из дому, ни слова не сказав ни жене, ни дочери. И та и другая поняли, что отец пустился на поиски зятя. Старый Совиа направился к г-ну Граслену.

Господин Граслен, богатый лиможский банкир, в свое время, как и Совиа, приехал без гроша в кармане из Оверни искать счастья. Поступив рассыльным к одному финансисту, он, подобно многим из них, сделал карьеру благодаря своей бережливости, а также и счастливым обстоятельствам. Став в двадцать пять лет кассиром, а через десять лет компаньоном банкирского дома Перре и Гростет, он оказался хозяином конторы, после того как два старых банкира устранились от дел и уехали в свои поместья, оставив под невысокие проценты свой капитал в его распоряжение. Пьер Граслен, достигший к тому времени сорока семи лет, владел, если верить слухам, по меньшей мере шестьюстами тысячами франков. Недавно слава о богатстве Пьера Граслена разнеслась по всему департаменту. Все восхваляли его щедрость, выразившуюся в том, что он выстроил себе в новом квартале близ площади Деревьев, призванном сообщить приятный облик Лиможу, красивый дом, стоящий на красной линии и фасадом своим напоминающий общественное здание. Меблировать дом, законченный уже полгода назад, Пьер Граслен не решался; дом стоил ему так дорого, что он под любыми предлогами оттягивал свое переселение. Самолюбие, возможно, увлекло его за пределы тех мудрых законов, которые до сего времени правили всей его жизнью. Здравый смысл коммерсанта подсказал ему, что внутреннее устройство дома должно быть в полном соответствии с ясно выраженным характером фасада. Мебель, серебро и другие предметы роскоши, необходимые для жизни в таком особняке, должны были, согласно его расчетам, стоить не меньше, чем сама постройка. Невзирая на пересуды всего города, насмешки коммерсантов и дружеские уговоры ближних, банкир по-прежнему ютился в первом этаже старого, сырого и грязного дома, по улице Монтанманинь, где положил начало своему богатству. Общество злословило; однако Граслен заслужил одобрение двух своих бывших компаньонов, которые поощряли в нем столь необычную твердость.

Богатство и образ жизни такого человека, как Пьер Граслен, не могли не вызвать интереса во многих семьях провинциального города. Не одним предложением связать себя брачными узами пытались соблазнить г-на Граслена за последние десять лет. Но холостая жизнь была как нельзя более удобна для человека, занятого с утра до вечера, всегда утомленного разъездами, заваленного работой, выслеживающего выгодные дела, как охотник выслеживает дичь. Потому-то Граслен и не попался ни в одну из ловушек, расставленных ему честолюбивыми мамашами, жаждавшими заполучить для своих дочерей столь блестящего жениха. Граслен, этот Совиа высшей сферы деловой деятельности, тратил на себя не более сорока су в день, а одевался не лучше своего второго приказчика. Двух приказчиков и рассыльного ему было достаточно, чтобы ворочать огромными и сложными делами. Один приказчик вел корреспонденцию, другой ведал кассой. Душой всего дела был сам Пьер Граслен. Оба приказчика, принадлежавшие к его родне, были людьми надежными, толковыми и привычными к работе, как их хозяин. Что же касается рассыльного, то жизнь его мало отличалась от жизни ломовой лошади.

Граслен поднимался в любое время года в пять часов утра, а ложился не позже одиннадцати; он пользовался услугами одной только поденщицы, старой овернки, которая занималась его кухней. Фаянсовая посуда и грубое домотканое белье были в полном соответствии с заведенным в доме порядком. Старухе овернке был дан строгий приказ тратить не более трех франков в день на все нужды домашнего хозяйства. Мальчишка-рассыльный выполнял также обязанности слуги. Приказчики убирали свои комнаты сами. Почерневшие деревянные столы, продавленные соломенные стулья, шкафы для бумаг, жалкие деревянные койки — вся обстановка конторы и расположенных над ней трех комнат не стоила и тысячи франков, включая сюда огромную замурованную в стене железную кассу, доставшуюся Граслену в наследство от его предшественников, подле которой по ночам спал рассыльный вместе с двумя сторожевыми псами.

Граслен не часто бывал в обществе, где столь усиленно интересовались его особой. Два-три раза в год он обедал у главного сборщика податей, с которым его связывали дела. Иногда также бывал на обедах в префектуре, — к его великому сожалению, он был избран членом совета департамента. «Там только время теряешь», — говаривал он. Случалось, собратья убеждали его позавтракать или пообедать после заключения какой-нибудь сделки. Наконец, он обязательно должен был посещать своих бывших хозяев, которые проводили зиму в Лиможе. Граслен так мало дорожил светскими связями, что за двадцать пять лет не предложил никому и стакана воды. Когда Граслен проходил по улице, все говорили ему вслед: «Вот господин Граслен!» Другими словами, вот человек, который пришел в Лимож без гроша в кармане, а теперь обладает огромным состоянием. Банкир из Оверни являлся образцом, на который указывали отцы сыновьям, и поводом для язвительных насмешек, которыми жены осыпали мужей. Не трудно догадаться, по каким мотивам человек, ставший основным стержнем финансовой машины Лимузена, решительно отвергал преследовавшие его разнообразные брачные предложения. Дочери банкиров Перре и Гростета вышли замуж раньше, чем положение Граслена позволило бы ему на них жениться, но поскольку у каждой из этих дам были малютки-дочери, то Граслена в конце концов оставили в покое, предположив, что старый Перре или проницательный Гростет заранее подготовили брак Граслена с одной из своих внучек.

Совиа более внимательно и более серьезно, чем кто бы то ни было, следил за неуклонным восхождением своего земляка, с которым свел знакомство раньше, чем тот обосновался в Лиможе; но разница в их положении стала так велика, по крайней мере на поверхностный взгляд, что старая дружба, и без того неглубокая, почти совсем захирела. Тем не менее Граслен, не забывая земляка, охотно болтал с Совиа, когда им случалось встретиться. Оба они по старой привычке были на «ты», но только, если разговаривали на овернском наречии. Когда сборщик налогов в Бурже, младший из братьев Гростет, выдал в 1823 году свою дочь за младшего сына графа де Фонтена, Совиа понял, что Гростеты отнюдь не собираются принимать в свою семью Граслена.

После беседы с банкиром папаша Совиа вернулся к обеду весьма довольный и, войдя в комнату дочери, объявил обеим женщинам:

— Вероника будет госпожой Граслен.

— Госпожой Граслен? — воскликнула матушка Совиа в изумлении.

— Может ли это быть? — проронила никогда не видевшая Граслена Вероника, которой он представлялся столь же недоступным, как Ротшильд парижской гризетке.

— Да, дело сделано! — торжественно произнес старый Совиа. — Граслен великолепно обставит свой дом; он выпишет для нашей дочери лучшую карету из Парижа, заведет лучших лимузенских лошадей, купит для нее на пять тысяч франков земли и переведет на ее имя свой особняк. Одним словом, Вероника станет первой в Лиможе, самой богатой в департаменте, а из Граслена будет веревки вить!

Полученное ею воспитание, религиозные убеждения, беспредельная любовь к родителям и полное неведение помешали Веронике найти хоть какое-нибудь возражение; она даже не подумала, что ею распоряжались без ее согласия. На следующий день Совиа отправился в Париж и пробыл в отлучке целую неделю.

Пьер Граслен, не будучи, как легко догадаться, болтуном, не стал терять времени даром. Сказано — сделано. В феврале 1822 года необычайная новость, словно удар грома, поразила весь Лимож: особняк Граслена роскошно меблируется: целыми днями одна за другой прибывают из Парижа повозки и разгружаются во дворе. По городу побежали слухи о прекрасной, подобранной с изысканным вкусом мебели в старинном или современном стиле согласно моде. Знаменитый ювелир Одио прислал с почтовой каретой превосходное серебро. Наконец прибыли три экипажа: коляска, купе и кабриолет, укутанные в солому, словно драгоценности. Г-н Граслен женится! Эти слова в течение целого вечера слетали со всех уст, об этом заговорили в салонах высшего общества, в семейных домах, в лавках, в предместьях, а вскоре и во всем Лимузене. Но на ком? Этого никто не знал. В Лиможе появилась тайна.

После возвращения Совиа из Парижа в половине десятого состоялся первый вечерний визит г-на Граслена. Вероника ждала его, надев свое голубое шелковое платье с кружевной вставкой, набросив на плечи батистовую косынку с широким рубцом. Ее разделенные прямым пробором, до блеска приглаженные волосы были стянуты сзади пучком à la grecque[[6]](#footnote-6). Она сидела на мягком стуле рядом с матерью, устроившейся у камина в глубоком обитом красным бархатом кресле с резной спинкой — остаток роскоши старого замка. В очаге ярко пылал огонь. На каминной доске по обе стороны старинных часов, о подлинной ценности которых семейство Совиа, разумеется, и не подозревало, в старых медных канделябрах, сделанных в виде виноградной лозы, горело по шесть свечей, освещая коричневую комнату и Веронику в полном расцвете ее красоты. Старуха мать принарядилась. Пройдя по безмолвной в этот час улице, поднявшись среди мягкой полутьмы по старой лестнице, Граслен появился перед скромной наивной Вероникой, все еще витавшей в сладких мечтах о любви, навеянных ей книгой Бернардена де Сен-Пьера.

У маленького тощего Граслена была густая, как щетка, буйная черная шевелюра, из-под которой выступала красная, словно у запойного пьяницы, физиономия, усеянная гнойными прыщами, — кровоточащими или вот-вот готовыми вскрыться. Это цветение воспаленной крови — разгоряченной непрерывным трудом, заботами, неистовой страстью к коммерции, ночными бдениями, суровой воздержанной жизнью — походило одновременно на проказу и страшный лишай. Несмотря на все настояния своих компаньонов, приказчиков и врача, банкир не мог заставить себя подчиниться медицинскому вмешательству, которое остановило или умерило бы развитие болезни, обострявшейся с каждым днем. Он хотел выздороветь, он принимал в течение нескольких дней ванны, пил назначенное ему лекарство, но, увлеченный потоком дел, забывал о собственном здоровье. Граслен даже подумывал прервать на время свои занятия, отправиться путешествовать, полечиться на водах; но какой же охотник за миллионами может остановиться? На этой пылающей физиономии блестели два серых глаза, испещренных зелеными прожилками и коричневыми точками; два жадных глаза, два проницательных глаза, проникающих в самую глубь сердца, два безжалостных глаза, полных решимости, прямоты и расчета. У Граслена был вздернутый нос, рот с толстыми, чувственными губами, выпуклый лоб, щеки насмешника и мясистые уши с плотными краями, изъеденными болезнью. Одним словом, это был античный сатир, фавн в сюртуке и черном атласном жилете, с повязанным вокруг шеи белым галстуком. Сильные, крепкие плечи, в свое время привычные к тяжелой клади, уже согнулись; чрезмерно развитый торс опирался на короткие ляжки с кое-как приделанными к ним нескладными сухопарыми ногами. Тощие волосатые руки заканчивались скрюченными пальцами, словно приспособленными считать золото. Вокруг рта у него залегли ровные складки, как у всех людей, одержимых материальными интересами. Привычка к быстрым решениям читалась в изгибе приподнятых к вискам бровей. И все же, хотя губы его были сурово сжаты, по ним угадывалась скрытая доброта, прекрасная душа, погребенная под грузом дел, быть может, полузадушенная, но еще способная возродиться от прикосновения женской руки.

При появлении этого человека сердце Вероники судорожно сжалось, у нее потемнело в глазах; ей показалось, что она вскрикнула, но на самом деле она хранила молчание, не сводя с него неподвижного взгляда.

— Вероника, вот господин Граслен, — сказал тогда старый Совиа.

Вероника встала, поздоровалась, снова упала на стул и взглянула на мать, которая радостно улыбалась миллионеру и выглядела, как и Совиа, такой счастливой, такой счастливой, что бедная девочка нашла в себе силы скрыть охватившие ее ужас и отвращение. В завязавшемся разговоре речь зашла о здоровье г-на Граслена. Банкир взглянул на себя в оправленное эбеновой рамой зеркало с гранеными краями и простодушно заметил: «Я не красавец, мадмуазель». Он объяснил воспаленный цвет лица своей кипучей жизнью, рассказал, как пренебрегал советами врачей, и выразил надежду, что все изменится, если в его дом войдет женщина и станет заботиться о нем лучше, чем он сам.

— Э! С лица не воду пить! — воскликнул старый торговец железом, хлопнув что есть мочи земляка по ляжке.

Объяснение Граслена взывало к естественным чувствам, которыми в той или иной мере наделено сердце каждой женщины. Вероника подумала, что и ее лицо изуродовано ужасной болезнью, и христианская скромность побудила ее не поверить первому впечатлению. Тут с улицы раздался свист, и Граслен спустился вниз в сопровождении несколько обеспокоенного Совиа. Оба тут же вернулись. Запоздавший рассыльный принес первый букет. Когда банкир развернул целую охапку экзотических цветов, наполнивших комнату благоуханием, и преподнес их своей нареченной, Веронику охватили чувства, совсем не похожие на те, что она испытала при первом взгляде на Граслена. Ей показалось, будто она перенеслась в идеальный фантастический мир тропической природы. Она никогда не видела белых камелий, ей неведомы были запахи альпийского ракитника, мелиссы, азорского жасмина, волькамерий, мускусных роз — все эти божественные ароматы, которые, пробуждая в душе любовь, словно возносят к сердцу свои благоуханные гимны. Граслен покинул Веронику во власти новых переживаний.

После первого свидания каждый вечер, когда в Лиможе все было объято сном, банкир, скользя вдоль стен, пробирался к дому папаши Совиа. Он тихонько стучался в ставень, собака не лаяла, старик спускался вниз, открывал земляку дверь, и Граслен проводил час-другой в коричневой комнате подле Вероники. Там Граслена всегда ждал настоящий овернский ужин, приготовленный мамашей Совиа. Необычный поклонник никогда не приходил к Веронике без букета, составленного из самых редких цветов, выведенных в оранжерее г-на Гростета — единственного человека в Лиможе, посвященного в тайну этого сватовства. Рассыльный приходил каждый вечер, и старик Гростет сам составлял букет. За два месяца Граслен побывал в доме Совиа раз пятьдесят; и всякий раз приносил какой-нибудь дорогой подарок: кольца, часы, золотую цепочку, несессер и т. д.

Столь невероятную расточительность можно было объяснить немногими словами. В приданое Веронике предназначалось почти все состояние ее отца — семьсот пятьдесят тысяч франков. У старика хранилось государственное долговое обязательство на восемь тысяч франков, купленное за шестьдесят тысяч ливров ассигнациями его земляком Брезаком. Совиа доверил Брезаку эту сумму перед тем, как попал в тюрьму, и тот сохранил ее, уговорив старика не продавать облигаций. Эти шестьдесят тысяч ливров ассигнациями составляли половину богатства Совиа в тот момент, когда ему грозил эшафот. Брезак оказался в этих обстоятельствах верным хранителем остальных семисот луидоров — огромной суммы, которую овернец сразу же пустил в оборот, едва вышел на свободу. За тридцать лет каждый из этих луидоров превратился в тысячефранковую ассигнацию, чему способствовали также и государственная рента, и наследство Шампаньяка, и прибыли от торговли, и сложные проценты, нарастающие в банкирском доме Брезака, который питал к Совиа бескорыстную дружбу, связывавшую всех овернцев. Вот почему, когда Совиа проходил мимо особняка Граслена, он всегда говорил себе: «Вероника будет жить в этом дворце!» Он знал, что ни за одной девушкой в Лиможе не дадут в приданое семисот пятидесяти тысяч франков, а у Вероники была еще надежда на двести пятьдесят тысяч в будущем. Следовательно, избранный им в зятья Граслен неизбежно должен был жениться на Веронике.

Вероника каждый вечер получала букет, который на следующее утро, втайне от соседей, украшал ее маленькую гостиную. Она восхищалась прелестными драгоценностями, браслетами, жемчугом, бриллиантами, рубинами, которые нравятся всем дочерям Евы; в дорогом уборе она казалась себе менее безобразной. Она видела, как радуется мать ее браку, и у нее не было никакого образца для сравнения. К тому же она не знала ни обязанностей, ни цели супружества; и, наконец, она слышала торжественный голос викария собора Сент-Этьен, восхвалявшего Граслена как человека чести, с которым она будет вести достойную жизнь. Итак, Вероника согласилась принять попечение г-на Граслена. Когда в такой замкнутой и уединенной жизни, какую вела Вероника, появляется ежедневно один-единственный человек, человек этот не может быть безразличен: его либо ненавидят, и, если при более близком знакомстве отвращение не проходит, он становится невыносим; либо привычка видеть его скрадывает, если можно так выразиться, в наших глазах физические недостатки. Мысль начинает искать им возмещения. Это лицо возбуждает любопытство, черты его оживляются, порой в них проскальзывает мимолетная красота. И в конце концов проступает спрятанное под невзрачною формой глубокое содержание. Одним словом, стоит только преодолеть первое впечатление, и привязанность начинает расти, а душа лелеет ее, как собственное творение. Так возникает любовь. В этом объяснение страсти, какую испытывают порой красивые люди к существам на первый взгляд безобразным. Чувство заставляет забывать о форме, и теперь в человеке представляет цену только душа. К тому же красота, необходимая женщине, у мужчины приобретает характер столь своеобразный, что женщинам, быть может, так же трудно прийти к согласию относительно мужской красоты, как мужчинам — относительно женской.

После бесконечных колебаний, после долгой борьбы с самой собой Вероника разрешила, наконец, огласить помолвку. С той поры в Лиможе только и было разговоров, что об этом невероятном происшествии. Никому не была известна его разгадка: огромная сумма приданого. Если бы размеры приданого были известны, Вероника могла бы сама выбирать себе мужа; но, может быть, и она обманулась бы! Граслен прослыл влюбленным без памяти. Он выписал из Парижа обойщиков, которые отделали его прекрасный дом. В Лиможе только и судачили, что о щедрости банкира: подсчитывали стоимость люстр, рассказывали о позолоте гостиной, о стенных часах; описывали жардиньерки, скамеечки у камина, предметы роскоши, невиданные новинки. В саду, окружавшем особняк Граслена, над ледником был устроен прелестный вольер, и все приходившие поглазеть, а их было немало, поражались при виде диковинных птиц: попугаев, китайских фазанов, каких-то необыкновенных уток. Г-н и г-жа Гростет, пожилые особы, пользующиеся в Лиможе почетом, несколько раз посетили в сопровождении Граслена семейство Совиа. Г-жа Гростет, всеми уважаемая женщина, поздравила Веронику с удачным браком. Таким образом, церковь, семья, свет — все до последних мелочей способствовало этому браку.

В апреле знакомым Граслена были разосланы официальные приглашения. В одно прекрасное утро, около одиннадцати часов, вызвав великое волнение в квартале, к скромной лавке торговца железом подъехали коляска и купе, запряженные на английский манер лимузенскими лошадьми, которых выбрал сам Гростет. В экипажах сидели бывшие хозяева жениха и два его приказчика. Улица была полна народу, сбежавшегося поглядеть на дочку Совиа, которую причесал самый знаменитый в Лиможе парикмахер, украсив ее пышные волосы свадебным венцом и вуалью из самых дорогих английских кружев. На Веронике было простое платье из белого муслина. Внушительное сборище наиболее именитых дам города поджидало невесту в соборе, где сам епископ, зная благочестие семьи Совиа, удостоил обвенчать Веронику. Новобрачную все сочли дурнушкой. Она прибыла в свой особняк, где ее ожидал один сюрприз за другим. Парадный обед предшествовал балу, на который Граслен пригласил чуть ли не весь Лимож. Обед, устроенный для епископа, префекта, председателя суда, главного прокурора, мэра, генерала, бывших хозяев Граслена и их супруг, окончился триумфом новобрачной, которая, подобно всем простым и естественным натурам, проявила неожиданный такт и прелесть в обращении. Никто из новобрачных не умел танцевать, поэтому Вероника продолжала занимать гостей и снискала уважение и расположение всех своих новых знакомых, расспросив предварительно о каждом из них Гростета, который проникся к ней живейшей дружбой. Таким образом, она не совершила ни одной оплошности. В этот вечер два бывших банкира огласили сумму — в Лимузене неслыханную, — которую дал за дочкой старый Совиа. В девять часов торговец железом отправился спать домой, оставив жену присмотреть за отходом ко сну новобрачной. Во всем городе говорили, что г-жа Граслен некрасива, но хорошо сложена.

Старик Совиа ликвидировал свои дела и продал городской дом. На левом берегу Вьены между Лиможем и Клюзо он купил себе сельский домик, расположенный в десяти минутах от предместья Сен-Марсиаль, где собирался спокойно дожить вместе с женой свои дни. Старикам были отведены комнаты в особняке Граслена; раз или два в неделю они обедали у дочери, а она нередко посещала их домик во время прогулок. Но спокойная жизнь едва не убила старого торговца. К счастью, Граслен нашел способ занять делами своего тестя. В 1823 году банкиру пришлось приобрести небольшую фарфоровую фабрику — некогда он ссудил ее владельцам крупную сумму, и они могли расплатиться с ним, лишь продав ему свое заведение. Благодаря своим связям и вложенному капиталу Граслен сделал фабрику лучшей в Лиможе; три года спустя он перепродал ее с большим барышом. Пока что Граслен поручил наблюдение за этим солидным предприятием, расположенным как раз в предместье Сен-Марсиаль, своему тестю, который, хотя и достиг уже семидесяти двух лет, немало способствовал его процветанию и сам при этом как бы помолодел. Теперь Граслен мог целиком заняться своими делами в городе, не заботясь о фабрике, которая без энергичной деятельности старого Совиа, пожалуй, вынудила бы его взять в компаньоны одного из приказчиков и тем самым лишиться части полученных впоследствии барышей. Совиа умер в 1827 году от несчастного случая. Наблюдая за описью товаров на фабрике, он провалился в большой ящик с просветами, предназначенный для упаковки фарфора. При падении он слегка поранил ногу, но не обратил на это внимания. Началась гангрена. Старик ни за что не соглашался отрезать ногу и умер. Вдова отказалась от двухсот пятидесяти тысяч франков, которым примерно равнялось оставленное Совиа наследство, удовольствовавшись тем, что зять будет ей выплачивать ежемесячную ренту в двести франков, вполне достаточную для ее нужд. Она сохранила за собой свой сельский домик, где намеревалась жить одна, без служанки, не слушая уговоров дочери и держась своего решения с упрямством, свойственным старым людям. Впрочем, матушка Совиа почти каждый день навещала дочь, а дочь по-прежнему выбирала для своих прогулок сельский домик, откуда открывался чарующий вид на Вьену. С берега виден был любимый островок Вероники, из которого создала она некогда свой Иль-де-Франс.

Чтобы не нарушать в дальнейшем течение рассказа о семействе Граслен, нам пришлось закончить историю четы Совиа, предвосхитив некоторые события, нужные, впрочем, для объяснения той замкнутой жизни, которую вела г-жа Граслен. Старуха мать, догадываясь, что скупость Граслена может во многом стеснить ее дочь, долгое время не хотела отказываться от остатков своего состояния; но Вероника, неспособная предвидеть случай, когда женщинам так нужны собственные средства, настояла на этом из самых благородных побуждений: она хотела отблагодарить Граслена за то, что он вернул ей свободу, какой пользовалась она в девичестве.

Необычайная роскошь, сопутствующая бракосочетанию Граслена, шла вразрез со всеми его привычками и противоречила его характеру. Этот великий финансист обладал ограниченным умом. Вероника не могла судить о человеке, с которым предстояло ей провести всю жизнь. Во время своих пятидесяти пяти визитов Граслен всегда выказывал себя коммерсантом, упорным тружеником, который отлично понимает и направляет ход финансовых дел и изучает общественные события, измеряя их, впрочем, только масштабом банка. Зачарованный миллионом будущего тестя, выскочка проявлял щедрость из расчета; но он поставил дело на широкую ногу, он был увлечен весенней порой женитьбы и своим, как он говорил, безумством — тем домом, который до сих пор называют особняком Граслена. Он завел лошадей, коляску, купе и, разумеется, пользовался ими, отдавая визиты после свадьбы, посещая все обеды и балы, которыми высшие административные круги и богатые семьи отвечали новобрачным на их свадебный прием. Увлеченный течением, вырвавшим его из привычной сферы, Граслен назначил приемные дни и выписал повара из Парижа. Почти целый год он вел образ жизни, какой и должен был бы вести владелец полуторамиллионного состояния, сверх того располагающий еще тремя миллионами, если считать доверенные ему фонды. Тогда-то он и стал самым видным лицом в Лиможе. В течение года он каждый месяц великодушно опускал двадцать пять монет по двадцать франков в кошелек г-жи Граслен. Высший свет города уделял немало внимания Веронике в первые месяцы ее замужества; она была просто находкой для всеобщего любопытства, в провинции почти всегда лишенного пищи. Вероникой особенно интересовались, потому что в обществе она выглядела явлением необычным; однако держалась она просто и скромно, как человек, наблюдающий незнакомые ему нравы и обычаи, желая к ним примениться. Ее еще раньше объявили некрасивой, но хорошо сложенной, теперь решено было, что она добра, но глуповата. Она узнавала столько нового, ей нужно было столько услышать и увидеть, что ее поведение, ее речи могли придать подобному суждению видимость правоты. К тому же она находилась в каком-то оцепенении, которое могло показаться недостатком ума. Замужество — это тяжелое ремесло, как говорила она, — для которого и церковь, и закон, и ее мать могли посоветовать ей только величайшую покорность и совершеннейшее послушание под страхом преступить все человеческие законы и навлечь на себя непоправимые беды, повергло ее в глубокую подавленность, близкую к бессознательному состоянию. Молчаливая, сдержанная, она прислушивалась к самой себе, так же как прислушивалась к другим. Почувствовав, как, по выражению Фонтенеля, «трудно ей быть» и с каждым днем становится труднее, она испугалась самой себя. Природа восставала против души, тело не подчинялось воле. Попав в западню, бедное создание, рыдая, припало к груди великой матери всех несчастных и страждущих: она обратилась к церкви, она удвоила свое рвение, она поведала о кознях дьявола своему благочестивому духовнику, она молилась. Никогда в жизни не исполняла она свой религиозный долг с таким самозабвением. Отчаяние, вызванное тем, что она не любит своего мужа, бросало ее к подножию алтаря, и там божественные, полные сострадания голоса говорили ей о терпении. Она была терпелива и кротка и продолжала жить надеждой на счастье материнства.

— Видели ли вы сегодня госпожу Граслен? — говорили между собой женщины, — замужество не пошло ей на пользу, она так бледна!

— Да, но выдали бы вы свою дочь за такого человека, как господин Граслен? Нельзя безнаказанно быть женой такого чудовища.

С тех пор как Граслен женился, все мамаши, охотившиеся за ним в течение десяти лет, не переставали осыпать его насмешками.

Вероника худела и становилась в самом деле дурнушкой. Глаза у нее ввалились, черты лица огрубели, она казалась пристыженной и подавленной. В ее взгляде появился печальный холодок, который замечают обычно у ханжей. Она изнывала и чахла в первый год замужества, обычно самый счастливый для молодой женщины.

Вскоре она попробовала искать рассеяния в чтении, пользуясь правом замужней женщины читать все. Она прочла романы Вальтера Скотта, поэмы лорда Байрона, творения Шиллера и Гёте, ознакомилась с новой и древней литературой. Она научилась ездить верхом, танцевать и рисовать. Она писала акварелью и сепией, с жаром хватаясь за все, что помогает женщине бороться с тоской одиночества. Одним словом, она дала себе второе воспитание, которым почти все женщины обязаны мужчине, а она была обязана себе самой. Свободная, смелая натура, взращенная будто в пустыне, но укрепленная силой религии, поднимала Веронику выше всех, внушала ей гордое величие и требования, которых не могло удовлетворить провинциальное общество. Все книги говорили ей о любви, она искала применения прочитанному, но не видела страсти нигде. Любовь жила в ее сердце подобно ростку, который ждет первого солнечного луча. Глубокая грусть, порожденная постоянными размышлениями о своей судьбе, неведомым путем привела ее снова к лучезарным мечтам последних дней ее девичества. Не раз возвращалась она в своем воображении к былым романтическим вымыслам и сама становилась их героиней. Она опять увидела залитый светом, цветущий, благоуханный остров, где все ласкало ей душу. Часто ее угасший взор оглядывал гостиную с щемящим любопытством: все мужчины походили тут на Граслена, она наблюдала за ними и мысленно допрашивала их жен; но, не заметив ни на одном лице следов тайных страданий, она возвращалась домой, мрачная и печальная, недовольная собой. Авторы, которых она читала по утрам, отвечали самым высоким ее чувствам, ум их пленял ее. А вечером она выслушивала пошлости, даже не прикрытые остроумной формой, разговоры глупые и пустые или заполненные мелкими личными интересами, не имеющими для нее никакого значения. Она поражалась, слыша горячие споры, в которых и речи не было о чувстве, являвшемся для нее душой жизни. Часто сидела она в отупении, с неподвижным взглядом, вспоминая о днях своей ничего не ведавшей юности, проведенных в комнате, полной прекрасных грез, разбитых, растоптанных, как она сама. С ужасом и отвращением она думала о страшной пучине мелочности, поглотившей всех женщин, с которыми приходилось ей жить. Плохо скрытое презрение, написанное на ее лбу, на ее губах, было сочтено наглостью выскочки. Г-жа Граслен прочла на всех лицах холод и уловила во всех речах язвительность, причина которой осталась ей неизвестной, ибо до сих пор она не приобрела ни одной подруги, достаточно близкой, чтобы дать ей объяснение или совет. Несправедливость, оскорбляя ограниченные натуры, возвышенную душу приводит к глубокому раздумью и к своего рода смирению. Вероника стала осуждать себя, искать за собой вину: она старалась быть приветливой — ее обвинили в притворстве; она проявляла величайшую кротость — ее ославили лицемеркой, даже ее набожность возбуждала злословие; она тратила деньги, давала обеды и балы — ей приписали тщеславие. Потерпев неудачу во всех своих попытках, никем не понятая, отвергнутая низменной и оскорбительной спесью провинциального общества, где каждого обуревают кичливые притязания и ничтожные тревоги, г-жа Граслен замкнулась в полном одиночестве. С радостью вернулась она в объятия церкви. Ее сильный дух, заключенный в столь слабую плоть, нашел в многочисленных требованиях католицизма как бы камни, положенные у края пропасти, разверзнувшейся на жизненном пути, как бы опору, воздвигнутую милосердными руками для поддержания слабости человеческой; и со строжайшей точностью соблюдала она все мелочи религиозного обряда. Тогда либеральная партия зачислила г-жу Граслен в ряды городских ханжей и объявила ее ультрароялисткой. К различным нареканиям, которые навлекла на себя ни в чем не повинная Вероника, дух партийного пристрастия присоединил и свои ядовитые придирки. Но поскольку с изгнанием из общества Вероника ничего не теряла, она охотно покинула свет и обратилась к чтению, которое сулило ей неисчерпаемые богатства. Она размышляла о книгах, сравнивала высказанные в них взгляды, она изощряла силу своего понимания и расширяла круг сведений, она открыла врата своей души для любознательности. Во время этих упорных занятий, в которых только религия поддерживала ее дух, Вероника обрела дружбу Гростета. Он принадлежал к тем старикам, которые, погрязнув в провинциальной жизни, теряют свои выдающиеся достоинства, но при встрече с подлинно живым умом способны вновь проявить былой блеск. Гростет горячо заинтересовался Вероникой, а она вознаградила его за нежное, трогательное чувство, нередко пробуждающееся в сердце стариков, раскрыв перед ним первым все сокровища своей души, весь блеск своего ума, взлелеянного втайне и теперь достигшего полного расцвета. Отрывок из письма, написанного ею в те времена г-ну Гростету, покажет, в каком состоянии находилась женщина, которой суждено было в будущем проявить характер столь твердый и возвышенный.

«Цветы, которые вы мне прислали для бала, прелестны, но они вызвали во мне мучительное раздумье. Эти собранные вами чудесные создания, обреченные умереть у меня на груди и в моих волосах, украсив собой праздник, навели меня на мысль о цветах, что появляются на свет и умирают в ваших лесах, никем не видимые, никого не дарящие своим благоуханием. Я спросила себя, зачем я танцевала, зачем украшала себя драгоценностями, так же, как спрашиваю я у бога, зачем я живу на свете. Вы видите, друг мой, несчастного всюду подстерегают ловушки, ничтожная мелочь может напомнить больному о его недуге; но самая большая беда упорных недугов в том, что они превращаются в идею. Разве непрестанная боль не становится в конце концов мыслью о боге? Вы любите цветы ради них самих; я же люблю их, как люблю слушать прекрасную музыку. Итак, — я вам уже об этом говорила — тайна множества явлений от меня ускользает. У вас, старый друг мой, есть своя страсть: вы садовод. Когда вы вернетесь в город, приобщите и меня к своему увлечению, сделайте так, чтобы я, подобно вам, как умелый хозяин, входила в свою оранжерею и, наблюдая за ростом растений, сама раскрывалась и расцветала бы с ними, восхищаясь, как восхищаетесь вы, когда возникают у вас на глазах новые неожиданные краски, созданные вашим трудом! Меня терзает тоска. В моей оранжерее живут лишь страждущие души. Несчастья, которые я пытаюсь смягчить, печалят мою душу, а когда я посвящаю себя благотворительности и, увидев молодую мать, не имеющую белья для новорожденного, или старика, лишенного куска хлеба, помогаю им, радость от того, что я утешила их в горе, не может насытить мою душу. Ах, друг мой! Я чувствую в себе великие и, может быть, пагубные силы, — ничто не может смирить их, и даже самые строгие веления религии не способны их победить. Когда, навещая свою мать, я остаюсь одна среди полей, меня обуревает желание кричать, и я кричу. Мне кажется, что тело мое — это тюрьма, куда какой-то злой гений заключил несчастное создание, в слезах ожидающее тайного слова, которое разобьет несносные оковы. Но нет, сравнение это неверно. Напротив, тело мое томится, если можно употребить здесь это выражение. Разве религия не владеет моей душой, разве чтение не обогащает, не питает неустанно мой разум? Почему же так жажду я страдания, которое нарушило бы докучный покой моей жизни? Если какое-нибудь чувство, если увлечение каким-нибудь делом не придет мне на помощь, я погибну в трясине, где все мысли тускнеют, где мельчает характер, где сдают все движущие пружины, где все достоинства блекнут, где иссякают все силы души, где я буду только тем, чем захотела сделать меня природа. Вот о чем я взываю! Пусть все же это не мешает вам посылать мне цветы. Ваша нежная, благосклонная дружба за последние месяцы примирила меня с собой. Да, я счастлива при мысли, что вы бросите дружеский взгляд на мою опустошенную и все же цветущую душу, что найдется у вас ласковое слово для беглянки, умчавшейся на неистовом коне мечты, когда вернется она, разбившись о скалы».

На исходе третьего года женитьбы Граслен, видя, что жена его не пользуется своими лошадьми, при первом же случае с выгодой продал их. Он продал также экипажи, рассчитал кучера, уступил епископу своего повара и заменил его кухаркой. Денег жене он больше не давал, объявив, что сам будет платить по всем счетам. Это был счастливейший из супругов, ибо он не встречал никакого сопротивления своей воле у женщины, которая принесла ему миллионное состояние. Г-жа Граслен, выросшая в родительском доме, не зная денег, не видевшая в них необходимого условия жизни, была неоценима в своем самоотречении. В ящиках секретера Граслен нашел нетронутыми выданные жене суммы, если не считать израсходованного на милостыню и на туалеты, тоже не требовавшие больших затрат благодаря щедрому приданому. Граслен расхваливал Веронику по всему Лиможу как образцовую жену. Он немало пожалел о роскоши своей меблировки и велел как следует прикрыть все вещи. Только гостиная, будуар и туалетная его жены были освобождены от этих мер предохранения, которые ни от чего не предохраняют, ибо под чехлами мебель изнашивается не меньше, чем без чехлов.

Граслен поселился в первом этаже особняка, там, где разместились его конторы, и вернулся к прежней жизни, охотясь за прибыльными делами с не меньшим пылом, чем раньше. Овернец мнил себя превосходным мужем, ибо всегда приходил к обеду и завтраку, приготовленному заботами его жены. Правда, он был настолько неточен, что едва ли больше десяти раз в месяц садился за стол одновременно с нею; поэтому из деликатности он попросил, чтобы она никогда не ждала его. Однако Вероника оставалась за столом до прихода Граслена и сама прислуживала ему, желая хоть каким-нибудь ощутимым способом выполнить свои супружеские обязанности. Банкир, который был довольно равнодушен к супружеской жизни и видел в своей жене лишь семьсот пятьдесят тысяч франков приданого, никогда не замечал отвращения Вероники. Незаметно он покинул г-жу Граслен ради коммерческих дел. Когда он попросил поставить ему кровать в комнате, примыкавшей к кабинету, Вероника поспешила удовлетворить это желание. Итак, через три года после свадьбы два эти столь неподходящих друг другу человека вернулись каждый к своему прежнему образу жизни, и оба были этим довольны.

Былая скаредность еще более цепко захватила финансиста — обладателя миллиона восьмисот тысяч франков, — после того как он на время отказался от своих привычек. Правда, теперь два его приказчика и рассыльный спали не в таких плохих комнатах и немного лучше питались; только в этом и заключалась разница между настоящим и прошлым. Г-жа Граслен наняла кухарку и горничную — меньшим обойтись было невозможно; но на хозяйство, кроме самых необходимых расходов, банкир не выпускал из кассы ни гроша. Радуясь такому обороту событий, Вероника старалась во всем угождать мужу, и хотя бы этим отблагодарить его за разрыв, о котором даже не просила: она не думала, что была так же неприятна Граслену, как Граслен был отвратителен для нее. Этот тайный развод наполнял ее сердце и радостью и грустью: она все еще надеялась, что материнство сможет вернуть ей интерес к жизни. Но время шло, и, несмотря на их обоюдную покорность судьбе, супруги вступили в 1828 год, не имея потомства.

Итак, живя в великолепном особняке, окруженная завистью всего города, г-жа Граслен узнала то же одиночество, что и в домишке своего отца, но одиночество, лишенное надежд и детских радостей неведения. Она жила в развалинах своих воздушных замков, просвещенная печальным опытом, опираясь на свою глубокую веру и заботясь о бедняках, которых осыпала благодеяниями. Она шила белье для младенцев, она дарила тюфяки и одеяла тем, кто спал на соломе. В этих делах ей помогала горничная, которую отыскала для нее мать, молоденькая овернская девушка, преданная ей телом и душой. Вероника поручала своему добродетельному лазутчику разыскивать жилища, где нужно было успокоить страдания или смягчить нищету. Эта деятельная благотворительность, соединенная со строжайшим выполнением религиозного долга, оставалась в глубокой тайне для всех, кроме городских священников, с которыми Вероника совещалась обо всех добрых делах, дабы не попали в руки порока деньги, столь необходимые для помощи в незаслуженном несчастье.

В этой фазе своей жизни Вероника завоевала дружбу, столь же горячую, столь же драгоценную для нее, как дружба старого Гростета. Она стала возлюбленной овечкой выдающегося пастыря, высокие достоинства которого не были поняты и даже навлекли на него преследования, — одного из старших викариев епархии, по имени аббат Дютейль. Этот священник принадлежал к той немногочисленной части французского духовенства, которая, склоняясь к некоторым уступкам, хотела бы объединить церковь с народными интересами, дабы, проповедуя подлинно евангельское учение, церковь могла вновь завоевать свое былое влияние на массы и таким путем обратить их опять к монархии. То ли аббат Дютейль не верил в возможность убедить римскую курию и высшее духовенство, то ли подчинил свои воззрения взглядам старших по сану, но он придерживался рамок строжайшей ортодоксии, зная, что одно только разглашение его принципов закроет ему навсегда дорогу к епископству. Этот превосходный священник сочетал величайшую христианскую скромность с величием характера. Не проявляя ни гордости, ни честолюбия, он оставался на своем посту и выполнял свой долг, невзирая на грозившие ему опасности. Городским либералам неизвестны были причины его поведения, они ссылались на его взгляды и считали его патриотом — слово, на католическом языке означавшее «революционер». Низшее духовенство, не смевшее восхвалять достоинства аббата Дютейля, любило его, равные приглядывались к нему с опаской; епископу он мешал. Добродетели и глубокие познания аббата, быть может, вызывавшие зависть, ограждали его от преследований. Невозможно было пожаловаться на него, хотя он и обличал все политические несообразности, которыми трон и духовенство только вредили друг другу. Напрасно он предсказывал все пагубные последствия такой политики, уподобляясь бедной Кассандре[[7]](#footnote-7), которую равно проклинали и до и после гибели ее отчизны. Не произойди революция, аббату Дютейлю суждено было бы оставаться одним из скрытых в основании краеугольных камней, на которых держится все здание. Все признавали приносимую им пользу, но его оставляли на своем месте, как и большинство других умных людей, чей приход к власти так пугает посредственность. Если бы, подобно аббату Ламенне[[8]](#footnote-8), он взялся за перо, на него, без сомнения, тоже обрушились бы громы римской курии.

Аббат Дютейль внушал невольное уважение. Под его спокойной, невозмутимой внешностью таилась глубокая душа. Высокий рост и крайняя худоба не нарушали общего впечатления от его облика, очерченного линиями, которые обычно избирали гении испанской живописи, рисуя великих мыслителей-монахов, а недавно вновь нашел Торвальдсен для своих апостолов. Длинные, почти неподвижные складки лица и гармонирующие с ним складки одежды отличались тем благородством, которым в средние века дышали мистические статуи, стоявшие в порталах церквей. Глубина и серьезность, присущие его мысли, речи и интонации, как нельзя более подходили аббату Дютейлю. Увидев его глубоко запавшие от постов и воздержания глаза, окруженные темными кругами, увидев его лоб, пожелтевший, словно старый мрамор, его голову, его иссохшие руки, каждый хотел только из его уст услышать поучающее слово. Это чисто физическое величие в сочетании с величием нравственным придавало священнику несколько высокомерное, презрительное выражение, которое тотчас же опровергалось его скромностью и его словами, но не располагало в его пользу. Принадлежи он к более высокому рангу, подобные выгодные качества помогли бы ему приобрести влияние на массы, которые охотно подчиняются одаренным людям. Но стоящие выше никогда не прощают своим подчиненным достойную осанку и проявление столь ценимого в древности величия, которого так часто не хватает современным правителям.

По странности, которая может показаться естественной лишь тонкому царедворцу, другой старший викарий, аббат де Гранкур — тучный человечек со свежим цветом лица и голубыми глазами, чьи воззрения совершенно расходились со взглядами аббата Дютейля, — очень любил общество своего собрата, не высказывая, впрочем, никогда ничего такого, что могло бы лишить его самого милостей епископа, которому он был предан беспредельно. Аббат де Гранкур верил в достоинства своего коллеги, он признавал его таланты, он тайно принимал его доктрину, но осуждал ее публично, ибо он принадлежал к тем людям, которых величие духа и привлекает и пугает, которые ненавидят его и не могут перед ним не преклоняться. «Он будет обнимать меня, проклиная», — говорил о нем аббат Дютейль. У аббата де Гранкура не было ни друзей, ни врагов, ему суждено было всю жизнь оставаться старшим викарием. Он уверял, что к Веронике его привлекает желание помочь советом столь набожной и добродетельной особе, и епископ одобрял это. Но в действительности его восхищала возможность провести несколько вечеров в обществе аббата Дютейля.

Оба священника стали довольно регулярно посещать Веронику, чтобы сообщать ей обо всех несчастных и обсуждать способы наставить их на путь истинный, оказывая им помощь. Но с каждым годом господин Граслен все туже затягивал свой кошелек, ибо узнал, несмотря на все невинные ухищрения своей жены и Алины, что испрашиваемые деньги не шли ни на хозяйство, ни на туалеты. Он пришел в ярость, когда подсчитал, чего стоила ему благотворительность жены. Проверив счета кухарки, он вник во все мелкие расходы и проявил свой административный талант, доказав на деле, что можно блестяще вести дом на тысячу экю. Затем, интересуясь только приходом и расходом, он составил с женой список ее издержек и назначил ей сто франков в месяц, гордясь этим решением, как проявлением королевской щедрости. Сад был оставлен без присмотра, и только по воскресеньям за ним следил рассыльный, любивший цветы. Отпустив садовника, Граслен превратил оранжерею в склад и свалил туда товары, полученные им в залог под ссуды. Он уморил голодом всех птиц в устроенном над ледником вольере, чтобы не тратиться больше на корм. И, наконец, воспользовавшись теплой зимой, перестал платить за перевозку льда. В 1828 году от былой роскоши не осталось и следа. В особняке Граслена, не встретив никакого сопротивления, воцарился самый мелочный расчет.

За три года, проведенные Грасленом близ Вероники, которая заставляла мужа строго следовать предписаниям врачей, лицо его заметно изменилось к лучшему; теперь же оно стало еще более красным, воспаленным и прыщавым, чем раньше. Дела приняли такой размах, что рассыльный, как некогда его хозяин, получил место кассира, а для черной работы в дом Граслена был взят молодой овернец. Итак, через четыре года после замужества женщина, обладавшая огромным богатством, не располагала ни одним экю. Скупость мужа не уступала скупости родителей. Г-жа Граслен поняла, как необходимы ей деньги, лишь когда была стеснена в своей благотворительности.

К началу 1828 года Вероника вновь обрела цветущее здоровье, которое придавало некогда такую прелесть невинной юной девушке, сидевшей у окна в старом доме на улице Ситэ; но, кроме того, она узнала литературу, она научилась думать и говорить. Изощренная способность суждения углубила ее характер. Освоившись со всеми тонкостями светской жизни, она с бесконечным изяществом носила свои модные платья. Теперь, когда Веронике случалось появиться в какой-нибудь гостиной, она не без удивления замечала, что ее встречают с почтительным восхищением. Этой перемене она обязана была обоим старшим викариям и старому Гростету. Узнав о ее скрытой от всех прекрасной жизни, о неустанно творимых добрых делах, епископ и другие влиятельные лица заговорили об этом цветке истинного благочестия, об этой благоуханной фиалке добродетели, и, без ведома г-жи Граслен, в отношении к ней произошла перемена, долго заставившая себя ждать, но зато прочная и длительная. Этот поворот в общественном мнении создал влияние салону Вероники, который с этого года стали посещать самые значительные в городе лица. Причиной тому послужили следующие обстоятельства. К концу года в Лиможский суд был направлен в качестве товарища прокурора молодой виконт де Гранвиль, молва о котором, как о каждом приезжающем в провинцию парижанине, распространилась заранее. Через несколько дней после приезда, во время приема в префектуре, он сказал, отвечая на довольно глупый вопрос, что самой приятной, умной и утонченной женщиной в городе является г-жа Граслен.

— Быть может, она и самая красивая? — спросила жена главного сборщика податей.

— В вашем присутствии я этого сказать не смею, — ответил он. — Но все же я в сомнении. Красота госпожи Граслен не должна вызывать в вас ревности: она никогда не показывается при свете дня. Госпожа Граслен прекрасна лишь для тех, кого она любит, вы же прекрасны для всех. У госпожи Граслен каждое душевное движение, вызванное подлинным чувством, отражается на лице и совершенно меняет его. Лицо ее подобно пейзажу, бесконечно печальному зимой, а летом блистающему всеми красками; светскому обществу суждено видеть его только зимой. Но когда она обсуждает с друзьями какую-нибудь литературную либо философскую тему или интересующие ее религиозные вопросы, она воодушевляется, и перед вами внезапно возникает никому неведомая женщина чарующей красоты.

Эти слова, основанные на наблюдении феномена, возвращавшего Веронике красоту во время причастия, наделали немало шуму в Лиможе, где новый товарищ прокурора, которому, по слухам, обещано было место прокурора, играл в ту пору первую роль. Во всех провинциальных городах человек, хоть немного возвышающийся над общим уровнем, пользуется более или менее длительное время всеобщим преклонением, которое часто обманывает и самый предмет этого преходящего культа. Подобной общественной прихоти мы обязаны появлением окружных знаменитостей, наделенных мнимыми достоинствами непризнанных гениев, судьба которых всегда плачевна. Человек, которого вводят в моду женщины, обычно бывает приезжим, а не местным жителем. Однако в отношении виконта де Гранвиля его поклонники, как ни странно, ничуть не ошиблись.

Госпожа Граслен была единственной женщиной, с которой парижанин мог обменяться мыслями и поддерживать интересную беседу. Через несколько месяцев после своего приезда товарищ прокурора, увлеченный прелестью речей и манер Вероники, предложил аббату Дютейлю и нескольким заметным в городе лицам собираться для игры в вист у г-жи Граслен. Вероника начала принимать пять раз в неделю; два дня, говорила она, ей хотелось оставить свободными для нужд своего дома. Когда вокруг г-жи Граслен собрались все выдающиеся люди города, выяснилось, что и другие не прочь приобрести патент на ум, войдя в принятое у нее общество. Вероника допустила в свой салон нескольких известных своими достоинствами военных из местного гарнизона и штаба. Свобода мнений, которой пользовались гости, и абсолютная скромность, которой все они придерживались, не сговариваясь и приняв за образец законы самого высшего света, вынуждали Веронику быть чрезвычайно разборчивой по отношению к людям, домогавшимся как чести ее общества. Городские дамы не без зависти увидели, что г-жу Граслен окружают самые умные, самые любезные мужчины в Лиможе. Но чем больше сдержанности проявляла Вероника, тем шире распространялось ее влияние. Она приняла у себя нескольких женщин, которые приехали с мужьями из Парижа и были в ужасе от провинциальных сплетен. Когда в этом избранном обществе появлялся случайный пришелец, по молчаливому согласию, разговор тут же менялся, и гости болтали только о пустяках. Итак, особняк Граслена превратился в оазис, где выдающиеся умы отдыхали от скуки провинциальной жизни, где люди, связанные с правительством, могли открыто говорить о политике, не боясь, что слова их получат огласку, где тонко высмеивали все, достойное осмеяния, где каждый сбрасывал одежды своей профессии и становился самим собой. Итак, г-жа Граслен — некогда безвестная девочка, объявленная ничтожеством и глупенькой дурнушкой, — в 1828 году стала первым лицом в городе и самой знаменитой из представительниц женского общества.

Никто не посещал Веронику по утрам, все знали о ее благотворительной деятельности и строгом соблюдении религиозных обрядов. Почти всякий день она ходила к ранней обедне, чтобы не опоздать к завтраку мужа, хотя Граслен не отличался аккуратностью. Вероника всегда сама подавала ему завтрак, и в конце концов Граслен к этому привык. Банкир никогда не упускал случая похвалить свою жену; он считал ее совершенством. Никогда она ни о чем его не просила, он мог без помехи копить свои экю и целиком погрузиться в дела. Он завязал отношения с банкирским домом Брезака; он несся на всех парусах по океану коммерции; напряженная погоня за прибылью держала его в сосредоточенном опьяняющем исступлении, свойственном всем игрокам, наблюдающим за великими событиями, которые разыгрываются на зеленом сукне Спекуляции.

В эти счастливые дни, до самого начала 1829 года, г-жа Граслен расцветала на глазах у своих друзей поистине необычайной красотой, возрожденной никому не известными причинами. Ее голубые глаза раскрылись, как цветы, вокруг сузившихся черных зрачков, в них мерцал мягкий, томный свет любви. Ее лоб, озаренный воспоминаниями и мыслями о счастье, белел, как горная вершина под лучами зари, линии его очистились пыланием внутреннего огня. Лицо утратило жаркий коричневый оттенок, возвещающий начало воспаления печени, болезни, которая поражает людей, наделенных бурным темпераментом, или тех, чья душа страдает, а чувства подавлены. Виски ее отличались чарующей свежестью. И часто перед друзьями появлялось на мгновение божественное, достойное кисти Рафаэля лицо, которое изувечила болезнь, подобно тому, как время исказило полотна великого живописца. Руки Вероники стали белее, плечи приняли прекрасную округлую форму, в свободных, полных живости движениях проявлялась вся прелесть ее стройной и гибкой фигуры. Городские дамы заподозрили ее в склонности к г-ну де Гранвилю, который и в самом деле упорно за ней ухаживал, однако встречал в Веронике непреклонное сопротивление. Товарищ прокурора испытывал перед г-жой Граслен почтительный восторг, который не обманывал ни одного из посетителей ее салона. Священники и люди умные сразу поняли, что это чувство, несомненно, любовное у молодого прокурора, у г-жи Граслен не преступало границ дозволенного. Устав от ее сопротивления, хотя и основанного на самых религиозных чувствах, виконт де Гранвиль, как известно было членам кружка, не раз вступал в легкие связи, что, однако, не мешало ему быть постоянным и преданным поклонником прекрасной г-жи Граслен, как в 1829 году называл ее весь Лимож. Люди наиболее прозорливые приписывали перемены во внешности Вероники, делавшие ее еще прелестней в глазах друзей, тайной радости, которую испытывает даже самая религиозная женщина, когда видит себя любимой; удовольствию жить в среде, равной ей по уму; тому наслаждению, что получала она, обмениваясь мыслями с окружавшими ее воспитанными, образованными друзьями, чья привязанность росла день ото дня. Быть может, требовались наблюдатели более глубокие, более проницательные или более подозрительные, чем завсегдатаи особняка Граслена, чтобы разгадать то гордое величие, те необузданные, свойственные только народу силы, какие таила Вероника в глубине своей души. Если кто-нибудь из друзей заставал ее погруженной в размышления, или мрачной, или просто задумчивой, каждый думал, что сердце ее хранит память о чужих несчастьях, что утром она, без сомнения, приобщилась ко многим горестям, что она посещала страшные притоны, где пороки предстают во всей своей наготе. Не раз товарищ прокурора, ставший вскоре прокурором, корил ее за безрассудную благотворительность, которая в тайных инструкциях органов правосудия рассматривалась как поощрение преступных деяний.

— Вам, может быть, нужны деньги для ваших бедняков? — спрашивал в таких случаях старик Гростет, беря ее за руку. — Я охотно стану вашим сообщником в добрых делах.

— Увы, нельзя всех сделать богатыми, — со вздохом отвечала она.

В начале нового года произошло событие, которому суждено было перевернуть внутреннюю жизнь Вероники и произвести полную метаморфозу в чудесном выражении ее лица, сделав его, впрочем, еще более интересным для глаз художника. Обеспокоенный состоянием своего здоровья, Граслен, к великому отчаянию жены, не пожелал больше жить на первом этаже; он водворился в супружеских покоях и потребовал ухода за собой. Вскоре в Лиможе распространилась новость: г-жа Граслен ждет ребенка. Печаль ее, смешанная с радостью, дала понять друзьям, что, несмотря на всю свою добродетель, Вероника была счастлива, живя отдельно от мужа. Может быть, она надеялась на лучшую судьбу с тех пор, как прокурор суда стал ухаживать за ней, отказавшись от брака с самой богатой наследницей Лимузена. Отныне глубокие политики, которые между двумя партиями в вист ведут надзор за чужими чувствами и состояниями, заподозрили члена суда и г-жу Граслен в том, что они возлагали на болезненное состояние банкира некоторые надежды, почти полностью разрушенные последними событиями. Глубокие тревоги, отметившие этот период жизни Вероники, волнение, которое всегда вызывают у женщины первые роды, к тому же небезопасные, когда уже миновала первая молодость, — все побуждало друзей уделять ей еще больше внимания. Каждый окружал ее заботами, показавшими, насколько глубоки и прочны были их чувства.

## Глава II

## ТАШРОН

В том же году Лимож стал ареной загадочной драмы. Речь идет о процессе Ташрона, в котором молодой виконт де Гранвиль проявил все свои таланты, заслужившие ему впоследствии пост главного прокурора.

Был убит некий старик, проживавший в уединенном доме в предместье Сент-Этьен. От предместья дом этот был отделен большим фруктовым садом, а от деревни — запущенным парком, на краю которого находилась старая, заброшенная оранжерея. Берега Вьены перед жилищем убитого старика круто обрываются вниз, открывая глазу течение реки. Покатый двор заканчивается над обрывом низенькой каменной оградой с расположенными на равном расстоянии пилястрами, между которыми, больше для украшения, чем для защиты от воров, тянется решетка из крашеных деревянных планок. Известный своей скупостью старик, по имени Пенгре, жил вместе с единственной своей служанкой, которая исполняла всю тяжелую работу по саду. Сам он ухаживал за шпалерами, подстригал деревья, снимал фрукты, отправлял их на продажу в город, а также торговал ранними овощами, выращивать которые был великий мастер. Племянница старика и его единственная наследница, бывшая замужем за мелким городским рантье, г-ном де Ванно, не раз просила дядю взять сторожа для охраны дома, всячески доказывая, что с его помощью можно было бы вырастить не одно плодовое дерево на участках, где теперь засевались лишь кормовые травы; однако старик неизменно отказывался. Такое ни с чем несообразное для скряги поведение вызывало немало толков и догадок в домах, где проводили вечера супруги де Ванно. Поминутно самые разноречивые заявления прерывали партию в бостон. Наиболее дошлые из игроков предполагали, что в люцерновом поле зарыт клад.

— Будь я на месте госпожи де Ванно, — говаривал один милый шутник, — я не стал бы мучить своего дядюшку. Убьют его? Прекрасно, пусть убивают. Наследство достанется мне.

Госпожа де Ванно заботилась о своем дяде, как директор Итальянской оперы заботится о состоящем на жалованье теноре, заставляя его хорошенько укутывать горло и предлагая ему собственное пальто, если тот позабыл свое дома. Она подарила Пенгре великолепного сторожевого пса, но старик отослал его обратно с Жанной Маласси, своей служанкой.

— Хозяин не хочет в своем доме ни одного лишнего рта, — объясняла она г-же де Ванно.

События показали, насколько обоснованны были опасения племянницы. Пенгре был убит глухой ночью посреди люцернового поля, очевидно, в то время, когда он добавлял монеты в набитый золотом горшок. Служанка, разбуженная шумом борьбы, имела мужество броситься на помощь к старому скряге, и убийца был вынужден убить и ее, чтобы избавиться от свидетеля. Подобное соображение, заставляющее преступника множить количество жертв, порождено страхом грозящей ему смертной казни. Это двойное убийство сопровождалось совершенно необычайными обстоятельствами, которые давали равные шансы как обвинению, так и защите.

Когда поутру соседи не увидели в саду ни папаши Пенгре, ни его служанки, когда, заглянув через решетку, они обнаружили, что, против обыкновения, окна и двери дома заперты, в предместье Сент-Этьен поднялся шум, который докатился до Колокольной улицы, где жила г-жа де Ванно. Племяннице всегда мерещились всякие ужасы, она известила полицию, которая тут же выломала ворота. На четырех люцерновых участках были найдены четыре пустые ямы с разбросанными вокруг черепками от горшков, еще накануне полных золота. В двух ямах лежали кое-как закопанные трупы папаши Пенгре и Жанны Маласси. Бедная девушка прибежала босиком, в одной рубашке. Пока королевский прокурор, полицейский комиссар и судебный следователь вели предварительное следствие, несчастный де Ванно собирал черепки и по размерам горшков прикидывал сумму утраченного наследства. Судейские подтвердили правильность его расчетов, установив, что в каждом из разбитых горшков хранилось по тысяче монет; но, как знать, были это монеты достоинством в сорок восемь или в сорок, в двадцать четыре или в двадцать франков? Все, кто только ожидал в Лиможе наследства, горячо сочувствовали горю де Ванно. Воображение лимузенцев было поражено зрелищем разбитых, некогда полных золота горшков. Что касается папаши Пенгре, который часто сам торговал на рынке своими овощами и, питаясь одним хлебом и луком, тратил не более трехсот франков в год, то, поскольку он никому не доставлял ни неприятностей, ни удовольствия и не сделал в предместье Сент-Этьен ни крупицы добра, — о нем не жалел никто. Что же до Жанны Маласси, то ее героизм, за который старый скряга едва ли вознаградил бы ее, был сочтен неуместным, и людей, восхищавшихся ею, было гораздо меньше, нежели тех, кто говорил: я бы на ее месте преспокойно спал!

Представители правосудия не нашли в этом нетопленном, голом и мрачном доме даже чернил и пера, чтобы составить протокол. Любопытные соседи и наследник обратили внимание на странности, свойственные многим скупцам. Об ужасе старичка перед расходами можно было судить по давно не чиненной крыше, пропускавшей и свет, и дождь, и снег; по зеленым трещинам, избороздившим стены, по едва державшимся, сгнившим дверям, по заменяющей оконные стекла непромасленной бумаге. Во всех комнатах — окна без занавесей, камины без зеркал и решеток, а в каминах одно-единственное полено или несколько щепок, покрытых, словно лаком, стекающей из труб дождевой водой пополам с сажей. Имущество составляли хромые стулья, две тощие жесткие кушетки, треснувшие горшки, склеенные тарелки, продавленные кресла, занавеси, расшитые безжалостной рукой времени, источенный червем секретер, где старик хранил семена, покрытое заплатами и швами белье и, наконец, груда тряпья, которое держалось только волей своего хозяина, а после его смерти рассыпалось в пыль, в прах, в остатки химического распада, в нечто не имеющее названия, едва прикоснулись к нему руки взбешенного наследника или представителей власти. Вещи эти исчезли, как бы убоявшись продажи с торгов.

Большинство жителей столицы Лимузена долго еще проявляли интерес к судьбе славных супругов де Ванно, имевших к тому же двоих детей. Но когда правосудию удалось напасть на след предполагаемого преступника, новый персонаж привлек к себе всеобщее внимание. Героем стал он, а супруги де Ванно отошли на задний план.

К концу марта г-жа Граслен начала испытывать недомогание, вызываемое обычно первой беременностью. Правосудие продолжало расследовать дело об убийстве в предместье Сент-Этьен, но убийца не был еще задержан. Вероника принимала друзей в своей спальне, где поставили карточные столы. Вот уже несколько дней г-жа Граслен не выходила из дому, теперь у нее появилось немало причуд и капризов, обычно приписываемых беременности. Мать приходила к ней почти каждый день, и они проводили вместе целые часы.

Пробило девять часов. Игроки не садились за карты, все говорили об убийстве и о супругах де Ванно. Вошел прокурор.

— Убийца папаши Пенгре в наших руках, — объявил он с довольным видом.

— Кто он? — раздалось со всех сторон.

— Рабочий с фарфоровой фабрики, известный своим отменным поведением и стоявший на пути к богатству. Он работал на фабрике, принадлежавшей ранее вашему мужу, — добавил он, обращаясь к г-же Граслен.

— Кто же это? — слабым голосом спросила Вероника.

— Жан-Франсуа Ташрон.

— Несчастный! — сказала она. — Да, я видела его несколько раз. Отец говорил мне о нем, как об очень способном юноше.

— Он еще до смерти Совиа ушел от него на фабрику к господину Филиппару, который пообещал ему больший заработок, — заметила старуха Совиа. — Но полезно ли моей дочери слушать все эти разговоры? — добавила она, взглянув на г-жу Граслен, которая побледнела как полотно.

С этого дня старая матушка Совиа переселилась из своего дома к дочери и, несмотря на свои шестьдесят шесть лет, стала ходить за ней, как сиделка. Она не покидала комнаты, — друзья г-жи Граслен в любой час дня заставали ее на посту у изголовья дочери с неизменным вязанием в руках. Она не сводила глаз с Вероники, как в те дни, когда дочь болела черной оспой, отвечала за нее на вопросы и не всегда впускала к ней посетителей. Взаимная любовь матери и дочери была так хорошо известна в Лиможе, что поведение старой женщины никого не удивило.

Через несколько дней прокурор, думая развлечь этим больную, пожелал рассказать подробности о деле Жана-Франсуа Ташрона, которых жадно добивался весь город, но старуха Совиа резко прервала его, сказав, что, пожалуй, после таких рассказов г-жа Граслен будет видеть дурные сны. Однако Вероника, пристально глядя на г-на де Гранвиля, попросила его продолжать. Таким образом, друзья г-жи Граслен, находясь у нее в гостях, первыми узнали еще не опубликованные результаты следствия. Вот в кратких чертах содержание обвинительного акта, который готовился тем временем в канцелярии прокурора.

Жан-Франсуа Ташрон был сыном обремененного семьей мелкого фермера, проживавшего в деревне Монтеньяк. Лет за двадцать до того, как произошло преступление, всполошившее весь Лимузен, кантон Монтеньяк был известен своими дурными нравами. В лиможской прокуратуре так и говорили, что из ста приговоров по всему департаменту пятьдесят выносятся в судебном округе, к которому принадлежит Монтеньяк. С 1816 года, то есть через два года после приезда священника Бонне, Монтеньяк утратил свою печальную известность и перестал поставлять преступников для суда присяжных. Подобную перемену целиком приписывали благотворному влиянию г-на Бонне на общину, некогда являвшуюся очагом злодеяний, наводивших ужас на всю округу. Преступление Жана-Франсуа Ташрона сразу напомнило о дурной славе Монтеньяка. По удивительной воле случая семья Ташрона была почти единственной в этих местах семьей, сохранившей добрые старые нравы и религиозные обычаи, которые, по утверждению наблюдателей, постепенно исчезают в деревнях. Таким образом, Ташроны являлись точкой опоры для священника, естественно, полюбившего их всем сердцем. Эта дружная семья, отличавшаяся честностью и трудолюбием, могла подать Жану-Франсуа только хороший пример. Привлеченный в Лимож похвальным стремлением добиться богатства, честно трудясь на фабрике, юноша уехал из деревни, к великому сожалению горячо любивших его родных и друзей. В течение двух лет ученичества его поведение было выше похвал, ни один проступок не предвещал ужасного злодеяния, которым закончилась его жизнь. Жан-Франсуа Ташрон отдавал учению и книгам то время, которое остальные рабочие проводят в пьянстве или в разврате. Самые тщательные расследования со стороны провинциального правосудия, располагавшего достаточным для того временем, не пролили света на тайну его существования. Хозяйка убогих меблированных комнат, где проживал Жан-Франсуа, на допросе показала, что никогда не приходилось ей иметь жильцом такого высоконравственного и порядочного молодого человека. Нрава он был мягкого, приветливого, почти веселого. Примерно за год до преступления привычки его несколько изменились. Часто он не ночевал дома, иной раз — несколько ночей подряд. В какой части города он ночевал — этого она не знает. Судя по состоянию его башмаков, она думала, что жилец бывал в деревне. Но хотя он и отправлялся за город, вместо подбитой гвоздями грубой обуви он всегда обувал легкие башмаки. Перед уходом он брился, душился и надевал чистое белье. Следствие раскинуло свои сети на подозрительные дома и женщин, ведущих распутную жизнь, но там Жан-Франсуа Ташрон был неизвестен. Следствие попыталось получить сведения среди работниц и гризеток, но ни одна из девиц легкого поведения никогда не встречалась с обвиняемым. Преступление, мотивы которого неизвестны, всегда кажется непостижимым, особенно если преступником является юноша, чья тяга к образованию и честолюбие должны были внушить ему мысли и суждения более возвышенные, чем у других рабочих. Прокуратура и следователь пытались объяснить совершенное Ташроном убийство страстью к игре. Однако тщательное расследование показало, что обвиняемый никогда не брал в руки карт.

Жан-Франсуа с самого начала прибегнул к полному отрицанию и запирательству, которое на суде не могло бы устоять перед свидетельством улик, но ясно дало почувствовать тайное вмешательство какого-то другого лица, глубоко сведущего в юриспруденции или же наделенного незаурядным умом. Улики, как в большинстве дел об убийстве, были очень тяжкими и вместе с тем незначительными. Вот главные из них. Отсутствие Ташрона в ночь, когда было совершено преступление, и отказ сообщить, где он провел эту ночь, — обвиняемый не удостаивал даже создать себе алиби. Найденный на дереве клочок его блузы, очевидно, вырванный бедной служанкой во время борьбы и унесенный ветром. Прогулка Ташрона вечером возле дома, замеченная прохожими, жителями предместья, которые, не произойди убийства, о том бы и не вспомнили. Самодельный ключ от выходящей в поле калитки, который был довольно ловко спрятан в углу ямы, где случайно копнул землю г-н де Ванно, желая убедиться, что в тайнике нет второго этажа. Следствие в конце концов разыскало тех, кто продал железо, кто одолжил тиски, кто дал напильник. Этот ключ был первым указанием, он навел на след Ташрона, который был арестован в лесу на границе департамента, где юноша ждал проходящего дилижанса. Часом позже он должен был уехать в Америку.

Наконец, хотя все следы шагов были тщательно затерты как на возделанной почве, так и на дорожной грязи, полевой сторож обнаружил отпечатки чьих-то легких башмаков. Когда сделали обыск у Ташрона и приложили подошвы его башмаков к этим следам, они совершенно совпали. Это роковое совпадение полностью подтвердило показания наблюдательной хозяйки. Следствие приписало совершенное преступление постороннему влиянию, а не единолично принятому решению. Чтобы унести похищенные деньги, необходим был сообщник. Как бы ни был силен человек, один он не может далеко унести двадцать пять тысяч франков золотом. Если предположить, что такая сумма находилась в каждом горшке, то, чтобы переправить четыре горшка, потребовалось бы ходить четыре раза. Однако случайное обстоятельство помогло определить час, в который произошло убийство. Услышав крики хозяина, Жанна Маласси в ужасе вскочила, опрокинув при этом ночной столик, где стояли ее часы — единственный подарок, полученный ею от скряги за все пять лет. Пружина в часах при падении сломалась, и они остановились, показывая ровно два пополуночи. В середине марта, когда было совершено преступление, светать начинает между пятью и шестью часами утра. Куда бы ни были перенесены деньги, Ташрон, согласно выдвинутой следствием гипотезе, не мог унести их один. Тщательность, с какой Ташрон стер все следы, не обращая внимания на свои собственные, говорила о каком-то таинственном помощнике.

Вынужденное идти на догадки, правосудие стало искать причины убийства в любовной страсти. И поскольку предмета этой страсти в низших классах найти не удалось, следствие бросило взгляд выше. Возможно, какая-нибудь женщина из буржуазного сословия, уверенная в скромности этого юноши с характером сеида[[9]](#footnote-9), завязала роман, закончившийся такой ужасной развязкой.

Обстоятельства убийства во многом подтверждали эту догадку. Старик был убит ударами заступа. Следовательно, убийство было внезапным, непреднамеренным, случайным. Скорее всего, любовники задумали ограбление, а не убийство. Любовь Ташрона и скупость Пенгре — две неумолимые страсти, привлеченные блеском золота, столкнулись лицом к лицу в густом мраке ночи.

Стремясь пролить хоть какой-нибудь свет на эту тайну, правосудие, воспользовавшись своим правом, арестовало любимую сестру Жана-Франсуа, надеясь с ее помощью разузнать что-нибудь о жизни брата. Дениза Ташрон из осторожности отпиралась от всего, и следователь даже заподозрил, что она знает причину преступления, хотя на самом деле ей ничего не было известно. Тюремное заключение наложило пятно на репутацию бедной девушки.

Обвиняемый проявил характер, редкий у людей, вышедших из народа. Он сбил с толку самых ловких *наседок*, которых ему подсаживали, не догадываясь даже об их назначении. Наиболее умные люди в суде считали Жана-Франсуа преступником, движимым страстью, а не необходимостью, подобно большинству заурядных убийц, которые, прежде чем взойти на эшафот, все проходят через исправительную полицию и каторгу. В этом направлении и велись упорные и осторожные расследования, но неизменная выдержка преступника оставляла следствие без всякого материала. После того как была принята весьма правдоподобная версия романа со светской дамой, Жана-Франсуа подвергли не одному коварному допросу. Но стойкость его всегда торжествовала над моральными пытками, уготованными ему искусным следователем. Когда, пойдя на последнее средство, судейский сказал Ташрону, что особа, ради которой он совершил преступление, опознана и арестована, он, ничуть не изменяясь в лице, иронически заметил:

— Что же, я был бы очень рад ее видеть.

Узнав обстоятельства дела, многие согласились с предположениями следствия, которые, по-видимому, подтверждались молчанием обвиняемого. Молодой человек, ставший для всех загадкой, вызывал живейший интерес. Легко понять, как возбуждено было общественное любопытство, с какой жадностью все ожидали судебного разбирательства. Несмотря на розыски, произведенные полицией, следствие остановилось на пороге гипотезы, не решаясь проникнуть в тайну, скрывавшую немало опасностей. В некоторых юридических случаях для обвинения мало полууверенности. Оставалось надеяться, что правда увидит свет на суде присяжных, когда многие преступники сами себя изобличают.

Господин Граслен был назначен в эту сессию присяжным, и, таким образом, либо через мужа, либо через г-на де Гранвиля Вероника узнавала малейшие подробности уголовного процесса, который в течение двух недель держал в волнении Лимузен и всю Францию.

Поведение обвиняемого подтверждало легенду, сложившуюся в городе на основании догадок правосудия. Часто глаза его обращались к местам, где сидели дамы из высшего общества, которые наслаждались волнующими перипетиями этой подлинной драмы. Всякий раз, когда ясный, но непроницаемый взор этого человека пробегал по группе элегантных зрительниц, среди них начиналось бурное движение: каждая боялась показаться его сообщницей инквизиторскому оку обвинителей и суда. Тщетные усилия следствия получили теперь огласку, и все узнали, какие предосторожности принимал обвиняемый, чтобы обеспечить своему злодеянию полный успех.

За несколько месяцев до роковой ночи Жан-Франсуа раздобыл паспорт для выезда в Северную Америку. А если они хотели покинуть Францию, дама, очевидно, была замужем, — ведь бежать с девицей, казалось бы, незачем. Возможно, что и ограбление было задумано с тем, чтобы неизвестная могла потом жить в довольстве. Следствие не обнаружило в префектуре ни одной записи о выдаче американского паспорта на чье бы то ни было женское имя. На всякий случай были запрошены префектуры Парижа и соседних департаментов, но тщетно.

Все детали, выясняющиеся на суде, указывали на глубоко продуманный план, составленный выдающимся умом. Самые добродетельные лимузенские дамы приписывали непонятный в обычных обстоятельствах выбор легкой обуви для хождения по грязи и разрытой земле тем, что преступник выслеживал старика Пенгре, а самые серьезные мужчины с восторгом разъясняли, как полезны такие туфли, если хочешь бесшумно влезть в окно и тайно бродить по дому. Было совершенно ясно, что Жан-Франсуа и его возлюбленная (молодая, прекрасная, романтическая, — каждый рисовал в своем воображении восхитительный портрет) решили совершить подлог и вписать в паспорт: *и его супруга*.

Вечерами карточные партии во всех гостиных поминутно прерывались. Все игроки высказывали проницательные соображения, вспоминая, кто из женщин ездил в марте 1829 года в Париж, или прикидывая, кто из них мог явно или тайно готовиться к побегу.

Одним словом, Лимож наслаждался собственным процессом Фюальдеса[[10]](#footnote-10), украшенным вдобавок неизвестной госпожой Мансон. Никогда ни один провинциальный город не становился добычей такого любопытства и возбуждения, как Лимож каждый вечер после заседания суда. В Лиможе бредили этим процессом, где все оборачивалось к вящей славе обвиняемого, чьи ответы — при передаче искусно сглаженные, расширенные и истолкованные — вызывали бурные споры. Когда один из присяжных спросил у Ташрона, почему он взял паспорт для отъезда в Америку, тот ответил, что собирался открыть там фарфоровую фабрику. Таким образом, не меняя способа защиты, он снова выгораживал свою сообщницу, давая понять, что совершил преступление лишь из нужды в деньгах, для выполнения своего честолюбивого замысла. В один из наиболее напряженных дней судоговорения друзья Вероники, которая чувствовала себя несколько лучше, собравшись вечером в ее гостиной, невольно принялись искать объяснения скромности преступника. Накануне врач рекомендовал Веронике совершить прогулку. Утром она, опираясь на руку матери, отправилась окольным путем в сельский домик Совиа и там немного отдохнула. После возвращения домой она решила не ложиться, а подождать прихода мужа, чтобы, как всегда, подать ему обед. Вот почему она не могла не услыхать спора своих друзей.

— Если бы жив был мой бедный отец, — сказала Вероника, — мы бы знали больше, а может быть, этот человек и не стал бы преступником... Но, мне кажется, вы все забрали себе в голову странную мысль. Вы считаете, что причиной преступления является любовь: тут я с вами согласна. Но почему вы думаете, что незнакомка замужем? Может быть, он любит молодую девушку, которую родители не желают отдавать за него?

— Рано или поздно несовершеннолетняя девица стала бы его женой законным путем, — ответил г-н де Гранвиль. — У Ташрона достаточно терпения, он мог бы честно наживать состояние, дожидаясь того момента, когда каждая девушка может выйти замуж против воли родителей.

— А я не знала, что такие браки возможны, — заметила г-жа Граслен. — Но как могло случиться, что ни у кого не возникло ни малейшего подозрения в городе, где все друг друга знают, где жизнь каждого соседа на виду? Ведь для того, чтобы любить друг друга, им нужно было по крайней мере видеться. А что думаете об этом вы, представители правосудия? — спросила она, пристально глядя в глаза прокурору.

— Мы все полагаем, что женщина принадлежит к мещанскому или коммерческому сословию.

— Вот уж не думаю, — возразила г-жа Граслен. — Женщинам этого круга недоступны такие высокие чувства.

Услыхав подобный ответ, все посмотрели на Веронику, ожидая, что она объяснит столь парадоксальное мнение.

— В часы ночной бессонницы или днем, лежа в постели, я невольно размышляла об этом таинственном деле и, мне кажется, разгадала побуждения Ташрона. Вот почему я думаю, что здесь замешана девушка: у замужней женщины есть свои интересы, если не чувства, которые владеют ее сердцем и мешают ей дойти до полного самозабвения, способного внушить столь великую страсть. Не нужно быть матерью, чтобы понять любовь, в которой материнские чувства соединяются с любовным желанием. По-видимому, этого человека любила женщина, которая хотела быть его опорой. В своей страсти незнакомка проявила тот талант, какой видим мы в прекрасных произведениях художников или поэтов. У женщин талант проявляется в другой форме: их назначение создавать не вещи, а людей. Наши дети — вот наши произведения! Дети — это наши картины, книги, статуи. Разве, воспитывая их, мы не становимся художниками? Вот почему я голову наотрез даю, что если незнакомка и не девушка, то, во всяком случае, она не мать. Следователю нужна проницательность женщины, чтобы уловить множество ускользающих от него оттенков. Будь я вашим помощником, — обратилась Вероника к прокурору, — мы нашли бы виновную, если только незнакомка действительно виновна. Я полагаю, так же как аббат Дютейль, что оба возлюбленные задумали бежать, а так как денег на жизнь в Америке у них не было, то они похитили клад бедняги Пенгре. Воровство привело к убийству — такова роковая логика, внушенная преступникам угрозой смертной казни. Итак, — добавила она, бросив умоляющий взгляд на прокурора, — вы поступили бы прекрасно, если бы, устранив обвинение в преднамеренности, спасли бы несчастному жизнь. Человек этот велик, несмотря на его преступление; быть может, он искупит свою вину безграничным раскаянием. Дела, совершенные в знак раскаяния, — вот чем должна бы заняться мысль правосудия. Неужели и в наше время во искупление своих злодеяний можно только сложить голову на плахе или, как в былые дни, построить миланский собор?

— Сударыня, ваши рассуждения благородны и возвышенны, — возразил прокурор, — но даже если устранить преднамеренность, Ташрону все равно грозит смертная казнь, в силу доказанных отягчающих обстоятельств, сопровождавших кражу: ночное время, взлом замков, проникновение через забор и т. д.

— Значит, вы думаете, что он будет осужден? — спросила она, опустив веки.

— Я в этом уверен, обвинение одержит победу.

От легкой дрожи, пробежавшей по телу Вероники, платье ее зашуршало.

— Мне холодно, — сказала она и, опершись на руку матери, ушла к себе в спальню.

— Она выглядит сегодня много лучше, — согласились все друзья.

На следующий день Вероника была близка к смерти. Когда врач удивился ее тяжелому состоянию, она, улыбаясь, заметила:

— Ведь я предсказывала, что прогулка мне пользы не принесет.

Во время прений сторон Ташрон держался спокойно, без всякой рисовки и без лицемерного смирения. Врач, стараясь развлечь больную, принялся рассуждать о поведении обвиняемого. По словам врача, вера в талант защитника ослепила беднягу, — он верит, что избежит смерти. Иногда на его лице вспыхивает надежда, которая говорит о счастье большем, чем жизнь.

Вся прежняя жизнь этого двадцатитрехлетнего юноши настолько противоречила завершившему ее поступку, что защитники видели в его спокойствии подтверждение своих взглядов. Одним словом, обстоятельства, выдвинутые гипотезой обвинения, выглядели столь неубедительно в романе, созданном защитой, что голова обвиняемого оспаривалась адвокатом не без шансов на победу. Чтобы спасти жизнь своего подзащитного, адвокат решил ожесточенно сражаться, не отрицая преднамеренности: он гипотетически принял преднамеренность кражи, но не преднамеренность двойного убийства, вызванного неожиданной борьбой. Успех и обвинения и защиты казался равно возможным.

После визита врача Вероника приняла прокурора, который навещал ее каждое утро после судебного заседания.

— Я читала вчера речь защитника. Сегодня предстоят реплики обвинения. Меня так заинтересовала участь подсудимого, что я хотела бы его оправдания. Не можете ли вы раз в жизни отказаться от победы? Дайте адвокату побить себя. Право, подарите мне жизнь этого несчастного, быть может, когда-нибудь вам будет принадлежать моя жизнь!.. Прекрасная речь, которую произнес адвокат Ташрона, заронила в умы сомнения, и теперь...

— Как дрожит ваш голос! — воскликнул несколько удивленный виконт.

— Знаете почему? — спросила она. — Недавно муж заметил одно ужасное совпадение; при моей чувствительности оно может стоить мне жизни. Я буду рожать в тот самый день, когда вы дадите приказ отрубить Ташрону голову.

— Но не могу же я изменить Кодекс? — возразил прокурор.

— Оставьте меня! Вы не умеете любить, — сказала Вероника, закрыв глаза.

Она опустила голову на подушку и властным жестом указала виконту на дверь.

Господин Граслен энергично, но тщетно ратовал за оправдание обвиняемого, приводя подсказанные ему женой доводы, с которыми согласились еще двое присяжных из его друзей.

— Если мы сохраним жизнь этому человеку, семья де Ванно найдет наследство старого Пенгре. — Этот неопровержимый аргумент привел к тому, что голоса присяжных разделились: семь против пяти. Потребовалось вмешательство суда, но суд присоединился к меньшинству присяжных. Согласно юридическим правилам того времени, это присоединение предопределяло обвинительный приговор. Когда Ташрону сообщили решение суда, он впал в неистовство, весьма естественное для человека, полного жизненных сил; однако ни судьям, ни адвокатам, ни присяжным, ни публике почти никогда не случалось наблюдать подобное состояние у преступника, осужденного несправедливо. Никто не считал, что с вынесением приговора драма была завершена. Ожесточенная борьба в суде породила, как это всегда бывает в подобных случаях, два противоположных мнения относительно виновности героя, в котором одни видели угнетенную невинность, а другие — преступника, понесшего заслуженную кару. Либералы стояли за невиновность Ташрона, не столько из уверенности в ней, сколько из желания противоречить властям. «Как можно, — говорили они, — приговорить человека к смерти лишь потому, что нога его совпадает с отпечатками другой ноги, что он не ночевал дома, хотя, как всем известно, любой юноша скорее умрет, чем скомпрометирует женщину, и что он одолжил инструменты и купил кусок железа? Ведь не доказано, что ключ сделал именно он. А лоскут синей материи, висевший на дереве, может быть, прицепил сам Пенгре, чтобы отпугивать воробьев, и только случайно подошел он к дыре на блузе Ташрона. Подумать только, от чего зависит жизнь человека! И наконец, Жан-Франсуа все отрицал, а у обвинения не было ни одного свидетеля, который видел бы убийство своими глазами».

Либералы подкрепляли, развивали и пересказывали доводы и защитительную речь адвоката. «Что такое старик Пенгре? Околевший денежный сундук!» — говорили острословы. Так называемые передовые люди, отрекаясь от святых законов собственности — в отвлеченной сфере экономических идей, уже подвергшихся нападкам сенсимонистов, — шли еще дальше: «Папаша Пенгре первый совершил преступление. Этот человек копил золото и обирал свою страну. Сколько предприятий могло быть оплодотворено этим бесполезно лежавшим капиталом! Он ограбил промышленность и понес заслуженное наказание». Служанка? Ее жалели все. Дениза Ташрон, которая, разгадав уловки правосудия, не произнесла на допросе ни одного необдуманного слова, вызывала всеобщий интерес. Она превратилась в фигуру, отчасти подобную Дженни Динс[[11]](#footnote-11), которую напоминала очарованием и скромностью, набожностью и красотой.

Итак, Жан-Франсуа Ташрон продолжал возбуждать любопытство не только в городе, но и во всем департаменте, и многие романтически настроенные женщины открыто высказывали свое восхищение. «Если под всем этим кроется любовь к женщине, стоящей выше него, то, разумеется, он человек необыкновенный, — говорили они. — Вот увидите, он умрет без страха!» Люди бились об заклад: заговорит он? Не заговорит?

После объявления приговора, вызвавшего приступ ярости, который без вмешательства жандармов мог бы оказаться роковым для иных членов суда и зрителей, преступник продолжал с неистовством дикого зверя грозить всем, кто к нему приближался. Тюремщику пришлось надеть на него смирительную рубашку, чтобы помешать ему покуситься на свою жизнь и чтобы самому чувствовать себя в безопасности. Побежденный этой жестокостью, Ташрон не мог больше прибегнуть к насилию и изливал свое отчаяние в бешеных криках и взглядах, которые в средние века объяснили бы одержимостью. Он был так молод, что женщины не могли не оплакивать эту озаренную любовью жизнь, которой суждено было оборваться так рано. «Последний день осужденного»[[12]](#footnote-12), этот тщетный протест против смертной казни, опора тайных обществ, мрачная элегия, недавно вышедшая в свет, словно специально к этому случаю, упоминалась во всех разговорах. И, наконец, кто не рисовал в своем воображении неуловимую незнакомку, шагающую по крови, стоящую, словно на пьедестале, перед судом присяжных, истерзанную ужасной скорбью, но осужденную хранить невозмутимое спокойствие у своего семейного очага? Ею тоже готовы были восхищаться, этой лимузенской Медеей[[13]](#footnote-13) с непроницаемым лицом, с железным сердцем в белой груди. Быть может, она живет в том или в этом доме? Чья-нибудь сестра или кузина, или дочь, или жена? Какой страх должен был царить в лоне семейств! В области воображения сила неведомого неизмерима, — превосходно сказал Наполеон.

Что касается ста тысяч франков, украденных у господ де Ванно и тщетно разыскиваемых полицией, то тут из-за упорного молчания преступника обвинитель потерпел полное поражение. Г-н де Гранвиль, замещавший тогда в палате депутатов генерального прокурора, хотел пустить в ход испытанное средство — пообещать смягчить приговор в случае признания. Но когда он появился перед узником, тот встретил его исступленными воплями, эпилептическими судорогами и полным ярости взглядом, в котором ясно читалось желание перегрызть ему глотку. Теперь правосудие могло рассчитывать только на помощь церкви. Супруги де Ванно не раз приходили к тюремному священнику аббату Паскалю. Священник не лишен был того особого таланта, без которого не мог бы заставить узников слушать себя. Он попытался обуздать с помощью религии неистовство Ташрона, своими отцовскими словами смягчить бури, терзающие эту могучую натуру. Но борьба с ураганом вырвавшихся на свободу страстей лишила сил бедного аббата Паскаля.

— Этот человек обрел свой рай в земной юдоли, — кротким голосом сказал старец.

Бедняжка г-жа де Ванно советовалась с приятельницами, не попытаться ли ей самой воздействовать на преступника. Г-н де Ванно хотел поладить с ним полюбовно. Дойдя до отчаяния, он предложил г-ну де Гранвилю испросить помилование убийце своего дяди, если оный убийца вернет сто тысяч франков. Прокурор ответил, что его королевское величество не унизится до подобной сделки. Супруги де Ванно обратились тогда к адвокату Ташрона, пообещав ему десять процентов от похищенной суммы, если только удастся ее вернуть. Адвокат был единственным человеком, при виде которого Ташрон не выходил из себя; наследники уполномочили его предложить убийце другие десять процентов для передачи его семье. Несмотря на все ухищрения наследников и красноречие адвоката, от его подзащитного ничего не удалось добиться. Взбешенные де Ванно ругали и проклинали осужденного.

— Он не только убийца, но еще и лишен деликатности! — совершенно серьезно вскричал г-н де Ванно, в жизни не слыхавший знаменитой песни о Фюальдесе, когда узнал о неудаче аббата Паскаля и понял, что все погибнет в случае отклонения ходатайства о помиловании. — На что ему наши деньги там, куда он отправится? Убийство — это еще можно понять, но бесцельная кража — это непостижимо. В какие только времена мы живем, если люди из общества интересуются таким разбойником?

— Все-таки это бесчестно, — вторила г-жа де Ванно.

— Но, вернув деньги, он может скомпрометировать свою подругу, — предположила какая-то старая дева.

— Мы сохранили бы все в тайне! — закричал г-н де Ванно.

— Тогда вы были бы виновны в укрывательстве, — возразил адвокат.

— О проклятый нищий! — таково было заключение г-на де Ванно.

Одна из дам, принятых в обществе г-жи де Граслен, со смехом рассказавшая ей о спорах супругов де Ванно, женщина очень умная, одна из тех, кто мечтает о прекрасном идеале и хочет, чтобы все было совершенно, высказала сожаление о том, что осужденный ведет себя, как разъяренный зверь. Ей хотелось, чтобы он был холоден, спокоен и полон достоинства.

— Разве вы не видите, — заметила Вероника, — что таким образом он отбрасывает соблазны и сопротивляется искушениям. Он из расчета превратился в дикого зверя.

— К тому же это не человек из общества, — подхватила изгнанница-парижанка, — это рабочий.

— Человек из общества давно бы предал незнакомку, — ответила г-жа Граслен.

Эти события, на все лады обсуждаемые и в салонах и в скромных семейных домах, досконально разбиравшиеся всеми умниками города, вызывали жгучий интерес к казни Ташрона, чью просьбу о помиловании Верховный суд по истечении двух месяцев отклонил. Как будет вести себя в последние минуты преступник, который заявлял, что пойдет на отчаянное сопротивление и не даст убить себя? Заговорит ли он? Признается ли? Кто выиграет пари? Пойдете ли вы? Не пойдете? А как туда попасть?

В Лиможе тюрьма и место казни расположены таким образом, чтобы избавить преступников от тягости долгого пути. Поэтому количество избранной публики всегда бывает ограничено. Здание суда, где помещается тюрьма, стоит на углу Судейской улицы и улицы Понт-Эрисон. Прямым продолжением Судейской улицы является короткая уличка Монт-а-Регре, ведущая на площадь Эн, или Арен, где совершаются казни, чему, без сомнения, и обязана она своим названием. Путь недалек, и, следовательно, на пути этом мало домов и мало окон. А какой же человек из общества захочет смешаться с толпой, обычно заполняющей площадь?

Однако ожидавшаяся со дня на день казнь, к величайшему удивлению всего города, со дня на день откладывалась, и вот почему. Благочестивое смирение идущего на казнь злодея является торжеством церкви и всегда оказывает огромное воздействие на толпу. Раскаяние преступника слишком ярко свидетельствует о могуществе религиозных идей, чтобы духовенство — не говоря уже о чисто христианских интересах, являющихся основной целью церкви, — не было раздражено своей неудачей в таком из ряда вон выходящем случае. В июле 1829 года положение было особенно острым из-за духа партийной борьбы, отравлявшего всю политическую жизнь. Партия либералов торжествовала, видя публичное поражение «поповской партии»[[14]](#footnote-14) — название, придуманное Манлозье, роялистом, присоединившимся к конституционалистам, которые увлекли его несколько дальше, чем ему бы хотелось. Партии в целом совершают бесчестные поступки, которые отдельного человека покрыли бы позором; поэтому если в глазах толпы какой-нибудь человек представляет партию, будь то Робеспьер, Джеффри[[15]](#footnote-15) или Лобардемон[[16]](#footnote-16), он превращается в своего рода покаянный алтарь, на который все сообщники возлагают свои тайные ex voto. Действуя в согласии с епархией, суд оттягивал казнь, надеясь тем временем узнать о преступлении все, что ускользнуло от внимания следствия, а также способствовать торжеству религии. Меж тем власть суда была не безгранична, и рано или поздно приговор следовало привести в исполнение. Те же либералы, которые из духа противоречия считали Ташрона невиновным и нападали на приговор суда, теперь выражали недовольство тем, что приговор не приводится в исполнение. Оппозиция, если она последовательна, часто приходит к подобным нелепостям, ибо для нее не столько важно быть правой, сколько фрондировать против властей.

Таким образом, в начале августа суд был вынужден к действию той подчас неразумной молвой, которая называется общественным мнением. День казни был назначен. В подобных чрезвычайных обстоятельствах аббат Дютейль взял на себя смелость предложить епископу последнее средство, и успех его замысла ввел в судебную драму человека необыкновенного, который объединил всех остальных персонажей, стал главным действующим лицом нашего повествования и неисповедимыми путями провидения привел г-жу Граслен на то поприще, где все ее добродетели раскрылись в полном блеске, где она показала себя благодетельницей рода человеческого и святой христианкой.

Епископский дворец в Лиможе расположен на холме, над берегами Вьены, и сады его, следуя естественному строению обрывистых склонов, террасами спускаются к реке, опираясь на мощные, увенчанные балюстрадами стены. Холм этот настолько высок, что предместье Сент-Этьен на том берегу реки как бы лежит у подножия последней террасы. С холма, куда бы ни направил свои шаги гуляющий, раскрывается великолепная панорама с вьющейся посредине рекой, которая видна то вдоль всего течения, то, скрываясь за поворотом, лишь с берега на берег. На востоке, оставив за собой сады епископского дворца, Вьена устремляется в город, изящной дугой изогнувшись вокруг предместья Сен-Марсиаль. Выше по течению, невдалеке от предместья, стоит хорошенький сельский домик, известный под названием Клюзо; он отлично виден с нижних террас и благодаря смещению перспективы как бы компонуется с колокольнями предместья. Перед домиком лежит поросший деревьями островок с изрезанными берегами, который Вероника в дни своей юности называла Иль-де-Франс. На западе амфитеатром поднимаются уходящие вдаль холмы. Волшебная прелесть ландшафта и благородная простота здания делают епископский дворец самым примечательным памятником города, где остальные постройки не блещут ни выбором материала, ни архитектурой.

Давно уже приглядевшийся к чудесным видам, достойным внимания любителей живописных путешествий, аббат Дютейль в сопровождении г-на де Гранкура спускался с террасы на террасу, не обращая никакого внимания на алые краски, оранжевые тона и фиолетовые оттенки, которыми закат расписал старые стены, каменные балюстрады, дома предместья и воды реки. Он искал епископа, который сидел в ту пору на углу последней террасы под сенью виноградной беседки, куда велел подать себе десерт, и наслаждался очарованием вечера. Растущие на островке тополя рассекали воду своими длинными тенями, их пожелтевшие вершины отливали на солнце чистым золотом. Угасавшие лучи, пробегая по массе зелени разнообразнейших оттенков, создавали роскошные сочетания тонов, проникнутые глубокой печалью. В долине сверкающая блестками рябь трепетала под легким вечерним ветерком на зеркальной глади Вьены, оттеняя бурые плоскости кровель предместья Сент-Этьен. Сквозь обвившие решетку виноградные лозы вдали виднелись позлащенные солнцем шпили и колокольни предместья Сен-Марсиаль. Приглушенный шум провинциального городка, наполовину скрытого в глубокой излучине реки, ласковый ветерок — все располагало прелата к душевному спокойствию, которого требуют все авторы, писавшие о пищеварении. Глаза его невольно обращались туда, где тень тополей, достигнув берега предместья Сент-Этьен, падала на стену сада, в котором были убиты старик Пенгре и его служанка. Но как только недолгое блаженство епископа было нарушено старшими викариями, напомнившими ему о неприятных событиях, глаза его приняли непроницаемое выражение. Оба священника приписали его рассеянность досаде, меж тем как прелат прозревал в это время на песчаных берегах Вьены разгадку, которой тщетно добивались супруги де Ванно и правосудие.

— Монсеньер, — сказал, подойдя к епископу, де Гранкур, — все бесполезно. К нашему прискорбию, мы увидим, как умрет нераскаянным бедняга Ташрон. Он будет изрыгать самые ужасные проклятия против религии, осыпать бранью несчастного аббата Паскаля, плевать на распятие, отрицать все, даже существование ада.

— Он испугает народ, — добавил аббат Дютейль. — Это скандальное происшествие и ужас, который оно вызовет, будут свидетельством нашего поражения и бессилия. Вот почему я говорил по дороге господину де Гранкуру, что зрелище это оттолкнет не одного грешника от лона церкви.

Взволнованный этими словами, епископ положил на некрашеный деревянный стол виноградную кисть, вытер пальцы и жестом пригласил обоих своих старших викариев присесть.

— Аббат Паскаль не так взялся за это дело, — произнес он наконец.

— Последнее посещение тюрьмы довело его до болезни, — возразил аббат де Гранкур, — а не то он пришел бы с нами и разъяснил, почему невозможно осуществить повеления вашего преосвященства.

— Осужденный начинает во все горло распевать непристойные песни, едва лишь увидит кого-нибудь из нас, и заглушает все наши увещевания, — сказал молодой священник, сидевший подле епископа.

Юноша этот, отличавшийся прелестной внешностью, сидел, облокотясь на стол, и тонкой белой рукой небрежно перебирал виноградные кисти, выбирая спелые ягоды с непринужденностью сотрапезника или любимца. Связанный с епископом Лиможским семейными и дружескими узами, молодой священник, младший брат барона де Растиньяка, был и сотрапезником и любимцем прелата. Так как духовное поприще он избрал только из расчета, епископ взял его себе в личные секретари, чтобы предоставить ему время и возможность выдвинуться. Имя аббата Габриэля сулило ему самые высокие места в церковной иерархии.

— А, значит, ты ходил туда, сын мой? — спросил епископ.

— Да, монсеньер. Но едва я показался, этот несчастный стал изрыгать против меня и вас самые мерзкие поношения, он вел себя так, что священнику невозможно было там оставаться. Дозволит ли ваше преосвященство дать ему совет?

— Послушаем мудрость младенцев, порой их устами глаголет бог, — сказал, улыбаясь, епископ.

— Не по его ли велению заговорила и Валаамова ослица? — весело откликнулся юный аббат де Растиньяк.

— По мнению иных комментаторов, она не слишком хорошо понимала свои слова, — возразил, смеясь, епископ.

Оба старших викария улыбнулись: прежде всего шутка исходила от монсеньера, а к тому же он ласково высмеивал молодого аббата, которому завидовали все духовные лица и честолюбцы, окружавшие прелата.

— Мне кажется, — сказал молодой аббат, — что следует попросить господина де Гранвиля еще немного отложить казнь. Если осужденный узнает, что он обязан несколькими днями отсрочки нашему ходатайству, он, может быть, сделает вид, что слушает нас, а если он нас выслушает...

— Он станет упорствовать в своем поведении, увидев, что оно ему выгодно, — прервал епископ своего любимца. — Господа, — продолжал он после минутного молчания, — известны ли все эти подробности в городе?

— Нет дома, в котором бы их не обсуждали, — ответил аббат де Гранкур. — А сейчас только и говорят, что о болезненном состоянии доброго аббата Паскаля.

— Когда должна состояться казнь Ташрона? — спросил епископ.

— Завтра, в базарный день, — сказал аббат де Гранкур.

— Господа, религия не может потерпеть поражения! — вскричал епископ. — Чем больше внимания привлекает это дело, тем настойчивее я буду добиваться полного торжества. Церковь находится в сложном положении. Мы обязаны сотворить чудо в промышленном городе, где дух мятежа против религиозных и монархических доктрин пустил глубокие корни, где порожденная протестантизмом разрушительная система взглядов, ныне именуемая либерализмом, готовая завтра же принять другое имя, охватила все и вся. Идите, господа, к виконту де Гранвилю — он предан нам всей душой, — скажите ему, что мы требуем нескольких дней отсрочки. Я сам пойду к несчастному узнику.

— Вы, монсеньер! — воскликнул аббат де Растиньяк. — Но, если потерпите неудачу вы, слишком многое от этого пострадает. Вы можете идти туда, лишь будучи уверены в успехе.

— Если монсеньер позволит мне высказать свое мнение, — сказал аббат Дютейль, — я надеюсь, что смогу предложить средство добиться торжества религии в этом печальном деле.

Прелат ответил жестом согласия, но достаточно небрежным, чтобы показать, как мало он ценит старшего викария.

— Если и может кто-нибудь воздействовать на эту мятежную душу и вернуть ее господу, — продолжал аббат Дютейль, — то лишь кюре из его деревни, господин Бонне.

— Один из ваших подопечных, — заметил епископ.

— Монсеньер, кюре Бонне принадлежит к людям, которые сами себя опекают своей воинствующей добродетелью и своими евангельскими трудами.

Этот скромный и простой ответ был встречен молчанием, которое смутило бы всякого другого, кроме аббата Дютейля. Его возражение касалось людей непризнанных, и все три пастыря усмотрели в нем один из тех смиренных, но безупречных и ловко отточенных сарказмов, которыми щеголяют духовные лица, умеющие говорить именно то, что и хотят сказать, не нарушая при этом строжайших правил. Но это было не так, аббат Дютейль и не думал о сарказмах.

— Я давно уже слышу об этом святом Аристиде, — сказал с улыбкой епископ. — Если я скрою от людей такой талант, это будет несправедливостью или предубеждением. Ваши либералы восхваляют вашего господина Бонне так, словно он принадлежит к их партии, но я хочу сам судить об этом сельском апостоле. Отправляйтесь, господа, к прокурору и попросите от моего имени об отсрочке. Я подожду ответа, прежде чем посылать нашего милого аббата Габриэля в Монтеньяк за святым человеком. Мы дадим этому праведнику возможность сотворить чудо.

Услыхав слова прелата, аббат Дютейль покраснел, но не показал, что они были ему неприятны. Оба старшие викария молча поклонились и оставили епископа наедине с его фаворитом.

— Тайна исповеди, которой мы домогаемся, несомненно, погребена там, — сказал епископ молодому аббату, указывая на тень тополей, покрывшую одинокий дом, затерянный между островом и предместьем Сент-Этьен.

— Я сам так думаю, — ответил Габриэль. — Я не следователь и не хочу быть шпионом; но будь я судьей, я узнал бы имя женщины, которая трепещет при каждом шуме, при каждом слове и все же должна хранить невозмутимое спокойствие под страхом разделить на эшафоте судьбу преступника. Ей, впрочем, нечего бояться. Я видел этого человека, он унесет в могилу тайну своей пылкой любви.

— Маленький хитрец, — сказал епископ, потрепав за ухо своего секретаря, и указал на озаренное последней вспышкой заката пространство между островом и предместьем Сент-Этьен, к которому прикован был взгляд молодого священника. — Правосудию следовало бы поискать там, не правда ли?..

— Я ходил к убийце, чтобы проверить мои подозрения, но он окружен шпионами; если бы я заговорил, то мог бы скомпрометировать женщину, ради которой он идет на смерть.

— Умолкнем, — сказал епископ, — мы не служим правосудию земному. Достаточно одной головы. Впрочем, рано или поздно эта тайна откроется церкви.

Проницательность, которой привычка к размышлению наделяет священников, значительно выше проницательности суда или полиции. Созерцая с высоты своей террасы место ужасного преступления, прелат и его секретарь действительно в конце концов проникли в тайну, оставшуюся неразгаданной, несмотря на все ухищрения следствия и дебаты в суде присяжных.

Господин де Гранвиль играл в вист у г-жи Граслен, поэтому пришлось ждать его возвращения, и ответ прокурора стал известен епископу лишь около полуночи. В два часа ночи аббат Габриэль в карете епископа отправился в Монтеньяк. Этот округ, отстоящий от города примерно на девять лье, расположен в той части Лимузена, что идет вдоль Коррезских гор и граничит с департаментом Крезы. Итак, юный аббат покинул Лимож, кипевший бурными страстями в предвкушении назначенного на завтра зрелища, которому снова не суждено было состояться.

## Глава III

## КЮРЕ ДЕРЕВНИ МОНТЕНЬЯК

Священники и ханжи склонны соблюдать в денежных делах величайшую бережливость. Что тут виной? Бедность? Или эгоизм, порожденный уединенной жизнью и способствующий развитию заложенной в человеке скаредности? Или же расчет и разумная экономия, которых требуют дела милосердия? Различным характерам соответствуют различные толкования. Порой нежелание раскошелиться скрывается под милым добродушием, иногда выступает неприкрыто, но особенно ярко оно проявляется во время путешествия.

Габриэль де Растиньяк, самый красивый из всех молодых людей, склонявшихся когда-либо в алтарях над святыми дарами, не давал почтальонам на чай больше тридцати су и потому ехал очень медленно. Почтальоны весьма неторопливо возят епископов, которые обычно лишь удваивают установленную плату, но не причинят никакого вреда епископской карете из страха навлечь на себя неприятности. Аббат Габриэль впервые путешествовал один; при каждой смене лошадей он произносил нежным голосом:

— Поторапливайтесь, господа почтальоны.

— Мы машем кнутом, лишь когда ездок помашет кошельком, — ответил ему какой-то старый почтальон.

Юный аббат откинулся на подушки кареты, так и не поняв ответа. Чтобы развлечься, он стал рассматривать окружавшую его местность, а иной раз поднимался пешком на возвышенности, по которым вьется дорога из Бордо в Лион.

В пяти лье от Лиможа, минуя прихотливые извивы Вьены и прелестные луга пологих склонов Лимузена — местами, особенно в Сен-Леонаре, напоминающие Швейцарию, — открывается ландшафт мрачный и печальный. Кругом простираются обширные невозделанные равнины, сухие степи, в которых не видно ни травы, ни лошадей, степи, обрамленные на горизонте высотами Коррезских гор. Взор путника не порадуют в этих горах ни стройные громады и живописные пещеры Альп, ни жаркие ущелья и обнаженные вершины Апеннин, ни величие Пиренеев. Их волнообразные, сглаженные медленным течением вод очертания говорят о мертвом спокойствии, наступившем после катастрофы. Этот мягкий облик, свойственный почти всем возвышенностям Франции, быть может, не меньше, чем климат, заслужил ей в Европе название *Милой Франции*. Но если плоская равнина, затерявшаяся между прекрасными пейзажами Лимузена, Оверни и Марша, может вызвать у мыслителя или поэта образ бесконечности, столь страшный для иных душ, если побуждает она к мечтательности женщину, скучающую в своей карете, то для местных жителей природа края сурова, дика и безжалостна. Почва этих серых равнин бесплодна. Только близкое соседство столицы могло бы повторить здесь чудо, совершенное за последние два века в Бри. Но нет здесь больших городов, способных оживить пустыни, в которых агроном видит лишь гиблое место, где цивилизация в загоне, где путешественник не найдет ни гостиниц, ни милой его сердцу живописности. Души возвышенные относятся к ландам без неприязни; они видят в них тени, необходимые в огромной картине природы. Недавно Купер, этот меланхолический талант, показал всю поэзию глухих, необитаемых мест в своей «Прерии». Наши равнины, лишенные растительности, покрытые бесплодными минеральными обломками, мертвые земли, усеянные камнями, — это вызов, брошенный цивилизации. Франция обязана решить свои задачи, как решили их англичане для Шотландии, где их терпение, их героическая борьба с природой превратили непроходимые вересковые заросли в цветущие фермы. Брошенная в диком, первобытном состоянии, эта нетронутая общественная целина порождает безволие, лень, слабость, вызванную недостатком пищи, и преступление, если нужда заговорит слишком властно. Такова в немногих словах прошлая история Монтеньяка. Что оставалось людям, живущим на земле, забытой властями, покинутой дворянством и отвергнутой промышленным производством? Объявить войну обществу, не выполняющему свой долг. Вот почему жители Монтеньяка до последнего времени жили воровством и разбоем, как некогда горные шотландцы. Взглянув внимательно на местность, мыслитель легко поймет, каким образом двадцать лет назад жители деревни могли вести войну с обществом.

Большое плато, ограниченное с одной стороны берегами Вьены, с двух других — живописными долинами провинций Марш и Овернь и замкнутое цепью Коррезских гор, напоминает, если не принимать во внимание сельское хозяйство, плато Бос, отделяющее бассейн Луары от бассейна Сены, плато Турени, Берри и других областей, подобные граням на поверхности Франции и достаточно многочисленные, чтобы вызвать серьезные размышления у государственных деятелей. Ведь это неслыханно! Все жалуются на то, что народные массы пробиваются в высшие слои общества, а правительство не может помешать этому в стране, где, по статистическим данным, несколько миллионов гектаров земли лежат под паром, причем в некоторых местах, в Берри, например, это чистый чернозем. Многие из этих земель, которые прокормили бы не одну деревню и дали бы огромные урожаи, принадлежат общинам, из упрямства не желающим продавать их предпринимателям, лишь бы сохранить право пасти на своих лугах сотню коров. На всех этих заброшенных землях написано одно слово: *беспомощность*. Каждая почва бесплодна по-своему. Тут дело не в отсутствии рук или доброй воли, но административного ума и таланта. Во Франции до нынешнего времени плато приносились в жертву долинам. Государство направляло свои заботы, свою помощь туда, где выгода говорила сама за себя.

Большая часть этих злосчастных пустынь лишена воды — необходимого условия для производства продуктов. Туманы, которые могли бы удобрить эти мертвые серые земли своими окисями, не успевают даже осесть: их уносит ветер, ибо нет здесь деревьев, которые задерживают туман в других местностях и поглощают его питательные вещества. Посадка деревьев была бы тут равносильна проповеди Евангелия. Жители этих мест отрезаны от ближайшего к ним города непреодолимой для бедняков пустыней; у них не было бы рынка для сбыта, даже если бы они что-нибудь и вырастили; соседние леса снабжали их только дровами и неверными плодами браконьерства; зимой их преследовал голод. Так как земля не годилась для посева, несчастные не имели ни скота, ни земледельческих орудий, они питались каштанами. Тот, кто, осматривая зоологический музей, замечал, какое грустное впечатление производит окрашенный в бурые тона животный мир Европы, поймет, быть может, какую тоску наводит зрелище этих сероватых равнин, постоянно напоминающих о своем бесплодии. Нет здесь ни свежести, ни тени, ни контрастов, нет ни единой мысли, ни единого образа, веселящих сердце. Самой жалкой кривой яблоне тут обрадуешься, как близкому другу.

От развилки шоссе шла через равнину недавно проложенная департаментскими властями дорога. На расстоянии нескольких лье, у подножия холма, находился Монтеньяк, центр кантона, входившего в один из округов департамента Верхней Вьены. Холм тоже принадлежит к Монтеньякскому кантону, в котором соединились равнинная и горная природа. Эта община с ее пригорками и низинами похожа на маленькую Шотландию. За холмом, у подножия которого приютилась деревня, примерно на расстоянии одного лье возвышается первый пик Коррезских гор. Вокруг раскинулся большой Монтеньякский лес, — он покрывает Монтеньякский холм, сбегает с него, расползается по долинам и голым склонам, оставляя местами большие проплешины, огибает пик и доходит до Абюссонской дороги, острым языком спускаясь к ней по крутому откосу. Откос этот господствует над ущельем, по которому проходит большая дорога из Бордо в Лион. Нередко кареты, всадники и пешеходы подвергались в этом опасном ущелье нападению грабителей, которым все проделки сходили с рук. Место было самое подходящее: пробираясь им одним известными тропинками, разбойники прятались в непроходимой лесной чаще. Подобный край не располагал правосудие к расследованиям. Дорогой перестали пользоваться. А без путей сообщения невозможны ни торговля, ни промышленность, ни обмен идеями, ни накопление богатств, ибо первоначально возникает идея, а все физически ощутимые чудеса цивилизации являются лишь результатом ее применения. Мысль неизменно служит отправной и конечной точкой любому обществу. История Монтеньяка подтверждает эту аксиому социальной науки. Когда власти получили возможность заняться неотложными материальными нуждами края, они вырубили участок леса, спускавшийся в ущелье, и поручили жандармскому караулу сопровождать почту на протяжении двух перегонов. Но, к вящему посрамлению жандармерии, слово, а не меч, кюре Бонне, а не бригадир Шервен выиграли этот гражданский бой, изменив нравственную природу населения. Проникшись религиозной любовью к несчастному краю, кюре задумал возродить его и достиг своей цели.

Проехав около часа среди усеянных камнями, покрытых слоем пыли, иссохших равнин, где целыми выводками мирно бродят куропатки и тяжело взлетают, заслышав приближение экипажа, аббат Габриэль, как все попадавшие сюда путники, испытал облегчение, увидев вдали крыши деревни.

При въезде в Монтеньяк стоит одна из тех забавных почтовых станций, какие можно увидеть только во Франции. Вместо вывески над жалкой, полуразвалившейся конюшней, где не заметишь ни единой лошади, красуется прибитая четырьмя гвоздями дубовая доска, на которой честолюбивый почтальон вывел черными чернилами: «Лашадиная пошта». Вместо порога перед открытой дверью торчит поставленная на ребро доска, предохраняющая от стока дождевой воды пол конюшни, расположенный ниже уровня дороги. Приунывший пассажир может увидеть выцветшую ветхую упряжь, едва ли способную выдержать хотя бы первый рывок лошади. Лошади обычно бывают в поле, на лугу, где угодно, только не в конюшне. Если же случайно они находятся в конюшне, то они едят; если они уже поели, то почтальон в гостях у своей тетки или кузины, а не то возит сено или спит; ни одна душа не знает, где он: приходится ждать, пока кто-нибудь отправится на поиски, но все равно почтальон приходит, лишь закончив все свои дела; когда он является, проходит бесконечно много времени, покуда он найдет свою куртку, свой кнут или запряжет лошадей. На пороге дома обычно мечется дородная женщина; она, пожалуй, еще в большем нетерпении, чем пассажир, и, желая умилостивить его, бегает взад и вперед значительно резвее, чем побегут лошади. Представившись вам как хозяйка почты, она сообщает, что муж работает в поле.

Любимец монсеньера вышел из кареты, остановившейся у точно такой конюшни: стены строения походили на географическую карту, а соломенная крыша так заросла живучкой, что прогибалась под ее тяжестью. Попросив хозяйку, чтобы через час все было готово к отъезду, аббат справился о дороге к дому священника; добрая женщина указала ему проулок между двумя домами, который вел к церкви, а уж за церковью будет и дом священника.

Пока молодой аббат поднимался по зажатой между изгородями каменистой тропинке, хозяйка допрашивала почтальона. По всему пути от Лиможа до Монтеньяка каждый прибывающий почтальон сообщал своему отбывающему собрату о намерениях епископа, разглашенных городским почтальоном. И вот, в то время как жители Лиможа, встав ото сна, только и говорили, что о казни, ожидавшей убийцу папаши Пенгре, во всех придорожных деревнях люди радовались помилованию, которого добился епископ для неповинного человека, и чесали языки о мнимых ошибках земного правосудия. Когда позднее Жан-Франсуа был казнен, его, возможно, сочли мучеником.

Сделав несколько шагов по крутой тропинке, усыпанной красными осенними листьями и черными ягодами терна и ежевики, аббат Габриэль обернулся, повинуясь невольному желанию осмотреть местность, куда попал впервые, или своего рода физическому любопытству, присущему также собакам и лошадям. Ему стало ясно положение Монтеньяка при виде нескольких скудных источников на склоне холма и узкой речушки, вдоль которой проходила департаментская дорога, соединявшая центр округа с префектурой. Как во всех деревнях этого плато, дома Монтеньяка были сложены из необожженного кирпича. Настоящий кирпич можно было увидеть только в домах, очевидно, отстроенных после пожара. Крыши всюду соломенные. Все здесь говорило о нищете. Перед деревней простирались поля ржи, репы и картофеля, отвоеванные у равнины. На склонах холма Габриэль увидел небольшие, искусственно орошаемые луга; на таких лугах выращивают знаменитых лимузенских лошадей, которые, говорят, остались нам в наследство от арабов, пришедших через Пиренеи во Францию, чтобы пасть между Пуатье и Туром от секиры франков, сражавшихся под началом Шарля Мартеля. Вершина холма была словно поражена засухой. Выжженные, красно-бурые пространства указывали на бесплодную почву, на которой могут расти только каштаны. Вода, заботливо собранная для орошения, оживляла лишь окаймленные каштановыми деревьями, окруженные изгородями луга, где росла тонкая, редкая и низкая, будто подслащенная травка, которой и выкармливают породу гордых и нежных коней; они не очень выносливы, но в своих родных местах отличаются превосходными качествами — на чужбине они приживаются с трудом. Несколько молодых тутовых деревьев свидетельствовали о намерении заняться производством шелка. Как в большинстве деревень мира, в Монтеньяке была одна только улица, по которой шла проселочная дорога. Деревня делилась на верхний и нижний Монтеньяк и вся была изрезана переулочками, соединявшимися с улицей под прямым углом. Над рядом домов, примостившихся у подножия холма, поднимались вверх веселые садики. Чтобы выйти из дома на дорогу, требовался какой-нибудь спуск; тут были и земляные лесенки и каменные, а на них то здесь, то там сидели старухи — кто с вязаньем в руках, кто укачивая ребенка — и вели беседу между верхним и нижним Монтеньяком, переговариваясь через обычно пустынную дорогу; таким образом, новости довольно быстро доходили с одного конца деревни на другой. Все сады были полны фруктовых деревьев, капусты, лука, овощей; вдоль задних оград стояли ульи. Ниже дороги шел параллельно другой ряд хижин, с садами, сбегавшими к реке, вдоль которой тянулись заросли великолепной конопли и росли любящие влагу фруктовые деревья; некоторые дома находились, так же как почта, в низине, что благоприятствовало ткацкому промыслу. Повсюду поднимались раскидистые ореховые деревья — признак плодородной почвы. В этой стороне, в отдаленном от равнины конце деревни, стоял дом побольше и попригляднее других, окруженный еще несколькими домиками, тоже содержавшимися в чистоте и порядке. Этот хуторок, отделенный садами от остальной деревни, уже тогда носил название «Ташроны» и сохранил его по сей день. Сама по себе община Монтеньяка была невелика, но в нее входило еще примерно мыз тридцать, стоявших особняком. По долине тянулись к реке полосы кустарников, какие встречаются также в долинах Марша и Берри; отмечая путь весенних вод, они окружали как бы зеленой бахромой деревню, затерянную в равнине, словно корабль в открытом море.

Когда какая-нибудь семья, усадьба, деревня, страна переходит от плачевного состояния к удовлетворительному, хотя бы не достигнув еще ни роскоши, ни даже достатка, эта новая жизнь кажется настолько естественной для живых существ, что сторонний наблюдатель не может догадаться о тех гигантских усилиях, бесконечно мелких, но великих своим упорством, о труде, заложенном в самом основании дела, о позабытой уже тяжкой работе, на которой покоятся первые заметные глазу перемены. Вот почему молодой аббат не заметил ничего примечательного, когда окинул взглядом приветливый ландшафт. Ему неизвестно было состояние края до приезда кюре Бонне.

Аббат Габриэль двинулся дальше по тропинке и вскоре вновь увидел над садами верхнего Монтеньяка церковь и дом священника, которые заметил еще издали, и неясно проступающие позади них величественные, увитые ползучими растениями развалины старого Монтеньякского замка, бывшего в двенадцатом веке одной из резиденций герцогов Наваррских. Перед домом священника, очевидно, построенным некогда для главного лесничего или управляющего, тянулась длинная, усаженная липами терраса, с которой открывался вид на всю округу. О древности лестницы и поддерживающих террасу стен говорили причиненные безжалостным временем разрушения. Между каменными плитами ступеней, сдвинутых с места незаметным, но упорным, натиском растительности, пробивались высокие травы и грубые листья. Низкий, стелющийся по камням мох покрывал каждую ступеньку ярким зеленым ковром. Разнообразные вьюнки, ромашки, венерины волосы пышными охапками выглядывали из всех трещин, избороздивших старые стены, несмотря на их толщину. Природа набросила на серые камни многоцветное покрывало из резных папоротников, фиолетовых львиных зевов с золотистыми пестиками, голубой змеиной травки бурых хвощей, и теперь камень, редко-редко проглядывая сквозь свежий ковер, казался второстепенной деталью. На террасе перед самым домом был разбит садик с прямыми дорожками, окаймленными буксом, а позади дома белела скала, украшенная слабенькими, склоненными, словно плюмажи, деревьями. Развалины замка возвышались и над жилищем священника и над церковью. Прочно выстроенный из скрепленных известкой валунов двухэтажный дом был увенчан огромной покатой крышей с двумя коньками, прикрывавшей обширные и, судя по ветхости слуховых окон, пустые чердаки. Первый этаж состоял из двух комнат, разделенных коридором, в глубине которого деревянная лесенка вела на второй этаж; здесь также было две комнаты. Маленькая кухонька прилепилась к зданию со стороны двора, в котором находились конюшня и хлев, совершенно пустые, бесполезные и заброшенные. Между церковью и домом священника раскинулся огород. Полуразрушенная галерея вела из дома в ризницу.

Когда молодой аббат увидел эти четыре окна со свинцовыми переплетами, бурые замшелые стены, грубо вытесанную и растрескавшуюся, словно спичечный коробок, дверь, он — отнюдь не умилившись наивной прелестью этого уголка, свежестью буйных растений, обвивших крышу и потемневшие наличники, или виноградными лозами, заглядывавшими в окна всеми своими листочками и кистями, — почувствовал себя несказанно счастливым оттого, что ему предстояло быть епископом, а не деревенским кюре.

Этот всегда открытый дом, казалось, принадлежал всем. Аббат Габриэль вошел в примыкавшую к кухне столовую и нашел ее меблировку весьма скудной: старинный дубовый стол на четырех витых ножках, обитое ковровой тканью кресло, деревянные стулья и ветхий ларь, заменявший буфет. В кухне ни души, кроме кошки, указывавшей на присутствие женщины. Вторая комната служила гостиной. Заглянув туда, молодой священник увидел некрашеные деревянные кресла с мягкими сиденьями. Панели и потолочные балки были из каштана, принявшего оттенок черного дерева. Обстановку дополняли стенные часы в зеленом, расписанном цветами футляре, стол, покрытый вытертой зеленой скатертью, несколько стульев и два подсвечника на каминной доске, между которыми стоял восковой младенец Иисус под стеклянным колпаком. Перед камином, обрамленным грубой деревянной резьбой, красовался бумажный экран с изображением доброго пастыря, несущего на плече овечку, — несомненно, подарок дочери мэра или мирового судьи в знак признательности за пастырскую заботу о ее воспитании.

Дом находился в жалком состоянии; некогда побеленные стены местами потеряли всякий цвет, и в высоту человеческого роста были затерты до блеска; лестница с широкими перилами и деревянными ступеньками содержалась в чистоте, но так и дрожала под ногами. В глубине, против входной двери, была другая, тоже открытая дверь, через которую аббат де Растиньяк увидел крошечный огородик, упиравшийся, словно в крепостную стену, в белую выветренную скалу, вдоль которой тянулись пышные, но плохо ухоженные виноградные шпалеры с листьями, будто изъеденными проказой. Аббат повернул назад и стал прогуливаться по аллеям сада, откуда открывался его взору великолепный вид на расположенную ниже деревни долину реки — подлинный оазис на краю беспредельных плоских равнин, напоминавших спокойное море, подернутое дымкой утреннего тумана. А позади, с одной стороны — яркие пятна тронутого бронзой леса, с другой — церковь и развалины замка на вершине горы, как бы врезанные в синеву небес.

Прислушиваясь к поскрипыванию песка под ногами, аббат Габриэль бродил по дорожкам, образующим звезды, круги и ромбы, и поглядывал то на деревню, где заприметившие его жители уже стали собираться на улице кучками, то на зеленую долину, пересеченную каменистыми дорогами и бегущей среди ив речкой, — на долину, так резко отличавшуюся от беспредельной степи. И тут молодого аббата охватили чувства, изменившие весь ход его мыслей; он восхитился покоем этих мест, вдохнул всей грудью этот чистый воздух и почувствовал, как снизошел на него мир этой жизни, столь близкой к библейской простоте. Он начал смутно постигать красоту дома священника и вернулся, чтобы получше рассмотреть его, движимый серьезной пытливостью. Девчушка, которая, очевидно, лакомилась в саду, вместо того чтобы стеречь дом, услышала, как по выложенному плитками полу первого этажа ходит какой-то человек в скрипучих башмаках. Она прибежала. Смущенная тем, что ее застали с одним яблоком в руке, а с другим в зубах, она не могла произнести ни слова в ответ на расспросы этого красивого молоденького аббатика. Малышка и не подозревала, что бывают такие аббаты — разряженные, в белоснежном батистовом белье, в сутане из тонкого черного сукна без единого пятнышка или морщинки.

— Господин Бонне, — пробормотала она, наконец, — господин Бонне служит мессу, а мадмуазель Урсула в церкви.

Аббат Габриэль не заметил галереи, соединявшей жилище священника с церковью; выйдя вновь на тропинку, он направился к главному входу. Крытый портал был обращен к деревне; в церковь вели стертые неровные каменные ступени, поднимавшиеся над площадью, изрытой вешними водами и обсаженной по указу протестанта Сюлли раскидистыми вязами. Церковь, одна из самых бедных церквей Франции — где они бывают достаточно бедны, — походила на огромный амбар с пристроенным над дверью навесом, опирающимся на деревянные или кирпичные столбы. Сложенная так же, как дом священника, из валунов, схваченных известкой, с пристроенной четырехугольной колокольней без шпиля, крытая кровлей из крупной круглой черепицы, церковь эта блистала снаружи не роскошными произведениями скульптуры, а игрой света и тени на украшениях, созданных, отделанных и расписанных самой природой, которая знает в этом толк не меньше, чем Микеланджело. Вокруг входа разметались по стенам гибкие стебли плюща, проступающие сквозь листву, как сеть жилок на анатомическом рисунке. Это покрывало, наброшенное временем, чтобы прикрыть им же самим нанесенные раны, пестрело осенними цветами, проросшими из трещин, и давало приют множеству щебечущих пташек. Окно в виде розетки над навесом портала было сплошь увито голубыми колокольчиками, напоминая первую страницу богато разрисованного требника. Боковой фасад, обращенный к дому священника, не так изобиловал цветами: он смотрел на север, и по стене стлались серые и красные мхи. Но зато задний и противоположный боковой фасады, которые выходили на кладбище, радовали глаз пышным и ярким цветением. В расселинах между камнями росли маленькие деревца и среди них миндаль — эмблема надежды. Две гигантские сосны позади церкви заменяли громоотвод. Главным украшением кладбища, обнесенного полуразрушенной низкой оградой, доходившей теперь лишь до половины человеческого роста, служил чугунный крест на каменном цоколе, убранный освященным на пасху буксом во исполнение трогательного христианского обычая, в городах позабытого. Из всех пастырей только деревенские священники могут сказать своим мертвецам в день светлого воскресения: «В ином мире вы будете счастливы!» Кое-где над поросшими травой бугорками высились полусгнившие кресты.

Внутреннее убранство храма совершенно отвечало его поэтически смиренной внешности, украшенной только рукой времени, на сей раз милосердного. В помещении церкви глаз прежде всего обращался к сводам, обшитым досками каштанового дерева, которому время придало богатые тона благородных древесных пород Европы. Свод поддерживали прочные подпоры, расположенные на равном расстоянии и покоящиеся на поперечных балках. Ни единого украшения на четырех выбеленных мелом стенах. В силу своей бедности прихожане, сами того не зная, оказались иконоборцами. На вымощенном плитками полу стояли деревянные скамьи, свет проникал в церковь через боковые стрельчатые окна со свинцовыми переплетами. Алтарь, имевший форму гроба, украшали распятие, дарохранительница орехового дерева с простой изящной резьбой, восемь подсвечников с экономичными свечами из выкрашенного в белый цвет дерева и две наполненные искусственными цветами фарфоровые вазы, которыми пренебрег бы привратник биржевого маклера, однако скромно удовольствовался бог. Люстрой в храме служил ночник, вставленный в старинную кропильницу посеребренной меди, подвешенную на шелковых шнурах, попавших сюда из какого-нибудь разоренного замка. Купель деревянная, так же как кафедра и некое подобие ложи для церковных старост, этой сельской аристократии. Алтарь святой девы являл взору восхищенной паствы две цветные литографии в позолоченных рамках. Он был выкрашен в белый цвет, убран искусственными цветами в позолоченных деревянных вазах и покрыт скатертью, обшитой старыми, порыжевшими кружевами.

Высокое узкое окно в глубине церкви, затянутое красной миткалевой занавесью, создавало неожиданный волшебный эффект. Роскошная алая завеса отбрасывала розовый отсвет на побеленные стены, и казалось, будто божественная мысль озарила алтарь и объяла убогий неф, стремясь согреть его. У стены галереи, которая вела в ризницу, стояла деревянная, чудовищно раскрашенная статуя патрона деревни, святого Жана-Батиста с барашком.

И все же, несмотря на свою бедность, церковь не лишена была мягкой гармонии, которая особенно проявляется в красках и всегда трогает прекрасные души. Теплые коричневые тона дерева чудесно оттеняли чистую белизну стен и согласно сочетались с торжествующим пурпуром, озаряющим алтарь. Это суровое триединство цветов напоминало о великой католической идее. Если при взгляде на этот убогий дом божий первым чувством было недоумение, то тут же оно сменялось восторгом, смешанным с жалостью: разве не отразилась в храме нищета всего края? Не подобен ли он в своей бесхитростной простоте дому священника? К тому же церковь содержалась в чистоте и порядке. Здесь все дышало ароматом сельских добродетелей, ничто не говорило о заброшенности. Дом божий был прост и груб, но в нем обитала молитва, в нем трепетала душа, и каждый невольно это чувствовал.

Аббат Габриэль тихонько проскользнул в церковь, стараясь не нарушить глубокой сосредоточенности молящихся, стоявших двумя группами у главного алтаря. В том месте, где спускалась с потолка люстра, алтарь отделялся от нефа довольно топорной балюстрадой каштанового дерева с наброшенной на нее пеленой, которая употреблялась во время причастия. По обе стороны нефа стояло человек двадцать крестьян и крестьянок. Погруженные в горячую молитву, они не обратили никакого внимания на чужака, шагавшего по узкому проходу между двумя рядами скамей. Остановившись под люстрой, откуда видны были два образующие крест придела, один из которых вел в ризницу, а другой — на кладбище, аббат Габриэль заметил в приделе, обращенном к кладбищу, одетое в траур семейство, преклонившее колени на каменных плитах, — скамей там не было. Молодой аббат простерся на ступенях балюстрады, отделявшей амвон от нефа, и начал молиться, искоса наблюдая за еще непонятным ему зрелищем. Евангелие было прочитано. Кюре снял с себя ризы и, спустившись со ступеней алтаря, направился к балюстраде. Молодой аббат, ожидавший этого, прижался к стене раньше, чем г-н Бонне мог его заметить. Пробило десять часов.

— Братья, — дрожащим голосом произнес кюре, — в этот самый час сын нашего прихода готовится заплатить свой долг земному правосудию; он идет на смертную муку, и мы служим святую мессу за упокой души его. Соединим свои молитвы, будем молить господа не покидать дитя свое в последнюю минуту, дабы раскаянием заслужил он на небе милость, в которой отказано ему было на земле. Гибель этого несчастного, от которого мы особенно ждали доброго примера, можно объяснить лишь забвением религиозных правил...

Тут кюре прервали рыдания одетых в траур людей; по этому взрыву горя молодой аббат признал в них семью Ташрона, хотя никогда их раньше не видел. У самой стены стояли двое стариков лет по семидесяти; два неподвижных, изборожденных морщинами лица, темных, как флорентийская бронза. Эти двое, застывшие как статуи в своих заплатанных, ветхих одеждах, очевидно, были дед и бабка осужденного. Их остекленевшие красные глаза, казалось, плакали кровавыми слезами, их руки так дрожали, что палки, на которые они опирались, выстукивали дробь на каменных плитах. Рядом с ними, закрыв лица, рыдали отец и мать. У ног четырех старших в семье стояли на коленях две замужние сестры со своими мужьями. За ними — трое юношей, окаменевшие от горя. Пятеро ребятишек, из которых старшему было не больше семи, преклонив колени и, разумеется, ничего не понимая во всем происходящем, осматривались вокруг и прислушивались с тем характерным для крестьян тупым любопытством, которое в действительности является самой острой способностью наблюдать физические стороны жизни. И, наконец, пришедшая позже других бедняжка Дениза, которая была арестована по воле правосудия, эта мученица сестринской любви, слушала священника, глядя на него не то безумным, не то недоверчивым взглядом. Для нее брат не мог умереть. Она разительно напоминала ту из трех Марий, которая не верила в смерть Христа, хотя и видела, что он умирает. Дениза стояла бледная, с глазами сухими, как у всех, кто проводит многие ночи без сна; не тяжкий крестьянский труд, а горе иссушило ее свежесть. Однако Дениза сохранила еще прелесть, свойственную сельским девушкам: полные формы, красивые грубоватые руки, круглое личико, чистые глаза, горевшие сейчас отчаянием. В вырезе платья под косынкой виднелась не тронутая солнцем кожа, которая говорила о прекрасном теле и скрытой под одеждой белизне. Обе замужние сестры плакали; их мужья, степенные земледельцы, были серьезны. Трое юношей, охваченные глубокой печалью, упорно смотрели в землю. Только Дениза и ее мать вносили оттенок возмущения в ужасную картину покорности и безнадежного горя.

Жители деревни с искренним благочестием и состраданием разделяли скорбь всеми уважаемой семьи; ужас отразился на лицах, когда из слов кюре стало ясно, что в этот миг должна была упасть голова юноши, которого все они знали с рождения и никогда не сочли бы способным совершить преступление. Рыдания, заглушившие простую короткую проповедь, начатую священником, так потрясли его, что он внезапно оборвал свою речь и призвал паству к горячей молитве. Хотя подобное зрелище и не должно бы удивлять священника, Габриэль де Растиньяк был слишком молод, чтобы не испытать глубокого волнения. Ему не приходилось отправлять обязанности простого священника, — он знал, что ему предназначена другая судьба; ему не случалось спускаться на дно общества, где сердце обливается кровью при виде человеческих горестей, — его ждала миссия высшего духовенства, которое поддерживает дух жертвенности, представляет возвышенную мысль церкви, а иногда с блеском проявляет свои достоинства на более обширной сцене, как знаменитые епископы Марселя и Мо, как архиепископы Арля и Камбрэ[[17]](#footnote-17).

Кучка сельских жителей со слезами молилась за того, кто должен был сейчас принять казнь на городской площади, перед тысячами чужих людей, сбежавшихся со всех сторон, чтобы усугубить его муки позором; этот слабый противовес сочувствия и молитвы, пытавшийся преодолеть тяжкий груз кровожадного любопытства и справедливых проклятий, не мог не тронуть человеческое сердце, особенно здесь, в этой скромной церкви. Аббата Габриэля искушало желание подойти к семье Ташрона и сказать: «Ваш сын, ваш брат еще жив, казнь отложена». Но он побоялся нарушить службу и к тому же знал, что отсрочка не означала помилования. Невольно вместо того, чтобы следить за службой, аббат стал присматриваться к пастырю, от которого ждали чуда — обращения преступника на путь истинный.

По своим впечатлениям от церковного дома Габриэль де Растиньяк создал себе воображаемый портрет г-на Бонне: тучный низенький человек, с грубым красным лицом, опаленный солнцем неутомимый труженик, похожий на крестьянина. Ничуть не бывало, — аббат увидел равного себе. Г-н Бонне был тщедушен и невелик ростом; в его внешности прежде всего поражало лицо, вдохновенное лицо апостола: оно было почти треугольной формы, — от висков широкого, прочерченного морщинами лба две тонкие прямые линии шли вдоль впалых щек к кончику подбородка. На этом болезненно желтом, словно воск, лице сияли ярко-голубые глаза, горевшие верой и живой надеждой. У кюре был прямой, тонкий и длинный нос с красиво вырезанными ноздрями, четко очерченный крупный и выразительный рот и голос, проникающий в самое сердце. Редкие тонкие и блестящие каштановые волосы говорили о недостаточном темпераменте, находящем опору только в воздержанной жизни. Вся сила этого человека заключалась в воле. Таковы были его отличительные черты. Короткопалые руки, принадлежи они другому человеку, могли бы навести на мысль о склонности к грубым развлечениям, но возможно, что, подобно Сократу, он победил свои дурные задатки. Худоба его не красила. Острые плечи, вогнутые колени и слишком развитая по сравнению с конечностями грудная клетка придавали ему вид горбуна без горба. Одним словом, он не должен был нравиться. Только в людях, знающих, какие чудеса способны сотворить мысль, вера или искусство, аббат Бонне мог вызвать восхищение своим горящим взглядом мученика, бледностью, всегда сопровождающей постоянство, и голосом, полным любви.

Этот человек, достойный быть священником первобытной церкви, существующей ныне лишь на картинах шестнадцатого века и на страницах мартиролога, был отмечен печатью человеческого величия, которое приближает к величию божественному, был исполнен убеждения, которое придает невыразимую красоту самому заурядному облику, озаряет теплым светом лица людей, преданных своему служению: так светится лицо женщины, которая гордится своей великой любовью. Убежденность есть человеческая воля, достигшая высшего могущества. Являясь одновременно причиной и следствием, она зажигает даже самые холодные души и своим немым красноречием увлекает массы.

Спускаясь со ступеней алтаря, кюре встретился глазами с аббатом Габриэлем; он узнал его, но когда секретарь епископа появился в ризнице, он застал там одну Урсулу, которой г-н Бонне отдал все распоряжения. Она пригласила молодого аббата следовать за ней.

— Сударь, — сказала Урсула, женщина канонического возраста, ведя аббата Растиньяка по галерее в сад, — господин кюре велел спросить у вас, завтракали ли вы. Должно быть, вы выехали из Лиможа спозаранку, если добрались сюда к десяти часам. Я сейчас же все приготовлю к завтраку. Господин аббат, конечно, не найдет здесь таких яств, как у епископа, но уж и мы постараемся угостить его получше. Господин Бонне вот-вот вернется, он пошел утешить эту несчастную семью... Ташронов... Подумать только, какие ужасы происходят сейчас с их сыном!..

— Но где находится дом этих славных людей? — вставил, наконец, аббат Габриэль. — По распоряжению монсеньера я должен немедленно увезти господина Бонне в Лимож. Этого несчастного не казнят сегодня, монсеньер добился отсрочки...

— Ах! — воскликнула Урсула, у которой просто язык зачесался от желания поскорей разгласить такую новость. — Вы, сударь, успеете принести им это утешение, пока я готовлю завтрак. Дом Ташронов в конце деревни. Видите дорожку здесь внизу, под террасой, — она приведет прямо туда.

Как только аббат Габриэль скрылся из виду, Урсула поспешила спуститься вниз, чтобы разнести новость по всей деревне, а заодно поискать провизию к завтраку.

В церкви кюре неожиданно узнал о решении, которое в отчаянии приняла семья Ташронов после того, как была отклонена кассационная жалоба. Добрые люди покидали родной край и сегодня утром должны были получить деньги за свое имущество, которое продали заранее. Продажа имущества потребовала непредвиденных задержек и формальностей. Вот почему Ташронам пришлось остаться в деревне после вынесения приговора Жану-Франсуа и испить до дна свою горькую чашу. Их тайное намерение обнаружилось лишь перед самым днем казни. Ташроны надеялись уехать до этого рокового дня, но человек, купивший их добро, был в кантоне чужим, и ему были безразличны их мотивы, к тому же он получил нужные деньги с запозданием. Таким образом, семья должна была нести свое горе до конца. Чувство, заставлявшее их покинуть родину, так властно захватило эти простые души, непривычные к сделкам с совестью, что уехать решили все: дед, бабка, дочери со своими мужьями, отец, мать — все, кто носил фамилию Ташронов или был с ними связан родством. Отъезд семьи огорчил всю общину. Мэр просил кюре, чтобы тот попытался удержать этих честных людей.

По новому закону отец не отвечал за сына, а преступление отца не накладывало пятна на его семью. Вместе с другими послаблениями, умалившими власть отцов, этот закон способствовал торжеству индивидуализма, подтачивающего современное общество. Вот почему подлинный мыслитель, обдумывающий вопросы нашего будущего, увидит разрушение духа семьи там, где составителям нового кодекса мнится свобода воли и равноправие. Семья всегда будет основой общества. Но теперь, неизбежно являясь чем-то временным, непрестанно разделяясь и соединяясь, чтобы распасться вновь, не будучи связью между прошлым и будущим, семья былых времен во Франции не существует. Разрушители старого здания поступили логично, разделив поровну имущество семьи, ослабив авторитет отца, сделав каждого сына главой новой семьи и уничтожив великую взаимную ответственность. Но будет ли перестроенное общественное здание с его новыми законами, не узнавшее еще длительных испытаний, столь же прочным, каким было здание старой монархии, несмотря на все ее злоупотребления? Утратив единство семьи, общество утратило свою основную силу, которую Монтескье открыл и назвал *честью*. Чтобы легче господствовать, общество всех разъединило; чтобы ослабить врага, оно всех разделило. Оно царит над цифрами, сваленными в кучу, как зерна. Могут ли общие интересы заменить семью? Только время даст ответ на этот великий вопрос.

И все же старый закон существует, он пустил настолько глубокие корни, что в народной среде вы найдете его живые отростки. Есть еще уголки в провинции, где живет то, что называют предрассудком, где верят в то, что семья страдает из-за преступления, совершенного одним из ее детей или ее отцом. Это убеждение вынудило Ташронов покинуть родные края. Они были слишком набожны, чтобы не прийти утром в церковь: разве можно было не присутствовать на мессе, обращенной к богу с мольбой внушить раскаяние их сыну, дабы вошел он в царствие небесное; разве могли они не проститься с алтарем родной деревни? Но свое намерение уехать они не оставили. Когда последовавший за ними кюре вошел в их главный дом, он увидел, что вещи уже уложены в дорогу. Покупатель поджидал продавцов, чтобы вручить им деньги. Нотариус заканчивал составление акта продажи. Во дворе, за домом, стояла запряженная лошадьми повозка, в которой должны были выехать старики с деньгами и мать Жана-Франсуа. Остальные собирались с наступлением ночи отправиться пешком.

К тому времени, когда молодой аббат вошел в низкую комнату, где собралась вся семья, монтеньякский священник исчерпал уже все запасы своего красноречия. Двое стариков, словно пришибленные горем, сидели, сгорбившись, в углу на мешках и смотрели на свой старый родовой дом, на свою мебель, на нового владельца и то и дело поглядывали друг на друга, будто спрашивая: могли ли мы ждать такой напасти? Эти старики, которые давно уже уступили распоряжение всеми делами своему сыну, отцу преступника, были подобны старой королевской чете после отречения, низведенной к пассивной роли подданных или детей. Ташрон-отец стоя слушал пастыря и отвечал ему тихо и односложно. Это был человек лет сорока восьми с прекрасным суровым лицом, напоминающим лица апостолов на полотнах Тициана: лицо, освещенное верой и глубокой, непоколебимой честностью, строгий профиль, прямой нос, голубые глаза, благородный лоб, правильные черты, вьющиеся жесткие черные волосы, лежавшие с той симметрией, что придает особое очарование этим лицам, потемневшим от солнца и ветра. Легко было заметить, что все доводы кюре разбиваются о его твердую волю. Дениза, опершись на хлебный ларь, смотрела на нотариуса, который воспользовался ларем вместо письменного стола и писал, устроившись в бабушкином кресле. Новый владелец сидел рядом, в другом кресле. Замужние сестры накрывали на стол к последнему угощению, которое старики хотели приготовить и подать людям в своем доме, в своей деревне, перед тем как уехать в чужие края. Мужчины присели на большой кровати с зеленым саржевым пологом. Мать хлопотала у очага, разбивая яйца для яичницы. Внуки сбились у порога, за которым стояла семья нового хозяина. В окошко заглядывал заботливо возделанный сад, где каждое дерево было посажено руками этих семидесятилетних стариков. Закопченная комната с почерневшими балками была овеяна той же сдержанной скорбью, что читалась на всех, столь несхожих между собой лицах. Угощение готовилось для нотариуса, для нового владельца, для детей и молодых мужчин. У отца с матерью, у Денизы и ее сестер было слишком тяжело на сердце, чтобы они могли думать о еде. В исполнении последнего долга сельского гостеприимства чувствовалась возвышенная и мучительная покорность судьбе. Ташроны, подобные людям античных времен, кончали свою жизнь в деревне так, как обычно начинают, — радушно встречая гостей. Эта лишенная всякой напыщенности, но глубоко торжественная картина поразила секретаря епархии, когда он вошел, чтобы сообщить монтеньякскому кюре о намерениях прелата.

— Сын этого мужественного человека еще жив, — сказал Габриэль священнику.

При этих словах, услышанных в тишине всеми, двое стариков встали, словно при звуке трубы страшного суда.

Мать уронила сковороду в огонь. Дениза радостно вскрикнула. Остальные окаменели от изумления.

— Жан-Франсуа помилован! — кричали в один голос все жители деревни, бросившиеся к дому Ташронов. — Господин епископ...

— Я знала, что он невиновен, — сказала мать.

— Сделка остается в силе? — спросил покупатель у нотариуса, который утвердительно кивнул в ответ.

В один миг все взгляды устремились на аббата Габриэля. Печаль, написанная на его лице, внушала мысль об ошибке. Молодой аббат побоялся сказать правду родным; в сопровождении кюре он вышел, шепнув по дороге нескольким крестьянам, что казнь только отложена. Радостные клики мгновенно сменились гробовым молчанием. Когда аббат Габриэль и кюре вернулись в дом, то по раздирающей скорби, омрачившей все лица, они увидели, что причина внезапно наступившей в деревне тишины была понята.

— Друзья мои, — сказал молодой аббат, увидев, что удар уже нанесен. — Жана-Франсуа не помиловали. Но состояние его души настолько волнует монсеньера, что он попросил продлить последние дни вашего сына, дабы он мог заслужить себе вечное спасение.

— Значит, он еще жив! — воскликнула Дениза.

Молодой аббат отвел г-на Бонне в сторону и объяснил ему, насколько опасно для церкви нечестивое поведение его прихожанина и каких действий ждет от кюре епископ.

— Монсеньер требует моей смерти, — возразил кюре. — Я уже отказал убитой горем семье, которая просила меня проводить несчастного юношу на казнь. Беседа с ним и предстоящее мне страшное зрелище сокрушили бы меня, как стекло. Каждому свое. Слабость моих органов или, скорее, крайняя возбудимость моей нервной организации запрещает мне исполнять эти обязанности нашего сана. Я остался простым сельским священником, чтобы приносить пользу ближним в той сфере, где могу подать им пример христианской жизни. Я боролся с собой, желая удовлетворить достойное семейство и выполнить долг пастыря перед бедным мальчиком. Но при одной мысли о том, что пришлось бы подняться с ним в тележку осужденного или наблюдать роковые приготовления, смертная дрожь разливается по всем моим жилам. Этого не потребуют от матери, а подумайте, сударь, ведь он родился в лоне моей бедной церкви.

— Итак, — сказал аббат Габриэль, — вы отказываетесь повиноваться монсеньеру.

— Монсеньеру неизвестно состояние моего здоровья, он не знает, что вся моя природа противится... — начал г-н Бонне, глядя на молодого аббата.

— Бывают случаи, когда, подобно Бельзенсу Марсельскому, мы должны идти на верную смерть, — прервал его аббат Габриэль.

В эту минуту кюре почувствовал, что кто-то дергает его за сутану, он услышал рыдания и, обернувшись, увидел всю семью на коленях. Старые и молодые, взрослые и дети, мужчины и женщины умоляюще простирали к нему руки. Когда он повернул к ним пылающее лицо, раздался единодушный крик:

— Спасите, по крайней мере, его душу!

Старенькая бабушка дергала кюре за сутану, обливая ее слезами.

— Я повинуюсь, сударь!

Произнеся эти слова, кюре был вынужден сесть, так дрожали у него ноги. Молодой секретарь рассказал, в каком исступлении находится Жан-Франсуа.

— Как вы думаете, — спросил он, — не смягчится ли он, увидев сестру?

— Да, несомненно, — отвечал кюре. — Дениза, вы поедете с нами.

— Я тоже, — сказала мать.

— Нет! — воскликнул отец. — Этот сын для нас больше не существует, вы знаете. Никто из нас его не увидит.

— Не противьтесь его спасению, — возразил молодой аббат. — Вы берете на себя ответственность за душу своего сына, отказывая нам в возможности смягчить ее. Сейчас смерть его может принести еще больший вред, чем самая жизнь.

— Пусть едет, — произнес отец, — пусть будет ей это карой за то, что она противилась всякий раз, когда я хотел наказать ее сына!

Аббат Габриэль и г-н Бонне направились в дом священника, куда к моменту их отъезда в Лимож должны были прийти Дениза и ее мать. Шагая по дорожке, огибавшей верхний Монтеньяк, молодой человек мог рассмотреть более внимательно, чем в церкви, деревенского кюре, которого так хвалил старший викарий. Аббата Габриэля сразу расположили к себе его простые, полные достоинства манеры, чарующий голос и такие же речи. Кюре только один раз был в резиденции епископа после того, как прелат взял в секретари Габриэля де Растиньяка, едва ли даже он встретился с этим фаворитом, которому все прочили епископский сан, но, разумеется, он знал о его влиянии. И при всем том г-н Бонне держался с достойной любезностью, за которой ощущалась совершенная независимость, предоставляемая церковью сельским священникам в их приходе.

Чувства молодого аббата никак не проявлялись на его лице, хранившем суровое выражение. Оно оставалось более чем холодным, оно замораживало. Человек, способный изменить нравы целой округи, должен обладать некоторой наблюдательностью, быть отчасти физиономистом, и хотя кюре владел лишь одной наукой — наукой добра, чувствительность его была необычайна; поэтому он был поражен холодностью, с какой секретарь епископа отвечал на его любезность и доброжелательность. Приписав этот пренебрежительный тон скрытому недовольству, кюре старался понять, чем мог он обидеть гостя, что в его поведении могло показаться предосудительным в глазах вышестоящих. Наступило неловкое молчание, которое аббат де Растиньяк прервал вопросом, полным аристократического высокомерия:

— Ваша церковь очень бедна, господин кюре?

— Она слишком мала, — ответил г-н Бонне. — По большим праздникам старики ставят скамьи в портале, а молодежь стоит кружком на площади; однако царит такая тишина, что даже вне церкви все слышат мой голос.

Габриэль помолчал немного.

— Но если жители так набожны, как можете вы оставлять церковь в подобном убожестве?

— Увы, сударь, я не решаюсь тратить на убранство церкви деньги, которыми можно помочь бедным. Бедняки — это и есть церковь. Однако же я не побоялся бы приезда епископа в праздник тела господня! Бедняки отдают в этот день церкви все, что имеют! Видели ли вы там, сударь, вбитые в стены гвозди? На них укрепляют проволочную решетку, и женщины вставляют в нее букеты. Вся церковь тогда покрыта цветами, и они остаются свежими до самого вечера. Моя бедная церковь, которая показалась вам столь убогой, нарядна как новобрачная; она благоухает; весь пол усыпан листвой, а посредине остается дорожка для пронесения святых даров, устланная одними розами. В этот день меня не смутила бы роскошь собора святого Петра в Риме. У святейшего папы — золото, у меня — цветы: каждому — свое чудо. Ах, сударь! Деревня Монтеньяк бедна, но она верна католицизму. Было время, тут грабили путников, теперь проезжий может обронить здесь мешок с золотом, и его принесут ко мне.

— Подобные результаты делают вам честь, — заметил Габриэль.

— Дело не во мне, — краснея, возразил кюре, задетый тонкой насмешкой, — а в слове божьем, в хлебе священном.

— Хлебе довольно темном, — улыбнулся аббат Габриэль.

— Белый хлеб годится лишь для желудков богачей, — скромно ответил кюре.

Тут молодой аббат взял г-на Бонне за обе руки и с чувством пожал их.

— Простите меня, господин кюре, — сказал он, прося о примирении открытым взглядом своих прекрасных голубых глаз, проникшим в самое сердце священника. — Монсеньер советовал мне испытать ваше терпение и вашу скромность, но я не могу продолжать, я и так вижу, как оклеветали вас либералы своими похвалами.

Завтрак был готов: свежие яйца, масло, мед, фрукты, сливки и кофе, расставленные Урсулой среди букетов роз на белоснежной скатерти, которой был накрыт древний стол в старой столовой. Окно, выходившее на террасу, было распахнуто. Белые звезды ломоноса с золотистой сердцевиной украшали подоконник. По одну сторону окна цвел жасмин, по другую — тянулись вверх настурции. Над окном свешивались уже отливавшие пурпуром виноградные лозы, образуя великолепный бордюр, которому мог позавидовать не один скульптор, — такое изящество придавал ему солнечный свет, пробивавшийся сквозь кружево листвы.

— Здесь вы увидите жизнь в простейшем ее выражении, — сказал кюре с улыбкой, которая не могла скрыть печали, тяготившей его сердце. — Если бы мы знали о вашем приезде! Но кто мог предвидеть его? Урсула раздобыла бы горную форель. В нашем лесном ручье она превосходна. Да что я говорю, я и позабыл, что в августе Габу пересыхает начисто! Просто в голове помутилось...

— Вам очень здесь нравится? — спросил молодой аббат.

— Да, сударь. Если позволит мне бог, я и умру монтеньякским кюре. Я хотел бы, чтобы моему примеру последовали достойные люди, которые сочли за лучшее посвятить себя благотворительности. Современная благотворительность — это общественное бедствие. Только принципы католической религии могут исцелить язвы, разъедающие тело общества. Не описывать болезнь нужно, не распространять совершенное ею зло своими элегическими сетованиями, а взяться за дело, войти простым работником в вертоград господень. Задача моя здесь еще далеко не выполнена, сударь. Мало привить нравственные чувства людям, которых я застал в состоянии ужасающего нечестия; я хотел бы умереть, увидев поколение, полностью обращенное на путь истинный.

— Вы лишь исполнили свой долг, — снова несколько сухо заметил молодой человек, почувствовав укол зависти в своем сердце.

— Да, сударь, — скромно ответил священник, бросив на него проницательный взгляд, казалось, вопрошавший: снова испытание? — Я молюсь неустанно, — добавил он, — чтобы каждый исполнил свой долг перед богом и королем.

Эта полная глубокого смысла фраза была произнесена с особым выражением, показавшим, что уже в 1829 году этот священник, отличавшийся силой мысли и смиренным поведением, всегда подчинявший свои мнения воле высших по сану, провидел судьбы монархии[[18]](#footnote-18) и церкви.

Когда пришли удрученные горем женщины, молодой аббат, которому не терпелось вернуться в Лимож, оставил их в доме священника, а сам пошел узнать, закладывают ли лошадей. Вскоре он возвратился, сообщив, что все готово к отъезду. Все четверо отбыли на глазах у жителей деревни, собравшихся возле почты. Мать и сестра осужденного хранили молчание. Оба священника, боясь показаться равнодушными или слишком веселыми, затруднялись в выборе темы. Подыскивая нейтральную почву для беседы, они пересекли равнину; в ее безотрадных просторах еще труднее было нарушить печальное безмолвие.

— По каким соображениям избрали вы духовную карьеру? — неожиданно спросил движимый пустым любопытством аббат Габриэль у кюре Бонне, когда карета выехала на большую дорогу.

— Я не считал священный сан карьерой, — просто ответил кюре. — Я не понимаю, как можно стать священником по каким-либо соображениям, а не повинуясь непреодолимой силе призвания. Я знаю, что многие становятся работниками вертограда господня, растратив свое сердце в служении страстям: одни любили без надежды, другие стали жертвой измены; эти утратили вкус к жизни, похоронив обожаемую жену или возлюбленную, те прониклись отвращением к общественной жизни нашего времени, когда непостоянство царит во всем, даже в чувствах, когда сомнение высмеивает самые дорогие убеждения, называя их предрассудками. Иные отказываются от политики в наши дни, когда власть становится похожей на искупление грехов, а подданный рассматривает свое подчинение как роковую необходимость. Многие покидают общество, бросив свои знамена, а в это время противники объединяются, дабы ниспровергнуть добро.

Я не представляю себе, чтобы можно было служить богу с корыстной мыслью. Некоторые люди видят в духовном поприще путь к возрождению отчизны. Но, по моему слабому разумению, священник-патриот — это бессмыслица. Священник должен принадлежать лишь богу. Я не хотел принести богу, который, впрочем, приемлет все, лишь обломки моего сердца и остатки воли, я отдал себя целиком. По трогательному обычаю языческой религии, жертва, уготованная ложным богам, должна была отправляться в храм увенчанная цветами. Этот обычай всегда умилял меня. Жертва — ничто без благодати. Итак, в жизни моей было не много событий и ни одного даже самого невинного увлечения. Впрочем, если вам угодна полная исповедь, я расскажу вам все. Семья моя более чем зажиточна, она почти богата. Отец, своими руками создавший себе состояние, — человек суровый и беспощадный; к жене и детям он относится, впрочем, так же, как к себе самому. Никогда я не видел на его устах улыбки. Его железная рука, его каменное лицо, его мрачная, порывистая энергия подавляли всех; жена, дети, приказчики, слуги — все жили под игом неукротимого деспотизма. Я мог бы — говорю только о себе — примениться к такой жизни, если бы эта гнетущая власть была ровной. Но отец, сумасбродный и вспыльчивый, впадал из одной крайности в другую. Мы никогда не знали, правы мы или виновны, а эта ужасная неуверенность невыносима в семейной жизни. В таких случаях лучше уйти куда глаза глядят, чем оставаться дома. Если бы я был один в семье, я бы сносил все безропотно, но отец безжалостно мучил мою горячо любимую мать, которую я не раз заставал в слезах, — это раздирало мне сердце и приводило меня в исступление, помрачавшее мой разум. Время учения в коллеже, обычно исполненное огорчений и трудов для всех ребятишек, было для меня счастливейшим временем жизни. Со страхом ждал я каникул. Мать была счастлива, только когда навещала меня. Закончив курс словесных наук, я вернулся под родительский кров, чтобы стать приказчиком у отца, но почувствовал, что больше нескольких месяцев я тут не проживу: мой еще не окрепший отроческий разум мог не выдержать. Однажды пасмурным осенним вечером, гуляя с матерью по бульвару Бурдон — в те времена одному из самых глухих парижских уголков, — я излил перед ней свою душу и признался, что единственный возможный для меня жизненный путь вижу в служении церкви. Все мои склонности, мысли, может быть, даже и любовь будут подавлены, пока жив отец. Сутана священника внушит ему уважение ко мне, и таким образом я смогу в случае надобности стать защитником семьи. Мать горько плакала. В это время мой старший брат, впоследствии ставший генералом и убитый под Лейпцигом, вступил в армию простым солдатом, уйдя из дому по тем же причинам, что определили и мое призвание. Стремясь спасти мать, я посоветовал ей избрать себе в зятья человека с твердым характером и, выдав за него сестру, едва та достигнет совершеннолетия, искать опоры в новой семье.

Под предлогом, что я хочу избежать рекрутского набора, не вводя отца в расходы, а также сославшись на свое призвание, в 1807 году, когда мне исполнилось девятнадцать лет, я поступил в семинарию Сен-Сюльпис. В древних стенах этого знаменитого здания я нашел мир и счастье, которое нарушалось только мыслью о страданиях сестры и матери; а их домашняя жизнь, без сомнения, стала еще мучительнее, ибо при наших встречах они укрепляли меня в принятом решении. Приобщившись, быть может, благодаря моим горестям, тайн милосердия, как определяет это святой Павел в несравненном своем послании, я пожелал врачевать язвы бедняков в каком-нибудь заброшенном уголке земли и доказать своим примером, если господь удостоит благословить мои труды, что католическая религия, воплощенная в человеческих деяниях, является единственно истинной, единственно доброй и прекрасной цивилизующей силой. В последние дни перед посвящением в дьяконы снизошла на меня благодать: я все простил своему отцу, увидев в нем орудие судьбы. Несмотря на длинное нежное письмо, в котором я все объяснил матери, указав на запечатленный повсюду перст божий, она пролила немало слез, когда волосы мои упали, срезанные ножницами церкви; она знала только, от каких радостей я отказываюсь, не ведая, к каким тайным усладам я стремился. О любящая женская душа!

Когда я целиком отдал себя богу, я ощутил безграничный покой. Я не испытывал ни нужды, ни тщеславия, не ведал забот об имуществе, которые преследуют столь многих людей. Я подумал, что отныне я принадлежу провидению и оно само будет неустанно печься обо мне. Я вступил в мир, откуда изгнан страх, где будущее ясно, где все является делом воли божьей, даже молчание. Этот покой есть один из даров благодати. Моя мать не верила, что можно соединить свою судьбу с церковью; однако, увидев меня спокойным и счастливым, она тоже почувствовала себя счастливой. После того как я был посвящен в сан, я поехал в Лимузен навестить одного родственника по отцовской линии, и он, между прочим, рассказал мне о плачевном состоянии Монтеньякского кантона. Словно свет вспыхнул перед моими очами, и внутренний голос сказал: вот вертоград твой! И я приехал сюда. Вот, сударь, вся моя история, как видите, совсем простая и неинтересная.

В эту минуту в лучах заходящего солнца на горизонте показался Лимож. Обе женщины разразились слезами.

Тем временем молодой человек, к которому стремились любящие сердца матери и сестры, который возбуждал столько непритворного любопытства, лицемерных симпатий и горячих споров, томился на тюремной койке в камере смертников. За дверью караулил шпион, которому надлежало ловить каждое его слово, хотя бы вырвавшееся во сне или в припадке исступления, ибо правосудие решило исчерпать все человеческие возможности, чтобы выведать, кто же был сообщником Жана-Франсуа Ташрона, и разыскать украденные деньги. Супруги де Ванно подкупили полицию, и полиция неусыпно следила за упорным молчальником. Когда человек, приставленный наблюдать за душевным состоянием узника, заглядывал в специально прорезанный глазок, он всегда видел его в одной и той же позе: смирительная рубашка туго стягивала его тело, а голова была закреплена неподвижно кожаным ремнем, который стали надевать с тех пор, как узник попытался зубами перегрызть свои узы.

Жан-Франсуа сидел, вперив в пол горящие отчаянием глаза, покрасневшие, словно от прилива бурных жизненных сил, взбудораженных какой-то ужасной мыслью. Он казался ожившей статуей античного Прометея; мысль об утраченном счастье терзала его сердце. Когда помощник главного прокурора пришел поговорить с заключенным, он не мог не выразить удивления перед такой непоколебимостью характера. Стоило кому-нибудь появиться в его камере, как Жан-Франсуа впадал в ярость, которая переходила все границы, известные врачам при такого рода возбуждении. Заслышав поворот ключа в замочкой скважине или лязг засовов, пристроенных к обитой железом двери, он начинал дрожать, а на губах его выступала пена.

Жану-Франсуа в ту пору сравнялось двадцать пять лет, он был невысокого роста, но хорошо сложен. Жесткие, вьющиеся, довольно низко наросшие на лоб волосы свидетельствовали о большой жизненной силе. Слишком близко поставленные блестящие желто-карие глаза придавали ему сходство с хищной птицей. Как все жители центральной Франции, он был круглолиц и смугл. Одна черта в его физиономии подтверждала наблюдение Лафатера, касавшееся людей, способных на убийство: передние зубы у него находили один на другой. Однако от всего облика его веяло честностью и кротким простодушием; не удивительно, что женщина могла так страстно полюбить его. Зубы Жана-Франсуа отличались поразительной белизной. Свежий темно-красный цвет красиво очерченных губ являлся признаком сдержанного кипения страстей, которое у иных людей находит выход в пылких наслаждениях. В его манере держаться не было и следа дурных привычек, свойственных рабочему. Все присутствовавшие на процессе дамы признали, что женская рука смягчила эту натуру, знакомую только с трудом, облагородила осанку этого жителя полей и придала изящество его облику. Женщины распознают воздействие любви на мужчину так же безошибочно, как мужчины, глядя на женщину, угадывают, коснулось ли ее, как говорится, дыхание любви.

Вечером Жан-Франсуа услыхал лязг засовов и скрежет ключа в замочной скважине; резко повернув голову, он издал глухое рычание, за которым всегда следовал приступ бешенства. Лихорадочная дрожь пробежала по его телу, когда в мягком сумеречном свете он рассмотрел любимые лица сестры и матери, а за ними голову монтеньякского кюре.

— Злодеи! Вот что они припасли, — прошептал он, закрыв глаза.

Дениза, которая, побывав в тюрьме, научилась ничему не верить, подозревала, что шпион исчез лишь затем, чтобы вернуться незаметно. Бросившись к брату и спрятав залитое слезами лицо на его груди, она шепнула:

— Нас, верно, будут подслушивать.

— Иначе вас бы сюда не пустили, — громко ответил он. — Я все время, как о великой милости, просил не приводить ко мне никого из родных.

— Что они с ним сделали! — сказала мать священнику. — Дитя мое, бедное мое дитя! — Она упала на колени перед койкой и зарылась лицом в сутану священника, молча стоявшего перед ней. — Я не могу видеть его в этом мешке, связанного, задушенного...

— Если Жан обещает мне быть благоразумным, не покушаться на свою жизнь и вести себя хорошо все время, что мы будем с ним, — произнес кюре, — я добьюсь, чтобы его развязали. Но малейшее нарушение этого обещания падет на меня.

— Мне так нужно свободно подвигаться, дорогой господин Бонне, — сказал осужденный, глядя на него полными слез глазами, — что я даю вам слово делать все по-вашему.

Кюре вышел и вернулся с тюремщиком.

— Сегодня вы не убьете меня? — спросил тюремщик.

Жан ничего не ответил.

— Бедный братец, — сказала Дениза, открывая корзинку, которую у входа в тюрьму тщательно осмотрели, — вот мы принесли все, что ты любишь, ведь тебя тут, наверное, голодом морят!

Она показала фрукты, собранные перед отъездом, и лепешку, которую мать тут же вынула из корзинки. Внимание, напомнившее бедному узнику дни детства, голос и ласковые движения сестры, присутствие матери и кюре произвели резкую перемену в состоянии Жана: он залился слезами.

— Ах, Дениза! — воскликнул он. — За все это время я не мог проглотить ни куска. Я ел только, чтобы не умереть с голоду.

Мать и дочь хлопотали, входили и выходили. В стремлении, свойственном всем хозяйкам, предоставить мужчине удобства и уют они старались получше сервировать ужин своему любимцу. Им помогли: в тюрьме был дан приказ содействовать им во всем, что не нарушало безопасности заключенного. Супруги де Ванно имели печальное мужество поддерживать благополучие преступника, от которого они все еще надеялись получить обратно свое наследство. Итак, Жан последний раз вкусил семейные радости, хотя и омраченные грозной тенью грядущего.

— Моя просьба о помиловании отклонена? — спросил он у г-на Бонне.

— Да, дитя мое. Тебе остается только встретить свой конец, как подобает христианину. Эта жизнь ничто по сравнению с жизнью, тебя ожидающей. Подумай о вечном блаженстве. С людьми ты можешь рассчитаться, отдав им свою жизнь, но богу этого мало.

— Отдав им жизнь?.. Ах! Вы не знаете, что я оставляю на земле!

Дениза посмотрела на брата, словно напоминая ему, что даже в делах религии необходима осторожность.

— Не будем об этом говорить, — продолжал Жан, набросившись на фрукты с жадностью, которая выдавала снедавший его внутренний жар. — Когда собираются меня?..



— Нет, ни слова при мне об этом! — взмолилась мать.

— Но я буду спокойнее ждать, — шепнул Жан священнику.

— Верен своему характеру! — воскликнул г-н Бонне и, наклонившись, сказал ему на ухо: — Если сегодня ночью вы примиритесь с богом и ваше раскаяние позволит отпустить вам грехи, это произойдет завтра. Мы уже многого достигли, успокоив вас, — добавил он громко.

При последних словах губы Жана побледнели, он стал дико вращать глазами, и по лицу его пробежал трепет, предвещающий бурю.

— Да разве я спокоен? — спросил он. К счастью, он встретился с полными слез глазами Денизы и вновь овладел собой. — Хорошо, только вас я способен слушать, — обратился он к кюре. — Они отлично знали, чем меня взять.

И он уронил голову на грудь матери.

— Слушайся его, сын мой, — рыдая, сказала мать, — он рискует жизнью, наш дорогой господин Бонне, согласившись напутствовать тебя... — она заколебалась и сказала: — в вечную жизнь.

Она поцеловала Жана в голову и прижала его к своему сердцу.

— Он будет сопровождать меня? — спросил Жан, глядя на кюре, который наклонил в ответ голову. — Что ж, хорошо! Я выслушаю его, я сделаю все, чего он желает.

— Обещай мне это, — сказала Дениза. — Спасти твою душу — вот к чему все мы стремимся. Неужели ты хочешь, чтобы и в Лиможе и в наших краях говорили, будто один из Ташронов не сумел умереть достойно христианина? Подумай, все, что ты теряешь здесь, ты сможешь обрести на небесах, где вновь встречаются души, заслужившие прощение.

После такого сверхчеловеческого усилия голос мужественной девушки пресекся. Она умолкла вместе с матерью, но она победила. Узник, до той поры обуреваемый ненавистью к правосудию, вырвавшему счастье из его рук, почувствовал трепет при мысли о высокой католической истине, которую так бесхитростно выразила его сестра. Все женщины, даже молодые крестьянские девушки, подобные Денизе, умеют находить нужные слова: все они хотят, чтобы любовь жила вечно. Дениза коснулась двух самых чувствительных струн в душе брата. Пробужденная гордость воззвала к другим добродетелям, которые оцепенели под бременем несчастья, умолкли, сраженные отчаянием. Жан взял руку сестры, поцеловал ее и с силой, хотя и нежно, прижал к своему сердцу движением, полным глубокого значения.

— Итак, — сказал он, — надо отказаться от всего. Вот моя последняя мысль, последнее биение сердца, прими их, Дениза!

И он бросил на нее взгляд, каким люди в великие минуты жизни пытаются соприкоснуться своей душой с душою друга.

Эти слова, эта мысль были его завещанием. Мать, сестра, Жан и священник поняли, в чем заключалось это неназванное наследство, которое надо было с той же верностью передать, с каким доверием было оно вручено; все четверо отвернулись друг от друга, чтобы скрыть слезы и сохранить в тайне свои мысли. Эти несколько слов были агонией страсти, прощанием отцовской души с прекраснейшими из земных благ в предчувствии религиозного отречения. И кюре, побежденный мощью великих человеческих деяний, пусть даже преступных, постиг силу этой безвестной страсти по безмерности вины; он поднял глаза к небу, как бы призывая милость божью. Там, в небесах, открывались ему нежные утешения и беспредельная любовь католической церкви, такой человечной и кроткой, когда простирала она руку, чтобы объяснить человеку законы высших миров, такой грозной и божественной, когда протягивала она руку, чтобы увести его на небо.

Дениза тайно от всех указала священнику то место, где расступится скала, ту расселину, из которой хлынут воды раскаяния.

Внезапно, сраженный воспоминаниями, Жан издал леденящий душу вопль гиены, захваченной охотниками.

— Нет, нет, — закричал он, падая на колени, — я хочу жить! Матушка, останьтесь здесь вместо меня, дайте мне свою одежду, я убегу отсюда. Пощадите! Пощадите меня! Идите к королю, скажите ему...

Он умолк и, глухо зарычав, вцепился руками в сутану священника.

— Уходите, — тихо сказал г-н Бонне удрученным женщинам.

Жан услыхал эти слова, поднял голову, взглянул на мать, на сестру и поцеловал им обеим ноги.

— Простимся, не приходите больше. Оставьте меня с господином Бонне, не тревожьтесь теперь обо мне, — сказал он, обнимая мать и сестру так, словно хотел вложить в объятие всю свою душу.

— Можно ли после этого жить? — сказала Дениза матери, когда они подошли к воротам тюрьмы.

Было около восьми часов вечера. У выхода они увидели аббата де Растиньяка, который спросил их о состоянии узника.

— Он, без сомнения, примирится с богом, — ответила Дениза. — Если раскаяние еще не наступило, то оно близко.

Епископу было тут же доложено, что церковь восторжествует и осужденный пойдет на казнь, исполненный самых поучительных религиозных чувств. Епископ, у которого находился в это время королевский прокурор, высказал желание увидеть кюре. Г-н Бонне появился в епископском дворце только после полуночи. Аббат Габриэль, несколько раз совершивший путь от дворца к тюрьме, счел необходимым усадить кюре в карету епископа: несчастный священник был в таком изнеможении, что едва держался на ногах. Мысль о предстоящем ему завтра тяжком дне, внутренняя борьба, происходившая у него на глазах, зрелище полного бурного раскаяния, разразившегося, когда его мятежному духовному сыну открылся, наконец, высший счет вечности, — все эти потрясения лишили сил г-на Бонне, чья легко возбудимая, нервная натура мгновенно настраивалась в лад несчастьям ближнего. Подобные прекрасные души так горячо воспринимают переживания, беды, страсти и муки того, в ком принимают они участие, что сами начинают их испытывать с необычайной остротой и таким образом постигают всю силу и глубину чужих чувств, ускользающую порой от людей, ослепленных влечением сердца или приступом горя. В этом смысле священник, подобный г-ну Бонне, является художником, который чувствует, а не судит.

Когда кюре очутился в салоне епископа, в обществе обоих старших викариев, аббата де Растиньяка, г-на де Гранвиля и главного прокурора, он понял, что от него ждут каких-то сообщений.

— Господин кюре, — спросил епископ, — добились ли вы каких-либо признаний, которые могли бы доверить правосудию и помочь ему, не нарушая тем своего долга?

— Монсеньер, для того, чтобы дать отпущение грехов несчастному заблудшему агнцу, я не только ждал полного и искреннего раскаяния, угодного церкви, но также потребовал возвращения денег.

— Забота о возвращении денег и привела меня к монсеньеру, — вступил в разговор главный прокурор. — Возможно, при этом выяснятся темные места в ведении дела. Тут, несомненно, есть сообщники.

— Мною не руководили интересы правосудия земного, — возразил кюре. — Я не знаю, где и когда будут возвращены деньги, но это будет сделано. Призвав меня к одному из моих прихожан, монсеньер поставил меня в независимое положение, которое дает всякому кюре в пределах его прихода такие же права, какими пользуется монсеньер в своей епархии, за исключением случаев, требующих церковной дисциплины и послушания.

— Прекрасно, — сказал епископ. — Но речь идет о добровольных признаниях, которые мог бы сделать преступник перед лицом правосудия.

— Мое назначение — возвратить заблудшую душу богу, — ответил г-н Бонне.

Господин де Гранкур слегка пожал плечами, но аббат Дютейль склонил голову в знак одобрения.

— Ташрон, очевидно, хочет спасти особу, которую могли бы опознать при возвращении денег, — сказал главный прокурор.

— Сударь, — возразил кюре, — я не знаю решительно ничего, что могло бы опровергнуть или подтвердить ваши подозрения. К тому же тайна исповеди нерушима.

— Итак, деньги будут возвращены? — спросил представитель правосудия.

— Да, сударь, — ответил представитель бога.

— Этого для меня достаточно, — заявил главный прокурор, считавший полицию достаточно искусной, чтобы получить нужные сведения, как будто страсти и личный интерес не бывают искуснее любой полиции.

На третье утро, в базарный день, Жана-Франсуа отправили на казнь, как хотели того набожные и политически благонадежные души Лиможа. Исполненный смирения и благочестия, он с жаром целовал распятие, которое дрожащей рукой протягивал ему г-н Бонне. Все глаза были устремлены на несчастного юношу, подстерегая каждый его взгляд; все ждали, не посмотрит ли он на кого-нибудь в толпе или на какой-нибудь дом. Но сдержанность не изменила ему до конца. Он умер смертью христианина, принеся полное раскаяние и получив отпущение грехов.

Бедного монтеньякского кюре унесли от подножия эшафота без сознания, хотя он и не видел зловещей машины.

На следующую ночь, остановившись среди дороги, в пустынном месте на расстоянии трех лье от Лиможа, обессилевшая от горя и усталости Дениза начала умолять отца, чтобы он разрешил ей вернуться в Лимож вместе с Луи-Мари Ташроном, одним из ее братьев.

— Что еще тебе нужно в этом городе? — нахмурив лоб и сдвинув брови, резко спросил отец.

— Батюшка, — шепнула она ему на ухо, — нам нужно не только заплатить адвокату, который защищал его, но и вернуть спрятанные им деньги.

— Да, это верно, — ответил честный человек и протянул руку к кожаному кошелю.

— Нет, нет! — воскликнула Дениза. — Он больше не сын вам. Не тот, кто проклял его, а те, кто его благословил, поблагодарят адвоката.

— Мы будем ждать вас в Гавре, — сказал отец.

На заре Дениза и ее брат, никем не замеченные, вернулись в город. Когда позднее полиция узнала об их приезде, ей так и не удалось выяснить, где они скрывались. Около четырех часов утра, крадучись вдоль стен, Дениза с братом пробрались в верхний Лимож. Бедная девушка смотрела в землю, боясь встретиться с глазами, которые могли видеть, как упала голова ее брата. Разыскав г-на Бонне, который, невзирая на свою крайнюю усталость, согласился стать отцом и опекуном Денизы в этом деле, они отправились к адвокату, жившему на улице Комедии.

— Здравствуйте, бедные мои дети, — сказал адвокат после того, как приветствовал г-на Бонне, — чем могу вам служить? Вы, может быть, хотите просить, чтобы я затребовал тело вашего брата?

— Нет, сударь, — ответила Дениза, залившись слезами при этой мысли, которая раньше не приходила ей в голову. — Я вернулась, чтобы расплатиться с вами, если только можно оплатить деньгами долг вечной признательности.

— Присядьте же, — сказал адвокат, спохватившись, что Дениза и кюре стоят.

Отвернувшись, Дениза вытащила из-за корсажа два билета по пятьсот франков, приколотые булавкой к ее рубашке, и, протянув их адвокату, села на стул. Кюре бросил на адвоката сверкающий взгляд, который, впрочем, тут же смягчился.

— Оставьте, оставьте эти деньги себе, бедная девочка! Даже богачи не платят так щедро за проигранное дело.

— Сударь, — ответила Дениза. — я не могу послушаться вас.

— Значит, деньги не ваши? — быстро спросил адвокат.

— Простите, — ответила она, взглянув на г-на Бонне, словно желая узнать, не рассердился ли господь на эту ложь.

Кюре не поднял глаз.

— Ладно! — сказал адвокат, оставляя себе один билет в пятьсот франков, а другой протягивая кюре. — Я поделюсь с неимущими. А вы, Дениза, дайте мне взамен этих денег — ведь теперь-то они мои — ваш золотой крестик на бархатной ленточке. Я повешу его у себя над камином в память о самом чистом и добром девичьем сердечке, какое мне случалось встретить за всю мою адвокатскую жизнь.

— О, я отдам его так, без денег! — воскликнула Дениза, снимая и протягивая ему крестик.

— Ну, что ж, сударь, — сказал кюре, — я возьму эти пятьсот франков затем, чтобы перенести тело бедного мальчика на монтеньякское кладбище. Бог, конечно, простил его, и Жан сможет восстать вместе со всей моей паствой в день страшного суда, когда праведники и раскаявшиеся грешники будут призваны одесную отца.

— Согласен, — сказал адвокат.

Он взял Денизу за руку и привлек к себе, чтобы поцеловать ее в лоб; но на самом деле у него была другая цель.

— Дитя мое, — прошептал он, — ни у кого в Монтеньяке нет билетов по пятьсот франков. Немного их и в Лиможе. Без банкового учета никто их не получает. Значит, деньги эти вам кто-нибудь дал. Вы не скажете, кто их дал, и я вас об этом не спрашиваю. Но выслушайте меня: если у вас остались еще в городе дела, касающиеся бедного вашего брата, будьте осторожны! За господином Бонне, за вами и вашим братом неотступно будут следовать сыщики. Всем известно, что семья ваша уехала. Как только узнают, что вы здесь, за вами начнут наблюдать, незаметно для вас самих.

— Увы! — сказала она. — Больше мне здесь делать нечего.

«Она осторожна, — подумал адвокат, провожая Денизу. — Ее научили, но она и сама неглупа».

В последних числах сентября, в теплый, словно летний день епископ давал обед городским властям. Среди приглашенных были королевский прокурор и прокурор суда. Горячие споры оживляли общество, и вечер затянулся несколько дольше обычного. Играли в вист и в триктрак — любимую игру всех епископов. Около одиннадцати часов королевский прокурор вышел погулять на верхнюю террасу. Остановившись на углу, он заметил свет на острове, который однажды вечером привлек внимание аббата Габриэля и епископа, одним словом, на острове Вероники. Этот огонек напомнил ему о до сих пор не выясненной тайне преступления, совершенного Ташроном. Прокурор недоумевал, кому понадобилось зажигать в такой час огонь на реке. Внезапно та же догадка, что поразила епископа и его секретаря, вспыхнула в его сознании так же ярко, как пылавший вдали костер.

— Все мы были изрядными глупцами! — воскликнул он. — Теперь сообщники в наших руках.

Он вернулся в салон, разыскал г-на де Гранвиля, сказал ему на ухо несколько слов, и оба исчезли. Но аббат де Растиньяк, из вежливости последовавший за ними, увидел, как они направились на террасу, и тоже заметил костер на берегу острова.

«Она погибла», — подумал он.

Посланцы правосудия прибыли слишком поздно. Дениза и Луи-Мари, которого Жан в свое время научил нырять, все еще находились на берегу Вьены в указанном Жаном месте. Луи-Мари Ташрон успел уже нырнуть четыре раза, всякий раз выуживая из воды по двадцать тысяч франков золотом. Первая сумма находилась в фуляре, связанном всеми четырьмя концами. Фуляр был тут же выжат и брошен в заранее разожженный большой костер. Дениза не отходила от огня, пока фуляр не сгорел дотла. Вторая сумма была завернута в шаль, а третья — в батистовый носовой платок. В тот момент, когда Дениза бросала в костер четвертую обертку, подоспевшие вместе с полицейским комиссаром жандармы схватили эту важную улику, которую девушка уступила им, не проявив ни малейшего волнения. То был носовой платок, и на нем, несмотря на долгое пребывание в воде, еще сохранились следы крови. Допрошенная тут же Дениза сказала, что, следуя наказу своего брата, она вытаскивала из воды похищенное золото. Комиссар спросил, почему она сжигала обертки. Она ответила, что выполняла поставленное братом условие. Когда ее спросили, во что были завернуты деньги, она смело ответила, ничуть не кривя душой: в фуляр, в батистовый платок и в шаль.

Носовой платок, который удалось захватить, принадлежал ее брату.

Эта ночная рыбная ловля и сопровождавшие ее обстоятельства наделали много шуму в городе Лиможе. Особенно шаль подтверждала уверенность в том, что Ташрон совершил преступление ради любви.

— Даже после своей смерти он оберегает ее, — сказала одна дама, узнав о последних разоблачениях, так ловко сведенных на нет.

— Быть может, и есть в Лиможе муж, который не досчитается одного фуляра, но ему придется молчать, — с улыбкой заметил главный прокурор.

— Мелочи туалета так легко могут скомпрометировать, что отныне я каждый день стану проверять свой гардероб, — улыбнулась старая г-жа Перре.

— Кому же принадлежат маленькие ножки, следы которых были так тщательно затерты? — спросил г-н де Гранвиль.

— Ах, может быть, совсем безобразной женщине! — отозвался главный прокурор.

— Она дорого заплатила за свой проступок, — заметил аббат де Гранкур.

— Знаете ли, о чем говорит это дело? — воскликнул г-н де Гранвиль. — Оно показывает, как много потеряли женщины после революции, смешавшей все социальные сословия. Подобную страсть можно встретить теперь только у человека, который знает, что между ним и его возлюбленной лежит пропасть.

— Вы приписываете любви слишком много тщеславия, — возразил аббат Дютейль.

— А что думает госпожа Граслен?

— О чем же может она думать? Она родила, как предсказывала, во время казни и с тех пор ни с кем не виделась, она тяжело больна, — ответил г-н де Гранвиль.

В это время в другом лиможском салоне происходила сцена почти комическая. Друзья супругов де Ванно пришли поздравить их с получением наследства.

— Что и говорить, надо было помиловать этого беднягу, — сказала г-жа де Ванно. — Любовь, а не корысть довела его до убийства; сам он был человек не порочный и не злой.

— Он был так деликатен! — добавил г-н де Ванно. — *Знал бы я, где его семья, я бы отблагодарил их.* Славные люди эти Ташроны.

Тяжелая болезнь после родов принудила г-жу Граслен долгое время провести в полном уединении, не поднимаясь с постели. Когда в конце 1829 года она поправилась, муж рассказал ей, что намерен заключить весьма значительную сделку. Герцог Наваррский собирался продавать монтеньякский лес и окружавшие его невозделанные земли. Граслен до сих пор еще не выполнил пункт брачного контракта, обязывающий его вложить приданое жены в земельную собственность; он предпочитал держать эту сумму в банке и уже удвоил ее. При этом разговоре Вероника, будто припомнив название Монтеньяк, попросила мужа выполнить обязательство и приобрести для нее эту землю. Г-н Граслен пожелал встретиться с кюре Бонне и навести у него справки о лесе и землях, которые хотел продать герцог Наваррский, ибо он предвидел, что борьба, разжигаемая принцем Полиньяком между либералами и Бурбонами[[19]](#footnote-19), будет жестокой. Герцог не ожидал счастливого исхода, вот почему он был самым яростным противником государственного переворота.

Герцог отправил в Лимож поверенного, поручив ему продать свои земли за крупную сумму наличными деньгами. Он слишком хорошо помнил революцию 1789 года, чтобы не воспользоваться уроком, который дала она всей аристократии. Поверенный уже около месяца вел переговоры с Грасленом, самым тонким дельцом в Лимузене и единственным, на кого местные патриции указали как на человека, способного приобрести, немедленно уплатив наличными, крупное земельное владение.

Вероника хотела просить кюре отобедать у нее. Но банкир не дал г-ну Бонне подняться к жене, пока, продержав его битый час у себя в кабинете, не выспросил все нужные сведения. Они оказались настолько удовлетворительными, что он немедленно заключил купчую на приобретение леса и всех монтеньякских угодий за пятьсот тысяч франков. Граслен выполнил желание жены, оговорив, что данная покупка и все прочие покупки, с ней связанные, совершены во исполнение статьи брачного контракта, касающейся помещения суммы приданого. Он сделал это тем охотнее, что подобное проявление честности ровно ничего ему не стоило.

Ко времени переговоров все владения включали в себя непригодный к эксплуатации монтеньякский лес площадью примерно в тридцать тысяч арпанов, развалины замка, сады и около пяти тысяч арпанов земли в невозделанной равнине, лежащей перед Монтеньяком. Граслен тут же совершил еще несколько сделок, чтобы стать хозяином первой вершины Коррезской горной цепи, у которой кончался огромный монтеньякский лес. После введения налогов герцог Наваррский не получал и пятнадцати тысяч франков в год от этой латифундии, некогда одной из самых богатых в королевстве. Владения эти избежали предписанной Конвентом продажи благодаря бесплодности земель и невозможности эксплуатировать лес.

Когда кюре увидел женщину, известную своим благочестием и умом, женщину, о которой он столько слышал, он не мог скрыть свое изумление. Вероника вступила теперь в третью фазу своей жизни, в ту фазу, когда ей суждено было достичь величия в проявлении самых высоких добродетелей и стать как бы другой женщиной. На смену Рафаэлевой мадонне, скрывшейся в одиннадцать лет под рваным покровом черной оспы, пришла прекрасная, благородная, одухотворенная страстью женщина; теперь эта женщина, сраженная тайным горем, превратилась в святую. Лицо ее приобрело желтоватый оттенок, свойственный строгим ликам знаменитых аббатис, сурово умерщвлявших свою плоть. Нежные виски отливали золотом. Губы побледнели; они напоминали теперь не алый сок надрезанного граната, а поблекшие лепестки бенгальской розы. В уголках глаз, у переносицы, скорбь провела две перламутровые полоски там, где пробегали тайные слезы. Слезы стерли следы оспы и разгладили кожу. Эта гладкая кожа, испещренная голубой сеткой кровеносных сосудов, невольно привлекала к себе внимание; казалось, бьющаяся в сосудах кровь приливала сюда, чтобы превратиться в слезы. Только вокруг глаз сохранились коричневые тона, переходящие в черноту под глазами и подобные полоске бистра на сморщенных веках. Щеки запали — горькие мысли провели на них резкие складки. Подбородок, в юности округлый и слишком крупный, теперь стал меньше, но к невыгоде для общего выражения; он выдавал ту беспощадную суровость в исполнении религиозного долга, на которую обрекла себя Вероника. В двадцать девять лет ей пришлось вырвать множество седых волос, теперь волосы Вероники казались совсем жидкими и тонкими: роды лишили ее одного из главных очарований. Худоба ее была ужасающа. Несмотря на запрещение врача, она пожелала сама кормить своего сына. Врач торжествовал, видя, что сбываются все предсказанные им на этот случай перемены.

— Вот что могут сделать с женщиной одни роды, — рассказывал он в городе. — Зато она обожает своего сына. Я всегда замечал, что женщины тем больше любят детей, чем дороже они им достаются.

Молодыми на поблекшем лице Вероники оставались только глаза: темно-голубые, как ирисы, они горели исступленным огнем. Казалось, в них сосредоточилась жизнь, покинувшая эту холодную, неподвижную маску, которая оживлялась небесным выражением, лишь когда речь заходила о любви к ближнему. Поэтому испуг и удивление, поразившие кюре, исчезали по мере того, как он рассказывал г-же Граслен, сколько добра может сделать владелец Монтеньяка, поселившись в своем имении. Вероника на миг снова стала прекрасной, озаренная светом неожиданно открывшегося ей будущего.

— Я поеду туда, — сказала она. — Я буду творить добро. Я добьюсь нужных средств у господина Граслена и стану горячо помогать вам в вашей угодной богу деятельности. Монтеньяк расцветет, мы найдем воду, чтобы оросить вашу бесплодную равнину. Подобно Моисею, вы ударите жезлом по скале, и из нее брызнут слезы!

Когда лиможские друзья спросили у монтеньякского кюре о г-же Граслен, он сказал, что она святая.

На следующее же утро после покупки г-н Граслен отправил в Монтеньяк архитектора. Банкир хотел восстановить замок, сады, террасу, парк и возродить лес новыми посадками; он горячо принялся за дело.

Через два года г-жу Граслен постигло большое горе. В августе 1830 года[[20]](#footnote-20), несмотря на всю свою осторожность, Граслен не избежал бедствий, поразивших коммерцию и банки. Он не перенес мысли о банкротстве и потере трехмиллионного состояния, которое стоило ему сорока лет работы. Нравственные страдания усугубили постоянный воспалительный процесс в крови: он слег в постель. После рождения ребенка дружба Вероники с Грасленом укрепилась еще больше и рассеяла все надежды ее поклонника г-на де Гранвиля. Вероника пыталась спасти мужа своими нежными заботами, но ей удалось лишь продлить на несколько месяцев его муки. Все же это продление оказалось весьма полезным, ибо Гростет, предвидевший кончину своего бывшего приказчика, успел получить от него все сведения, необходимые для предстоящей ликвидации имущества.

Граслен умер в апреле 1831 года. Горе вдовы уступило лишь ее христианской покорности. Первой мыслью Вероники было отдать свое собственное состояние для расплаты с кредиторами. Но на это с избытком хватило состояния г-на Граслена. Через два месяца ликвидация дел, которую взял на себя Гростет, была закончена. У г-жи Граслен остались земли Монтеньяка и шестьсот шестьдесят тысяч франков — все принадлежавшее ей ранее состояние. Имя ее сына было не запятнано: Граслен не разорил никого, даже свою жену. Франсис Граслен даже получил в наследство около сотни тысяч франков.

Господин де Гранвиль, которому известны были благородство и высокие достоинства Вероники, сделал ей предложение. Но, к удивлению всего Лиможа, г-жа Граслен отказала вновь назначенному главному прокурору под тем предлогом, что церковь осуждает вторичное замужество. Гростет, человек, наделенный редким здравым смыслом и верным глазом, посоветовал Веронике поместить свое состояние и остатки состояния г-на Граслена в государственные долговые обязательства и сам незамедлительно осуществил эту операцию в июле месяце, когда помещение капитала представляло особые выгоды, а именно — три процента на пятьдесят франков. Франсис получил, следовательно, шесть тысяч ливров ренты, а его мать — около сорока тысяч. Вероника по-прежнему являлась обладательницей одного из самых крупных состояний в департаменте. Когда все было улажено, г-жа Граслен объявила о своем намерении покинуть Лимож и поселиться в Монтеньяке, подле г-на Бонне. Она снова вызвала к себе кюре, чтобы расспросить его о начатых в Монтеньяке работах, в которых хотела принять участие. Но г-н Бонне великодушно стал отговаривать Веронику от принятого решения, доказывая, что ее место в обществе.

— Я родилась в народе и хочу вернуться к народу, — ответила она.

Тогда кюре, исполненный любви к своей деревне, не стал противиться призванию г-жи Граслен, тем более, что она сама поставила себя в необходимость покинуть Лимож, уступив особняк Граслена Гростету, который в уплату долга взял дом по его полной стоимости.

В день отъезда, в конце августа 1831 года, многочисленные друзья г-жи Граслен пожелали проводить ее до выезда за пределы города. Некоторые доехали до первой почтовой станции. Вероника отправилась в одной коляске с матерью. На переднем сиденье поместились Гростет и аббат Дютейль, несколько дней назад получивший епархию. Когда они поравнялись с площадью Эн, страшное волнение охватило Веронику; лицо ее исказилось, и она с силой прижала к себе ребенка, но матушка Совиа тут же взяла его на руки, заслонив собой Веронику, — казалось, она ждала волнения дочери. Случайно коляска г-жи Граслен проехала мимо того места, где когда-то стоял дом ее отца. Вероника сжала руку матери, крупные слезы выступили у нее на глазах и побежали вдоль щек. Выехав из Лиможа, г-жа Граслен бросила на него последний взгляд, и друзья заметили, что лицо ее прояснилось. Когда главный прокурор, двадцатипятилетний молодой человек, которого она отказалась взять в мужья, с живейшим сожалением поцеловал ей руку, вновь посвященный епископ заметил странную перемену в лице Вероники: зрачки ее резко расширились, вокруг них осталось лишь узкое голубое колечко. Потемневшие глаза говорили о жестокой внутренней борьбе.

— Больше я его не увижу! — шепнула она матери, которая выслушала ее с бесстрастным лицом.

На старуху Совиа смотрел в это время стоявший перед ней Гростет, но бывший банкир и без ее хитростей не догадался бы о ненависти Вероники к прокурору, который, однако, был принят в ее доме. В подобных случаях духовные лица бывают проницательнее других людей; вот почему епископ и удивил Веронику, бросив на нее испытующий взор, присущий только пастырям.

— Вам ничего не жаль оставлять в Лиможе?

— Ведь вы покидаете его, — ответила она. — Да и господин Гростет будет наезжать туда редко, — добавила она, улыбаясь прощавшемуся с ней Гростету.

Епископ проводил Веронику до самого Монтеньяка.

— По этой дороге я должна бы идти в трауре, — тихо сказала Вероника матери, поднимаясь пешком по склону Сен-Леонара.

Старуха, не меняя выражения жесткого, сморщенного лица, поднесла палец к губам, показав на епископа, который с ужасающим вниманием разглядывал ребенка. Этот жест, а особенно проницательный взгляд прелата привел г-жу Граслен в содрогание. При виде обширной серой равнины, раскинувшейся перед Монтеньяком, глаза Вероники погасли, ей стало грустно. Она заметила спешившего навстречу кюре. Г-н Бонне предложил ей сесть в коляску.

— Вот ваши владения, сударыня, — сказал он, указывая на выжженную равнину.

## Глава IV

## ГОСПОЖА ГРАСЛЕН В МОНТЕНЬЯКЕ

Через несколько минут у подножия холма показалось, радуя глаз своими новыми постройками, селение Монтеньяк, позлащенное лучами заходящего солнца, овеянное поэзией, которую по контрасту с равниной порождал этот прелестный уголок, затерявшийся здесь, словно оазис в пустыне.

Глаза г-жи Граслен наполнились слезами. Кюре показал ей на идущую вверх широкую белую полосу, выделявшуюся на горе, словно рубец.

— Вот что сделали мои прихожане в знак признательности к своей повелительнице, — сказал он, указывая на недавно проложенную дорогу. — Теперь можно доехать в экипаже до самого замка. Эта дорога не потребовала от вас ни гроша, а за два месяца мы обсадим ее деревьями. Монсеньер может оценить, скольких самоотверженных трудов и забот стоило подобное предприятие.

— Они сами сделали это? — спросил епископ.

— Да, и отказались от оплаты, монсеньер. Все бедняки приложили тут свои руки, зная, что к нам едет их защитница и мать.

У подножия горы собрались все жители деревни. Раздались ружейные залпы, потом две самые красивые девушки, одетые в белые платья, поднесли г-же Граслен цветы и фрукты.

— Найти такой прием в этой деревне! — воскликнула она и сжала руку г-на Бонне, словно боялась упасть в пропасть.

Толпа проводила экипаж до въездных ворот. Отсюда г-жа Граслен могла рассмотреть свой замок, который издали рисовался лишь в общих очертаниях. Увидев его вблизи, она была почти испугана великолепием своего жилища. Камень в этом краю — редкость; гранит, который можно найти в горах, с трудом поддается обтесыванию; поэтому архитектор, которому г-н Граслен поручил отстроить замок, желая удешевить постройку, избрал в качестве главного материала кирпич, благо в лесах Монтеньяка в изобилии имелись глина и дрова, необходимые для его изготовления. Балки, стропила и камень для кладки также поставлялись из лесу. Без такой строгой экономии Граслен разорился бы. Главные издержки падали на перевозку и обработку материалов и на оплату работников. Таким образом, все деньги остались в деревне и вдохнули в нее жизнь. Издали замок представлялся красной громадой, расчерченной в клетку черными линиями пазов и обрамленной серыми полосами; последнее впечатление объяснялось тем, что оконные и дверные наличники, карнизы, углы и кордоны на каждом этаже были облицованы граненым гранитом. Двор в виде наклонного овала, как в Версальском дворце, был окружен кирпичной оградой, на которой выделялись прямоугольники, окаймленные гранитными рустами. Внизу вдоль ограды шла плотная полоса замечательно подобранного кустарника, поражающего разнообразием зеленых оттенков. Двое великолепных решетчатых ворот, расположенных по обе стороны двора, вели одни на террасу, обращенную в сторону Монтеньяка, другие — к службам и к ферме. По бокам решетчатых въездных ворот, у которых кончалась недавно проложенная дорога, возвышались два прелестных павильона в стиле шестнадцатого века. Фасад, выходивший во двор и образованный тремя павильонами — причем центральный отделялся от двух боковых жилыми помещениями, — был обращен на восток. Точно такой же фасад, смотревший в сады, был обращен на запад. В каждом павильоне на фасаде было по одному окну, а в жилых помещениях — по три. Центральный павильон, выстроенный в виде колоколенки с углами, отделанными резной работой, был примечателен изяществом скульптурных украшений, правда, немногочисленных. В провинции искусство отличается скромностью, и хотя, по заверениям писателей, после 1829 года орнаментация далеко шагнула вперед, в те времена домовладельцы боялись лишних расходов, которые из-за отсутствия конкуренции и нехватки искусных рабочих были довольно значительны. Угловые павильоны, имевшие по три окна на боковых фасадах, венчала высокая кровля с идущей понизу гранитной балюстрадой. В каждом скате крутой пирамидальной крыши было прорезано окно, обрамленное нарядной лепниной, а под ним — изящный балкон со свинцовыми бортами и чугунными перилами. Дверные и оконные консоли на каждом этаже украшала скульптура, скопированная с домов Генуи. Павильон, обращенный тремя окнами к югу, смотрит на Монтеньяк. Другой, северный, повернут к лесу. Из окон, которые выходят в сад, открывается вид на ту часть Монтеньяка, где находятся «Ташроны», и на дорогу, ведущую в центр округа. Со стороны двора глаз отдыхает на беспредельной равнине, которая замкнута горами только по соседству с Монтеньяком, а вдали теряется на линии плоского горизонта. Жилые комнаты расположены двумя этажами, крыша над ними прорезана мансардами в старинном стиле; но оба боковых павильона — трехэтажные. Центральный павильон увенчан приплюснутым куполом, напоминающим купол так называемого павильона часов в Тюильри или в Лувре; там находится только украшенный часами бельведер. Из экономии все кровли были черепичные, но стропила и перекрытия, сделанные из монтеньякского леса, легко несли их огромную тяжесть.

Перед смертью Граслен задумал проложить к замку дорогу; теперь крестьяне закончили ее в знак признательности, — ведь предприятие это, которое Граслен называл своим безумием, доставило общине пять тысяч франков. Поэтому Монтеньяк значительно разросся. Позади участка, занятого службами, на склоне холма, который с северной стороны мягко спускался в долину, Граслен начал возводить постройки для большой фермы, очевидно, собираясь обрабатывать невозделанные земли равнины. Шесть садовников, которые жили в помещениях для слуг, занимались под присмотром главного садовода посадками, заканчивая самые необходимые, по суждению г-на Бонне, работы. Первый этаж замка, предназначенный для приемов, был обставлен с ослепительной роскошью. Второй этаж был почти пуст: после смерти г-на Граслена доставка мебели прекратилась.

— Ах, монсеньер! — сказала г-жа Граслен епископу после осмотра замка. — А я-то собиралась жить в хижине! Бедный господин Граслен натворил безумств.

— А вы, — произнес епископ, — вы будете творить дела милосердия, — добавил он после паузы, заметив, как вздрогнула при первых его словах г-жа Граслен.

Опершись на руку матери, которая вела за собой Франсиса, Вероника направилась к длинной террасе, ниже которой стояли дом священника и церковь. Отсюда хорошо видны были расположенные уступами деревенские домики. Кюре завладел монсеньером Дютейлем, желая показать ему пейзаж с разных сторон. Но вскоре внимание обоих священников привлекли Вероника и ее мать, застывшие, словно статуи, на другом конце террасы: старуха прижимала к глазам платок, дочь, простирая руки над балюстрадой, будто указывала на стоящую внизу церковь.

— Что с вами, сударыня? — спросил кюре Бонне у старухи Совиа.

— Ничего, — ответила г-жа Граслен, обернувшись и сделав несколько шагов навстречу священникам. — Я не знала, что прямо перед моим домом находится кладбище.

— Вы можете потребовать, чтобы его перенесли. Закон на вашей стороне.

— Закон! — Это слово вырвалось у нее, как крик.

Тут епископ снова взглянул на Веронику. Не выдержав взгляда черных глаз, который, словно проникнув сквозь тело, облекавшее ее душу, настиг тайну, погребенную в одной из могил этого кладбища, Вероника крикнула: «Да! Да!»

Потрясенный епископ закрыл рукой глаза и глубоко задумался.

— Поддержите мою дочь! — вскрикнула старуха. — Ей дурно.

— Здесь слишком свежо, я продрогла, — проговорила г-жа Граслен и без чувств упала на руки обоих священников, которые отнесли ее в замок.

Когда она пришла в себя, то увидела, что епископ и кюре на коленях молятся за нее.

— Да не покинет вас слетевший к вам ангел, — сказал епископ, благословляя ее. — Прощайте, дочь моя.

При этих словах г-жа Граслен залилась слезами.

— Значит, она спасена? — воскликнула матушка Совиа.

— На земле и на небесах, — обернувшись, ответил епископ и вышел из комнаты.

Комната, куда перенесли Веронику, находилась в первом этаже бокового павильона, окна которого выходили на церковь, кладбище и южную часть Монтеньяка. Г-жа Граслен пожелала здесь остаться и расположилась в павильоне вместе с Алиной и Франсисом. Матушка Совиа, разумеется, не отходила от дочери. Г-же Граслен понадобилось несколько дней, чтобы оправиться от жестокого волнения, испытанного во время приезда. Мать уговорила ее не вставать по утрам с постели. Вечерами Вероника сидела на скамье в конце террасы, не сводя глаз с церкви, церковного дома и кладбища. Несмотря на глухое сопротивление матери, г-жа Граслен с упорством маньяка сидела на одном месте, погруженная в глубокое уныние.

— Барыня умирает, — сказала Алина старухе Совиа.

Кюре не хотел быть навязчивым, но, узнав от обеих женщин, что речь идет о душевном недуге, стал ежедневно навещать г-жу Граслен. Этот истинный пастырь всегда приходил в тот час, когда Вероника и ее сын, оба в глубоком трауре, сидели в углу террасы.

Начался октябрь, природа становилась хмурой и печальной. Г-н Бонне, сразу после приезда Вероники догадавшийся о какой-то глубокой внутренней ране, счел благоразумным подождать совершенного доверия со стороны этой женщины, которой суждено было стать его духовной дочерью. Но однажды вечером г-жа Граслен посмотрела на священника угасшим взглядом, исполненным рокового безразличия, которое можно наблюдать только у людей, лелеющих мысль о смерти. С этого часа г-н Бонне больше не колебался, долг велел ему остановить развитие ужасного нравственного недуга. Сначала между Вероникой и священником завязался пустой словесный спор, под которым оба скрывали свои потаенные мысли. Несмотря на холод, Вероника сидела на гранитной скамье, держа на коленях сына. Матушка Совиа стояла, опершись о каменную балюстраду, нарочно закрывая собой вид на кладбище. Алина ждала, пока ее госпожа не передаст ей ребенка.

— Я думал, сударыня, — сказал священник, который пришел сегодня в седьмой раз, — что вас преследует печаль. А теперь, — прошептал он ей на ухо, — я вижу, что это отчаяние. Чувство не христианское и не католическое.

— Какие же чувства разрешает церковь обреченным, если не отчаяние? — ответила она с горькой улыбкой, бросив пронзительный взгляд на небо.

Услышав ее слова, святой человек понял, какое страшное опустошение поразило эту душу.

— Ах, сударыня, из этого холма вы создали себе ад, а он может стать Голгофой, с которой вы вознесетесь на небо.

— Слишком мало во мне осталось гордости, чтобы подняться на подобный пьедестал, — ответила она тоном, в котором звучало глубокое презрение к самой себе.

Тогда священник, этот служитель бога, повинуясь наитию, так часто и естественно снисходящему на прекрасные девственные души, взял на руки ребенка и отечески поцеловал его в лоб.

— Несчастный малютка, — сказал он и сам передал мальчика няньке, которая унесла его.

Старуха Совиа взглянула на дочь и поняла, что слова г-на Бонне не пропали даром: слезы брызнули из давно иссохших глаз Вероники. Старая овернка сделала знак священнику и удалилась.

— Погуляйте немного, — сказал г-н Бонне Веронике, увлекая ее на другой конец террасы, откуда видны были «Ташроны». — Вы принадлежите мне, за вашу больную душу я должен буду отдать отчет богу.

— Дайте мне оправиться от моего уныния, — ответила она.

— Это уныние навеяно мрачными мыслями, — горячо возразил кюре.

— Да, — согласилась она с чистосердечием скорби, дошедшей до предела, за которым забывают об осторожности.

— Я вижу, вы впали в пучину равнодушия, — воскликнул он. — Если есть степень физических страданий, когда исчезает всякая стыдливость, то есть и такая степень страданий нравственных, когда угасают силы души, — это я хорошо знаю.

Вероника была поражена, встретив у г-на Бонне столь тонкую наблюдательность и нежное сочувствие; но мы уже видели, что необыкновенная чуткость этого человека, не искаженная ни единой страстью, помогала ему исцелять скорби своей паствы с материнской любовью, присущей только женщинам. Этот mens divinior[[21]](#footnote-21), эта апостольская нежность ставит священника выше всех других людей, превращает его в существо божественное. Г-жа Граслен еще недостаточно знала г-на Бонне, чтобы разгадать в нем высшую красоту, скрытую в глубине души, как источник, который дарит покой, свежесть и подлинную жизнь.

— Ах, сударь! — воскликнула она, простирая к нему руки и устремив на него взгляд умирающей.

— Я слушаю вас, — откликнулся он. — Что делать? Чем помочь вам?

Они молча шли вдоль балюстрады по направлению к равнине. Этот торжественный момент показался благоприятным носителю благих вестей, сыну иисусову.

— Представьте, что вы перед господом богом, — произнес он тихим таинственным голосом. — Что бы сказали вы ему?

Госпожа Граслен вздрогнула и остановилась, словно пораженная ударом грома.

— Я сказала бы, как Христос: «Отец мой, почто ты покинул меня?» — ответила она просто, но с такой болью, что слезы выступили на глазах у кюре.

— О Магдалина! Вот слова, которых я ожидал от вас! — воскликнул священник, невольно залюбовавшись ею. — Видите, вы прибегаете к правосудию божьему, вы призываете бога! Выслушайте меня, сударыня. До срока правосудие божье вершит религия. Церкви дано судить все тяжбы души. Правосудие земное лишь слабое подражание, призванное служить нуждам общества, оно лишь бледный образ правосудия небесного.

— Что вы хотите сказать?

— Вы не судья в собственном деле, над вами стоит бог, — сказал священник. — Вы не имеете права ни осуждать себя, ни отпускать себе грехи. Бог, дочь моя, — вот верховный судья.

— Ах! — воскликнула она.

— Он видит причину явлений там, где мы видим одни лишь явления.

Вероника остановилась, пораженная новой для нее мыслью.

— Вы обладаете возвышенной душой, — продолжал отважный священник, — и к вам обращаюсь я с другими словами, чем к смиренным моим прихожанам. Ум ваш развит и изощрен, вы можете подняться до понимания божественного смысла католической религии, для нищих и малых сих выражаемого в образах и в словах. Слушайте же меня внимательно, речь пойдет о вас; ибо хотя я поставлю вопрос очень широко, я буду говорить о вашем деле. *Право*, созданное, чтобы защищать общество, основано на равенстве. Общество, будучи лишь совокупностью поступков, опирается на неравенство. Итак, существует разлад между поступками и правом. Должен ли закон подавлять общество или благоприятствовать ему? Другими словами, должен закон противодействовать движению внутренних сил общества, чтобы сдерживать его, или он должен применяться к этому движению, чтобы вести общество за собой? С самого зарождения человеческого общества ни один законодатель не смел взять на себя решение этого вопроса. Все законодатели довольствовались тем, что анализировали поступки, указывая на поступки предосудительные или преступные, и назначали кару или возмездие. Таков закон человеческий: он не дает ни способов предупредить ошибку, ни способов отвратить того, кто наказан, от новых ошибок. Филантропия — это высокое заблуждение; она лишь бесцельно терзает тело, она не проливает бальзама, исцеляющего душу. Филантропия создает проекты, порождает идеи и доверяет их осуществление людям, молчанию, работе, запретам — посредникам немым и бессильным. Религия не знает этих несовершенств, ибо простирает жизнь за пределы земного мира. Для нее все мы грешники, все мы падшие, она открывает нам неисчерпаемые сокровища всепрощения: всех нас ждет полное возрождение, никто из нас не безгрешен, церковь готова простить и ошибки и даже преступления. Там, где общество видит преступника, которого нужно исторгнуть из своего лона, церковь видит душу, которую надо спасти. Больше того!.. Вдохновленная богом, которого созерцает неустанно, церковь признает неравенство сил, она изучает несоответствие между силами человека и выпавшей ему на долю ношей. И если для нее мы не равны по мужеству, по телу, по духу, по способностям, по достоинствам, то всех она делает равными в раскаянии. Тут, сударыня, равенство не пустое слово, ибо мы можем быть, мы уже равны в своих чувствах. Начиная с первобытного фетишизма дикарей до изящных вымыслов Греции, до глубоких и изощренных учений Египта и Индии, выраженных в радостных или грозных обрядах, всюду проявляется заложенное в человеке представление — идея падения и греха, из которой возникает идея жертвы и искупления. Смерть спасителя нашего, искупившего грехи рода человеческого, — вот образ, которому все мы должны следовать: искупим вины наши! Искупим ошибки наши! Искупим грехи наши! Все искупается — в этих словах смысл католицизма; в них объяснение почитаемых нами таинств, которые способствуют торжеству благодати и поддерживают грешника. Плакать и стенать, как Магдалина в пустыне, — это только начало, сударыня. Дело — вот венец! В монастырях плакали и действовали, молились и просвещали. Монастыри были действенными посредниками нашей божественной религии. Они воздвигли постройки, насадили леса и возделали поля в Европе, спасая вместе с тем сокровища наших познаний, сокровища земного правосудия, политики и искусства. В Европе всегда можно будет узнать места, где находились эти лучезарные центры. Большинство современных городов — порождение монастырей. Если вы верите, что только богу дано судить вас, то церковь говорит вам моими устами: все можно искупить добрыми делами раскаяния. Руки божьи взвешивают одновременно и содеянное зло и ценность совершенных благодеяний. Заступите одна место монастыря, и вы сможете сотворить здесь чудеса. А труд ваш принесет счастье людям, над которыми поставило вас ваше богатство, ваш ум и даже сама природа, создав в этом холме над равниной как бы образ вашего общественного положения.

В этот момент священник и г-жа Граслен повернули обратно, в сторону равнины, и кюре показал на деревню, лежавшую у подножия холма, и на замок, возвышавшийся над всей местностью. Было около пяти часов вечера. Желтые лучи солнца пробежали по балюстраде и садам, озарили замок, сверкая на позолоченных чугунных акротерах, и осветили широкую равнину, пересеченную дорогой — унылой серой лентой, не окаймленной, как все другие дороги, зеленым бордюром деревьев.

Когда Вероника и г-н Бонне миновали каменную громаду замка, позади двора им открылся вид на конюшни и службы, на монтеньякский лес, по которому ласково скользили солнечные лучи. Хотя последнее зарево заката освещало лишь верхушки деревьев, можно было отлично рассмотреть все прихотливые оттенки осеннего леса, подобно великолепному ковру, раскинувшемуся от холма, на котором лежал Монтеньяк, до первых вершин Коррезской горной цепи. Дубы отливали флорентийской бронзой, ореховые и каштановые деревья поднимали свои медно-зеленые кроны, трепетала золотая листва осин; и все это пиршество красок оттенялось разбросанными по лесу мрачными серыми пятнами. Там возвышались только колоннады белесых стволов, начисто лишенных листвы. Рыжие, бурые, серые тона, гармонически сливающиеся воедино под бледным светом октябрьского солнца, перекликались с окраской бесплодной равнины, с зеленоватой, как стоячая вода, бескрайней целиной. Священник хотел объяснить Веронике, что означало это прекрасное, овеянное безмолвием зрелище: ни деревца, ни птицы, мертвая тишина — в равнине; молчание — в лесу; кое-где спирали дымков в деревне. Замок выглядел мрачно, как его хозяйка. По странной закономерности дом всегда похож на того, кто царит в нем, чей дух в нем витает.

Госпожа Граслен внезапно остановилась: мысль ее была поражена словами кюре, сердце тронуто его убежденностью, чувства ее пробудились от звука этого ангельского голоса. Кюре поднял руку и указал вдаль. Вероника посмотрела на лес.

— Не находите ли вы в картине этого леса смутное сходство с общественной жизнью? У каждого своя судьба! Сколько неравенства в этой массе деревьев! Самым высоким не хватает перегноя и воды, они умирают первыми!

— Это оттого, что *нож женщины, собирающей дрова*, пощадил их молодость, — с горечью сказала Вероника.

— Не впадайте больше в подобные чувства, — мягким голосом, но строго возразил кюре. — Несчастье этого леса в том, что его не вырубают. Видите ли вы, какое странное явление происходит в этой массе деревьев?

Вероника, которой были непонятны особенности лесной природы, послушно остановила взгляд на деревьях леса, а потом кротко перевела его на кюре.

— Не замечаете ли вы полосы совершенно зеленых деревьев? — спросил он, догадавшись по этому взгляду о полном неведении Вероники.

— Ах, верно! — воскликнула она. — Почему это?

— Там, — сказал кюре, — заложено богатство Монтеньяка и ваше, огромное богатство, на которое я указал господину Граслену. Вы видите долины трех ручьев, воды которых впадают в поток Габу. Этот поток отделяет монтеньякский лес от соседней с нами общины. В сентябре и в октябре русло потока пересыхает вовсе, но в ноябре он многоводен. Воды его, приток которых можно легко умножить, произведя необходимые работы в лесу и собрав воедино даже самые мелкие ручейки, воды эти пропадают без пользы. Но постройте в долине потока, между двумя холмами, одну или две плотины, чтобы задержать и сберечь воду, — как сделал это Рике в Сен-Ферреоле, где созданы огромные водоемы для снабжения Лангедокского канала, — и вы оживите эту бесплодную равнину, разумно распределяя воду при помощи снабженных шлюзами отводных каналов и производя поливку в самое полезное для этих земель время, причем избыток воды всегда можно будет направить в нашу речушку. Вдоль всех каналов вы посадите прекрасные тополя и будете разводить скот в прекраснейших лугах. Что такое трава? Вода и солнце. В равнине достаточно земли для укоренения злаков; вместе с водой появится роса, которая удобрит почву, а тополя, всасывая влагу, задержат туманы, питательные вещества которых будут поглощаться всеми растениями, — в этом секрет прекрасной растительности всех долин. И вы увидите однажды жизнь, радость и веселье там, где царит молчание, где угнетает вас мрачная бесплодность. Разве не возвышенна такая молитва? Разве не лучше заполнить свой досуг трудом, нежели скорбными сетованиями?

Вероника сжала руку священника и произнесла лишь несколько слов, но то были великие слова:

— Я это сделаю, сударь!

— Вы поняли величие этого дела, — возразил он, — но не сможете выполнить его. Ни вы, ни я не обладаем необходимыми познаниями, чтобы осуществить замысел, который мог прийти на ум каждому, но несет в себе трудности непреодолимые; и хотя препятствия эти просты и почти незаметны, они требуют точных распоряжений науки. Ищите же с сегодняшнего дня те человеческие орудия, которые помогут вам получить через двенадцать лет шесть или семь тысяч луидоров ренты с шести тысяч арпанов возрожденной вами земли. Когда-нибудь эта работа сделает Монтеньяк самой богатой коммуной департамента. Сейчас леса не приносят вам ничего. Но рано или поздно предприниматели найдут эти великолепные деревья, эти накопленные временем сокровища, единственные сокровища, в производстве которых человек не может ни поторопить, ни заменить природу. Быть может, впоследствии государство проложит пути сообщения к этому лесу, который понадобится для его флота, но оно подождет, пока удесятерившееся население Монтеньяка потребует его покровительства, ибо государство подобно фортуне: оно дает лишь богатым. Земля эта станет со временем прекраснейшей во Франции. Она станет гордостью ваших внуков, и замок, пожалуй, им покажется жалким по сравнению с их доходами.

— Вот будущее, которому я отдам мою жизнь, — сказала Вероника.

— Подобный труд может искупить любую вину, — ответил кюре.

И увидев, что его поняли, он попытался нанести последний удар, обратившись к уму этой женщины: он угадал, что к ее сердцу ведет ум, меж тем, как у других женщин путь к уму лежит через сердце.

— Знаете ли вы, — сказал он, помолчав, — в чем ваше заблуждение?

Она робко взглянула на него.

— Сейчас ваше раскаяние вызвано лишь чувством понесенного поражения, и это ужасно; это отчаяние сатаны; так, вероятно, каялись грешники до пришествия Иисуса Христа. Но у нас, у католиков, раскаяние в другом. Душа, споткнувшись на дурном пути, ужаснется, и при падении ей откроется бог! Вы похожи на язычника Ореста, станьте же святым Павлом![[22]](#footnote-22)

— Ваши слова возродили меня! — воскликнула Вероника. — Теперь, о, теперь я хочу жить!

«Дух победил», — подумал скромный священник и ушел, преисполненный радости.

Он дал пищу тайному отчаянию, снедавшему Веронику, он обратил ее раскаяние на прекрасное и доброе дело.

На следующее же утро Вероника написала г-ну Гростету. Через несколько дней из Лиможа прибыли три верховые лошади, присланные ей старым другом. По просьбе Вероники г-н Бонне дал ей в проводники сына почтового смотрителя: молодой человек рад был услужить г-же Граслен и заработать полсотни экю. Морис Шампион — круглолицый, черноволосый и черноглазый парень, невысокого роста, но статный и сильный — понравился Веронике и сразу же приступил к своим обязанностям. Он должен был сопровождать хозяйку во всех поездках и заботиться о верховых лошадях.

Главным лесничим в Монтеньяке был отставной квартирмейстер королевской гвардии родом из Лиможа; герцог Наваррский прислал его из другого своего поместья в Монтеньяк, чтобы он ознакомился с местными лесами и землями и доложил, какую выгоду можно из них извлечь. Жером Колора увидел лишь бесплодные, невозделанные земли, леса, не эксплуатируемые из-за отсутствия путей сообщения, руины замка и огромные затраты, которых требовало восстановление дома и садов. Особенно испугали его усеянные гранитными обломками прогалины, резко выделявшиеся среди лесной чащи. Этот честный, но бестолковый служака и надоумил герцога продать свои угодья.

— Колора, — призвав к себе лесничего, сказала г-жа Граслен. — С завтрашнего дня я, вероятно, каждое утро буду совершать прогулки верхом. Вы, должно быть, знаете лесные участки, принадлежащие этому имению, а также те, что присоединил к нему господин Граслен. Покажите их мне, я хочу все осмотреть сама.

Обитатели замка с радостью узнали о перемене в образе жизни Вероники. Не дожидаясь приказания, Алина сама нашла и привела в порядок старую черную амазонку своей хозяйки. На следующее утро матушка Совиа с невыразимым удовольствием увидела, что дочь ее оделась для верховой езды. Следуя за лесничим и Шампионом, которые отыскивали дорогу по памяти, ибо тропинки в этих пустынных горах были едва заметны, г-жа Граслен приняла решение объехать пока только вершины, на которых раскинулись ее леса, чтобы изучить горные склоны и ознакомиться с пересохшими руслами, словно естественные дороги, изрезавшими весь этот длинный кряж. Она хотела измерить величину своей задачи, понять природу горных потоков и ознакомиться с основами намеченного священником предприятия. Вероника следовала за прокладывавшим дорогу Колора, а Шампион трусил в нескольких шагах позади.

Пока они ехали по участкам, густо заросшим деревьями, то поднимаясь, то спускаясь по возвышенностям, всегда очень тесно расположенным в горах Франции, Вероника предавалась созерцанию лесных чудес. Сначала больше всего ее поразили вековые деревья, но в конце концов она к ним привыкла. Потом ее внимание стали привлекать высокие, словно искусственно посаженные ровными рядами, рощи, или одиноко стоящие на прогалине сосны фантастической высоты, или — явление более редкое — какие-нибудь кусты, в других местах низкорослые, но здесь достигающие гигантских размеров и, очевидно, такие же древние, как породившая их земля.

Клубившиеся на голых скалах тучи вызывали в ней никогда не изведанные чувства. Она замечала белесые борозды, проведенные ручьями талой воды, издали похожие на шрамы. Выезжая из лишенного растительности ущелья, она восхищалась укоренившимися в выветренных склонах скалистых утесов вековыми каштанами, прямыми, как альпийские ели. Вероника ехала так быстро, что могла, словно с высоты птичьего полета, охватить глазом обширные полосы движущихся песков, лесные зажоры с редкими деревьями, опрокинутые гранитные глыбы, нависшие скалы, темные лощины, поляны, покрытые цветущим или иссохшим вереском, луга, заросшие низкой травой, участки земли, удобренные вековыми наслоениями ила, — одним словом, горную природу центральной Франции со всей ее печалью и великолепием, со всеми ее резкими и нежными чертами и причудливыми видами. И чем дальше всматривалась она в эти разнообразные по форме, но овеянные единой мыслью картины, тем сильнее овладевала ею, отвечая ее тайным чувствам, глубокая печаль, запечатленная в этой дикой, заброшенной и бесплодной природе. А когда, поднимаясь по пересохшему руслу, где среди песков и камней росли лишь чахлые, скрюченные кустики, она увидела в просвете между двумя скалами раскинувшуюся внизу равнину, и зрелище это повторилось снова и снова, — она почувствовала, как поразил ее суровый дух этой природы и вызвал новые для нее думы, навеянные глубоким смыслом лежавших вокруг разнообразных картин. Ибо нет ни одного уголка в лесу, который не имел бы своего значения; каждая прогалина, каждая чаща подобны лабиринту человеческих мыслей.

Кто из людей с развитым умом или глубоко раненным сердцем, гуляя в лесу, не внимал его шуму? Неприметно возникает голос леса, ласковый или грозный, но чаще ласковый, чем грозный. Если доискиваться причин охватившего вас торжественного и простого, сладостного и таинственного чувства, то, пожалуй, их можно найти в возвышенном и безыскусном зрелище всех этих покорных своей участи созданий. Рано или поздно сердце ваше преисполнится потрясающим ощущением вечности природы, и в глубоком волнении вы обратите свою мысль к богу. Так и Вероника в безмолвии горных вершин, в благоухании леса, в безмятежном спокойствии воздуха обрела, как сказала она вечером г-ну Бонне, уверенность в небесном милосердии. Она прозрела возможность мира более возвышенного, чем тот, в котором замкнулись ее грезы. Она испытала нечто похожее на счастье. Давно уже не знала она такого покоя. Было ли вызвано это чувство сходством, какое нашла она между окружавшими ее картинами и иссохшей пустыней своей души? Или она испытала радость при виде потрясенной природы, подумав, что и материя была наказана, хотя не совершила греха? Во всяком случае, она была глубоко взволнована. Колора и Шампион то и дело удивленно переглядывались, словно заметив, что она преобразилась у них на глазах. В каком-то месте обрывистые склоны пересохшего потока показались Веронике особенно суровыми. Внезапно она почувствовала страстное желание услышать шум воды, бурлящей в этом выжженном русле.

«Любить вечно!» — подумала она.

Устыдившись этих слов, словно произнесенных чьим-то голосом, она отважно пустила вскачь своего коня и, не слушая предупреждений проводников, помчалась к первой вершине Коррезских гор. Вероника одна поднялась на верхушку пика, называемого *Живая скала*, и остановилась, стараясь охватить глазом всю округу. Теперь, когда она услышала тайный голос множества моливших о жизни созданий, она почувствовала как бы внутренний толчок, побудивший ее посвятить великому делу всю свою непреклонную волю, которую она не раз проявляла, вызывая восхищение друзей. Она привязала коня к дереву, присела на обломок скалы и, блуждая взором по владениям мачехи-природы, почувствовала ту приливающую к сердцу материнскую любовь, какую испытала она, взглянув впервые на своего сына. Невольные размышления, очистив, по прекрасному выражению Вероники, ее душу, подготовили ее к высшему уроку, заложенному в этом зрелище, и она словно пробудилась от летаргического сна.

— Тогда я поняла, — сказала она священнику, — что души наши надо возделывать так же старательно, как землю.

Бледное ноябрьское солнце озаряло обширную панораму. С востока надвигались серые тучи, гонимые холодным ветром. Было около трех часов дня. Веронике понадобилось четыре часа, чтобы доехать сюда, но, как все люди, терзаемые глубоким и тайным горем, она не обращала внимания на внешние обстоятельства. В этот миг жизнь ее поистине слилась с могучим дыханием природы.

— Не оставайтесь здесь долго, сударыня, — произнес вдруг чей-то голос, заставивший ее вздрогнуть. — Не то вы не сможете вернуться. Вы находитесь далеко от жилья, а ночью по лесу не проедешь. Но это еще пустяки, здесь вас ждут опасности пострашнее: через несколько минут всю гору охватит смертельный холод; никто не знает его причины, но он убил уже не одного человека.

Госпожа Граслен увидела перед собой загорелое до черноты лицо со сверкающими, как угли, глазами. Вдоль щек свешивались густые пряди черных волос, а подбородок окаймляла густая борода веером. Человек почтительно приподнял огромную широкополую шляпу, какую носят крестьяне в центральной Франции, и обнажил облысевший, но великолепной формы лоб; подобный лоб иногда привлекает всеобщее внимание к просящему подаяния нищему. Вероника ничуть не испугалась. Она была в таком состоянии, когда в женщине умолкает мелкая осмотрительность, делающая ее пугливой.

— Как вы сюда попали? — спросила она.

— Мой дом тут недалеко, — ответил незнакомец.

— Что же вы делаете в этой пустыне? — удивилась Вероника.

— Живу.

— Но как и чем?

— Мне немного платят за то, что я присматриваю за этой частью леса. — Человек показал на склон горы, смотревший в противоположную сторону от монтеньякской равнины.

Тут г-жа Граслен заметила дуло его ружья и охотничью сумку. Если и были у нее какие-нибудь опасения, то теперь она окончательно успокоилась.

— Вы лесник?

— Нет, сударыня. Чтобы стать лесником, надо принести присягу, а чтобы присягать, надо пользоваться всеми гражданскими правами.

— Да кто же вы?

— Я Фаррабеш, — сказал человек, с глубоким смирением опустив глаза.

Госпожа Граслен, которой это имя ничего не говорило, посмотрела на человека и подметила в его очень добром лице черты скрытой жестокости: неровные зубы придавали его рту с ярко-красными губами выражение иронии и дерзкой отваги; в выступающих, обтянутых загорелой кожей скулах таилось что-то животное. Роста он был среднего, с могучими плечами, короткой толстой шеей, руками широкими и волосатыми, как у всех вспыльчивых людей, склонных злоупотреблять преимуществами своей грубой натуры. Последние слова этого человека к тому же говорили о тайне, которой его манера держаться, физиономия и весь облик придавали какой-то грозный смысл.

— Значит, вы у меня на службе? — ласково спросила Вероника.

— Так я имею честь говорить с госпожой Граслен? — воскликнул Фаррабеш.

— Да, друг мой, — ответила она.

Бросив на свою хозяйку испуганный взгляд, Фаррабеш скрылся с проворством дикого зверя. Вероника поспешно села на коня и двинулась навстречу своим слугам, которые начали не на шутку беспокоиться, зная о вредоносном холоде, царившем вечерами на Живой скале.

Колора предложил хозяйке спуститься по неглубокой лощинке, ведущей прямо в равнину. «Пожалуй, небезопасно, — сказал он, — возвращаться через горы, где едва заметные дороги часто перекрещиваются и где даже при всем знании этих мест можно заблудиться».

Спустившись в равнину, Вероника замедлила ход своего коня.

— Что это за Фаррабеш служит тут у вас? — спросила она у главного лесничего.

— Сударыня встретила его? — воскликнул Колора.

— Да, но он убежал от меня.

— Бедняга, он, верно, не знает, как добра сударыня.

— Да что он такое сделал?

— Как же, сударыня, ведь Фаррабеш — убийца, — простодушно ответил Шампион.

— Значит, его помиловали? — дрогнувшим голосом спросила Вероника.

— Нет, сударыня, — возразил Колора, — Фаррабеша судил суд присяжных и приговорил его к десяти годам каторжных работ. Он отбыл половину своего срока, а потом был помилован и в 1827 году вернулся с каторги. Он обязан жизнью господину кюре, который уговорил его сдаться властям. А не то его приговорили бы к смертной казни заочно и все равно рано или поздно захватили бы. А тогда бы дело добром не кончилось. Господин Бонне отправился к нему совсем один, а ведь Фаррабеш мог убить его. Никто не знает, о чем они говорили. Они провели вместе два дня, а на третий день господин кюре привел Фаррабеша в Тюль, и там он сдался. Господин кюре нашел хорошего адвоката и рассказал ему про Фаррабеша. Фаррабеш отделался десятью годами каторжных работ, и господин кюре навещал его в тюрьме. И что бы вы думали, этот парень, наводивший ужас на всю округу, стал кротким, как овечка, и спокойно дал увезти себя на каторгу. А когда он вернулся, то поселился здесь, под покровительством господина кюре; выше господина кюре для него никого нет, каждое воскресенье и по всем праздничным дням он ходит к литургии и к мессе. И хотя у него есть свое место рядом со всеми, он всегда стоит один, у стены. А когда причащается, то в алтаре тоже держится в сторонке.

— И этот человек убил другого человека?

— Если бы одного! — сказал Колора. — Он убил многих. И все же он хороший человек.

— Возможно ли это? — воскликнула пораженная Вероника, уронив поводья на шею лошади.

— Видите ли, сударыня, — охотно отозвался лесничий, которому не терпелось рассказать эту историю, — сначала Фаррабеш, возможно, был и прав. Он последний в семье Фаррабешей — старинный род Коррезы, что и говорить! Его старший брат, капитан Фаррабеш, погиб десять лет назад в Италии, всего двадцати двух лет от роду. Это ли не беда? А парень какой был! Умный, грамотный, так и ждали, что будет генералом. Вся семья убивалась, да и было по ком! Я в те времена служил императору и много слышал о его гибели. О! Капитан Фаррабеш пал смертью героя, он спас армию и маленького капрала[[23]](#footnote-23). Я служил тогда под началом генерала Штейнгеля, немца, вернее, эльзасца — знаменитый генерал, но недальновидный, из-за этого-то он и погиб вскоре после капитана Фаррабеша. Младшему в семье, то есть этому самому Фаррабешу, было лет шесть, когда он узнал о смерти своего старшего брата. Второй брат тоже служил в армии, но как солдат. Он был сержантом первого полка гвардии — славный пост — и погиб в битве под Аустерлицем, где, доложу я вам, сударыня, мы маневрировали, словно на параде в Тюильри... Я тоже был там! О! Мне повезло, — не получил ни царапины. И вот наш Фаррабеш хоть и был храбрецом, забрал себе в голову, что не пойдет в солдаты. И то сказать, армия не шла на пользу этому семейству. Когда в 1811 году его вызвал супрефект, он спрятался в лесу, стал ослушником, так, что ли, их тогда называли. В ту пору связался он с шайкой поджаривателей; уж не знаю, по доброй воле или заставили его, но так или иначе, а он поджаривал! Сами понимаете, кроме господина кюре, никто не знает, что он проделывал вместе с этими, мягко говоря, собаками! Он частенько сражался против жандармов и даже против солдат. В общем, набралось семь стычек...

— Поговаривают, будто он убил двоих солдат и троих жандармов! — вставил Шампион.

— Э, да кто их считал! Сам-то он не скажет, — возразил Колора. — Одним словом, сударыня, почти вся шайка была схвачена, но он — черт возьми! — такой молодой, проворный, да все эти места знал лучше всех, его никак не могли изловить. Эти поджариватели шатались в окрестностях Брива и Тюля. Частенько они и сюда заглядывали, потому что тут Фаррабешу легко было их прятать. В 1814 году его оставили в покое, — рекрутский набор был отменен; но все-таки весь 1815 год ему пришлось скрываться в лесу. Жить ему было нечем, вот он и помог остановить ту карету в ущелье; но в конце концов он послушался господина кюре и сам сдался. Нелегко было тогда найти свидетелей, все боялись показывать против него. Да еще его адвокат и господин кюре постарались, вот он и отделался десятью годами. Это большая удача для поджаривателя, а он таки поджаривал!

— А что это значит — «поджаривал»?

— Если угодно, сударыня, я вам расскажу, что они разделывали; так мне люди говорили, сам-то я, вы понимаете, не поджаривал! Нехорошо это, конечно, да нужда закона не знает. Ну, так вот, ввалятся семь или восемь человек в дом какого-нибудь фермера или хозяина, у которого, по слухам, водятся деньжата; разложат огонь в очаге и начинают пировать среди ночи, а потом, перед десертом, если хозяин дома не пожелает дать им требуемую сумму, подвяжут его ноги к крюку над очагом и держат, пока не получат свои денежки; вот и все. Являлись они всегда в масках. Случалось иногда им и уходить ни с чем. Черт возьми! Всегда найдутся упрямцы и скупердяи. Один фермер, папаша Кошегрю, который удавился бы за копейку, так и дал сжечь себе ноги! Позднее он умер, и поделом! А жена господина Давида из-под Брива кончилась со страху, оттого только, что увидела, как эти молодцы связывают ноги ее мужу. «Отдай им все, что у тебя есть!» — говорила она мужу, умирая. Он не хотел, тогда она сама показала им на тайник. Целых пять лет поджариватели были пугалом для всего края. И зарубите себе на носу — простите, сударыня, — что среди них было немало сынков из хороших семей, но этих-то не зацапали.

Госпожа Граслен слушала, не отвечая ни слова. Наступило короткое молчание. Но юный Шампион, горя желанием тоже развлечь хозяйку, решил рассказать то, что знал о Фаррабеше он.

— Вот я вам еще скажу, сударыня: Фаррабеша никто не обгонит ни пешком, ни верхом. Он ударом кулака быка убьет! А стреляет он лучше всех! Я еще маленький был, мне рассказывали о приключениях Фаррабеша. Один раз его окружили вместе с тремя товарищами; они — сражаться. Здорово! Двое ранены, третий убит — готово! Фаррабеша хватают, не тут-то было! Он как вскочит на круп лошади позади жандарма! Дал шпоры — лошадь в галоп, он и ускакал, а жандарма обхватил руками, да так сильно, что потом мог сбросить его по пути, и остался один на лошади. Удрал да еще лошадь увел! И хватило смекалки продать ее где-то за десять лье от Лиможа. А после этого дела три месяца следа его найти не могли. Даже пообещали сотню луидоров тому, кто его выдаст.

— А другой раз, — добавил Колора, — когда сотню луидоров пообещал за него тюльский префект, он дал их заработать своему двоюродному брату, Жирие из Визэ. Брат на него донес и обставил все так, будто выдал его. О, он и в самом деле его выдал! Жандармы рады-радехоньки были бы доставить его в Тюль, но так далеко он идти не пожелал, и пришлось посадить его в тюрьму в Люберсаке, а оттуда он удрал в первую же ночь, воспользовавшись подкопом, который прорыл один из его сообщников, некий Габийо, дезертировавший из 17-го полка и расстрелянный в Тюле. Беднягу перевели в другую тюрьму как раз накануне той ночи, когда он рассчитывал бежать. О похождениях Фаррабеша ходили легенды. У шайки, сами понимаете, были свои доверенные. Кроме того, поджаривателей все любили. Еще бы! Эти молодчики не походили на нынешних, все они сорили деньгами налево и направо. Представьте себе, сударыня, раз как-то преследуют Фаррабеша жандармы, так? Ну что ж, и на этот раз он их провел: просидел двадцать четыре часа в сточной яме на какой-то ферме и дышал все время через соломинку, с головой погрузившись в нечистоты. А ему хоть бы что, ведь, бывало, он целую ночь держался на самой верхушке дерева, где и воробей не усидел бы, да поглядывал на солдат, которые искали его, бегая внизу взад и вперед. Фаррабеш был одним из пяти или шести поджаривателей, которых правосудию не удалось захватить; но поскольку он родом отсюда и в шайку попал поневоле да в конце концов он только убежал от призыва, то женщины за него горой стояли, а это самое главное.

— Значит, Фаррабеш в самом деле убил многих людей? — снова спросила г-жа Граслен.

— В самом деле, — ответил Колора. — По слухам, он-то и убил того пассажира при нападении на почтовую карету в 1812 году. Но ни курьера, ни почтальона — единственных свидетелей, которые могли опознать Фаррабеша, — уже не было в живых, когда его судили.

— Убил, чтобы ограбить? — спросила г-жа Граслен.

— О, они все обобрали! Но те двадцать пять тысяч франков, что они взяли, принадлежали государству.

Некоторое время г-жа Граслен ехала молча. Солнце село, луна освещала серую равнину, напоминавшую теперь открытое море. Колора и Шампион посмотрели на г-жу Граслен, их беспокоило ее глубокое молчание; еще больше они взволновались, когда увидели на ее щеках две блестящие полоски, оставленные пролитыми слезами; слезы стояли в ее покрасневших глазах и падали капля за каплей.

— О сударыня, — воскликнул Колора, — не жалейте его! Парень этот пожил в свое удовольствие, у него были красивые подружки, а теперь, хоть он и состоит под надзором полиции, его поддерживают уважение и дружба господина кюре; ведь он раскаялся и на каторге вел себя образцово. Все знают, что он такой же честный человек, как самый честный из нас; только он очень горд и не хочет нарываться на оскорбления, вот он и живет здесь потихоньку и делает добро на свой лад. По ту сторону Живой скалы он развел древесный питомник площадью чуть не в десять арпанов и высаживает деревья в тех участках леса, где они могут прижиться; потом он обрезает сухие сучья, собирает хворост, увязывает все в вязанки и держит их у себя для бедняков. Каждый бедняк, зная, что может получить готовое топливо, пойдет к нему и попросит, а не станет обворовывать и портить ваш лес. Так что теперь если он и подбрасывает сучья в огонь, то делает это на пользу людям! Фаррабеш любит ваш лес, заботится о нем, как о собственном добре.

— И он живет!.. — воскликнула г-жа Граслен и поспешила добавить: — Совсем один?

— Простите, сударыня, он воспитывает одного парнишку, теперь ему лет пятнадцать, — ответил Морис Шампион.

— Да, пожалуй, так, — подтвердил Колора, — потому что Катрин Кюрье родила его незадолго до того, как Фаррабеш сдался властям.

— Это его сын? — спросила г-жа Граслен.

— Все думают, что так.

— А почему же он не женился на этой девушке?

— Как же он мог это сделать? Его бы схватили! А когда Кюрье узнала, что его приговорили к каторге, бедная девушка уехала из этих мест.

— Она была красива?

— Да, — сказал Морис, — моя мать говорит, что она похожа была на другую девушку, которая, представьте, тоже уехала отсюда, — на Денизу Ташрон.

— Она любила его? — спросила г-жа Граслен.

— Еще бы! Ведь он поджаривал, — ответил Колора, — а женщины любят все необыкновенное. И все-таки в наших краях очень уж удивились, узнав об этой любви. Катрин Кюрье вела себя скромно, как сама пресвятая дева, и считалась в своей деревне образцом добродетели. Она родом из Визэ, большого селения в Коррезе, как раз на границе двух департаментов. Ее родители арендуют ферму у господина Брезака. Катрин Кюрье исполнилось семнадцать лет, когда Фаррабеша приговорили. А род Фаррабешей тоже издавна жил в этих краях, они обосновались в Монтеньяке и держали тут ферму. Отец и мать Фаррабеша умерли, а три сестры, такие же скромные, как Кюрье, замужем: одна в Обюссоне, другая в Лиможе, третья в Сен-Леонаре.

— А как вы думаете, Фаррабеш знает, где теперь Катрин? — спросила г-жа Граслен.

— Если бы знал, он бы уж вышел из своей дыры. О, он бы за ней поехал!.. Он сразу, как только появился здесь, попросил господина Бонне взять для него малыша у деда с бабкой, которые его воспитывали. Господин Бонне так и сделал.

— И никто не знает, что с ней сталось?

— Известно, молодость! — вздохнул Колора. — Девушка решила, что она погибла, и побоялась оставаться на родине! Отправилась в Париж. А что она там делает? Искать ее в столице — все равно, что пытаться найти бильярдный шар среди камней в равнине!

И Колора указал на монтеньякскую равнину с высоты новой дороги, по которой поднималась г-жа Граслен.

Они уже подъезжали к воротам замка. Встревоженная матушка Совиа, Алина, слуги — все собрались здесь, не зная, что и думать о столь долгом отсутствии Вероники.

— Как же так, — говорила матушка Совиа, помогая дочери спуститься с седла. — Ты, верно, ужасно устала.

— Нет, матушка, — ответила г-жа Граслен таким дрожащим голосом, что старуха, пристально взглянув на дочь, сразу поняла, что та долго плакала.

Госпожа Граслен прошла в свою комнату вместе с Алиной, которая давно получила все распоряжения, касавшиеся домашней жизни ее хозяйки. Вероника заперлась и не пустила к себе мать, а когда старуха хотела войти, Алина сказала:

— Барыня почивает.

На другой день Вероника отправилась в путь верхом, взяв с собой только Мориса. Желая поскорее достигнуть Живой скалы, она избрала дорогу, по которой они накануне возвращались домой. Если смотреть со стороны равнины, казалось, что Живая скала стоит особняком; поднимаясь по ущелью, отделявшему эту вершину от последнего поросшего лесами холма, Вероника велела Морису показать ей дом Фаррабеша, а самому остаться с лошадьми и ждать ее; она хотела идти дальше одна. Морис проводил ее до тропинки, огибавшей Живую скалу, и на склоне, обращенном в противоположную от равнины сторону, показал ей соломенную крышу затерянной на горе хижины, ниже которой раскинулись молодые древесные посадки. Было около полудня. Пойдя на легкий дымок, вившийся над крышей, Вероника вскоре добралась до хижины. Но она решила сразу не показываться. При виде скромного домика, стоящего в саду, обнесенном изгородью из сухого терновника, она замерла на мгновение, отдавшись тайным, ей одной ведомым мыслям. Ниже сада тянулся окруженный живой изгородью луг, а на нем кое-где стояли яблони, груши и сливы с раскидистыми кронами. Над домом, по песчаному склону, поднимались пожелтевшие верхушки великолепных каштанов.

Отворив сбитую из полусгнивших планок калитку, г-жа Граслен заметила хлев, маленький птичий двор и все трогательные и живописные принадлежности жилища бедняков, которое в деревне всегда выглядит поэтично. Кто мог бы увидеть без волнения белье, сохнущее на изгороди, подвешенные к потолку связки лука, выставленные на солнце чугунки, деревянную скамью, затененную жимолостью, живучку на коньке соломенной крыши — всю обстановку сельских хижин Франции, которая говорит о скромной, почти растительной жизни?

Но Веронике не удалось проникнуть к своему сторожу незамеченной: две красивые охотничьи собаки залаяли сразу же, как только ее амазонка зашелестела по сухой листве. Перебросив длинный шлейф через руку, она направилась к дому. Фаррабеш и его сын, сидевшие на деревянной скамье перед хижиной, встали и сняли шляпы, поклонившись почтительно, но без всякой угодливости.

— Я узнала, — произнесла Вероника, внимательно глядя на мальчика, — что вы печетесь о моих интересах, и мне захотелось самой посмотреть ваш дом и питомник и расспросить вас на месте, чем можно вам помочь.

— К вашим услугам, сударыня, — ответил Фаррабеш.

Вероника залюбовалась мальчиком. У него было прелестное лицо, обожженное солнцем, но очень правильное, с безукоризненным овалом и чистыми очертаниями лба; светло-карие глаза светились живым огоньком; черные волосы были подрезаны на лбу и длинными прядями спускались вдоль щек. Крупный для своих лет, мальчик был ростом футов пяти. Штаны и рубашка на нем были из толстого небеленого холста, потертый синий суконный жилет застегивался на роговые пуговицы; костюм дополняла куртка того же, принятого в одежде савояров, грубого сукна, которое в шутку называют Мориенским бархатом, и подкованные гвоздями башмаки, обутые прямо на босую ногу. Фаррабеш был одет точно так же, только у отца на голове красовалась широкополая войлочная шляпа, а у паренька — коричневый шерстяной колпачок. Очень живая и умная мордочка мальчугана хранила все же степенность, присущую людям, которые живут уединенно; безмолвная жизнь лесов невольно настраивает их на свой лад. И Фаррабеш и его сын были хорошо развиты физически, они обладали всеми примечательными свойствами дикарей: зорким взглядом, острым вниманием, умением владеть собой, верным слухом, проворством и ловкостью. В первом же взгляде ребенка, обращенном к отцу, г-жа Граслен уловила ту безграничную любовь, в которой инстинкт ищет опоры в мысли, а счастье совместной жизни подтверждает и стремление инстинкта и работу мысли.

— Это и есть тот мальчик, о котором мне говорили? — спросила, указывая на него, г-жа Граслен.

— Да, сударыня.

— Вы не пытались найти его мать? — продолжала Вероника, жестом отозвав Фаррабеша в сторону.

— Сударыня, очевидно, не знает, что мне запрещено выезжать за пределы коммуны.

— И вы никогда не получали никаких известий о ней?

— Когда кончился мой срок, — отвечал он, — комиссар вручил мне тысячу франков, которые кто-то пересылал мне понемножку каждые три месяца. По правилам деньги мне могли отдать только в день освобождения. Я подумал, что лишь Катрин могла подумать обо мне, раз это не был господин Бонне. Поэтому я сохранил деньги для Бенжамена.

— А родители Катрин?

— Они и не вспоминали о ней после ее отъезда. Впрочем, они сделали немало, позаботились о малыше.

— Ну что ж, Фаррабеш, — сказала Вероника, направляясь к дому, — я постараюсь узнать, жива ли Катрин, где она и каков ее образ жизни...

— О, каков бы он ни был, сударыня, — тихонько воскликнул Фаррабеш, — я сочту за счастье жениться на ней! Она еще может быть разборчива, но не я. Наш брак узаконил бы бедного мальчика, который и не подозревает о своем положении.

Отец посмотрел на сына, и в этом взгляде можно было прочесть всю жизнь этих покинутых или добровольно уединившихся людей; они были всем друг для друга, словно два соотечественника, заброшенные в пустыне.

— Значит, вы любите Катрин? — спросила Вероника.

— Если бы я даже не любил ее, сударыня, — ответил он, — в моем положении она для меня единственная женщина на свете.

Госпожа Граслен, резко повернувшись, направилась к каштановой роще и села под деревом, словно сраженная глубокой печалью. Сторож, решив, что это какая-нибудь женская причуда, не посмел за ней следовать. Вероника просидела под деревом минут пятнадцать, делая вид, что рассматривает окрестный ландшафт. Отсюда была видна часть леса, растущего в той стороне долины, где протекал поток, сейчас пересохший, полный камней и похожий на глубокий ров, стиснутый между лесистыми горами Монтеньяка и цепью голых крутых холмов, кое-где поросших чахлыми деревцами. Здесь росли только довольно жалкие на вид березы, можжевельник да вереск; холмы эти входили в соседнее владение и принадлежали к департаменту Коррезы. Проселочная дорога, вьющаяся по пригоркам долины, служила границей Монтеньякскому округу и разделяла оба департамента. Суровые, мрачные холмы замыкали словно стеной прекрасный лес, раскинувшийся на противоположном склоне, являя собой разительный контраст с зелеными зарослями, среди которых приютилась хибарка Фаррабеша. С одной стороны — формы резкие, изломанные, с другой — мягкие и чарующие своим изяществом; с одной стороны — застывшая в холодном безмолвии, неподвижная бесплодная земля, прорезанная горизонтальными каменными плитами или острыми, обнаженными скалами; с другой — деревья разнообразных зеленых оттенков, с наполовину облетевшей листвой, которые возносят прямые разноцветные стволы, шевеля ветвями при каждом дуновении ветра. Дубы, вязы, буки, каштаны, сопротивляясь непогоде, сохраняют свои желтые, бронзовые и багряные кроны.

Ближе к Монтеньяку долина непомерно расширяется, и оба склона образуют огромную подкову. Со своего места под каштанами Вероника могла видеть уступы холмов, спускающиеся вниз, как ступени амфитеатра, — верхушки растущих на них деревьев кажутся головами зрителей. На обратном склоне прекрасного амфитеатра расположен ее парк. В другую сторону от хижины Фаррабеша долина сужается все больше и больше и переходит в ущелье шириной не более ста футов.

Взор Вероники непроизвольно блуждал вокруг, и красота этих диких мест отвлекла ее от мрачных мыслей. Она вернулась к дому, где молча поджидали ее отец и сын, даже не пытаясь понять, чем было вызвано странное бегство их хозяйки. Вероника осмотрела дом. Несмотря на соломенную крышу, оказалось, что он выстроен довольно тщательно, но, очевидно, был заброшен, когда герцог Наваррский покинул свое поместье. Не стало охоты, не стало и сторожей. Хотя дом простоял нежилым свыше ста лет, стены его хорошо сохранились, но были сплошь увиты плющом и вьюнками. Когда Фаррабешу разрешили здесь поселиться, он покрыл крышу соломой, выложил плитками пол в комнате и притащил кое-какую мебель. Войдя в дом, Вероника увидела две деревенские кровати, большой шкаф орехового дерева, хлебный ларь, буфет, стол, три стула, а на буфетных полках несколько глиняных тарелок — одним словом, все необходимое для житья. Над камином висели два ружья и две охотничьи сумки. Вещицы, очевидно, сработанные руками отца для мальчика, глубоко тронули Веронику: парусный корабль, лодочка, резная деревянная чашка, деревянная шкатулка изумительной работы, сундучок с инкрустациями, великолепные распятие и четки. На четках из сливовых косточек с обеих сторон были замечательно тонко вырезаны головы Иисуса Христа, апостолов, богоматери, святого Жана-Батиста, святого Иосифа, святой Анны и двух Магдалин.

— Это я все мастерил, чтобы позабавить мальчика в долгие зимние вечера, — как бы оправдываясь, сказал Фаррабеш.

Фасад дома был обсажен кустами жасмина и штамбовыми розами, которые закрывали окна первого, нежилого, этажа, где Фаррабеш держал запасы провизии. В его хозяйстве имелись куры, утки, два кабана; покупать приходилось только хлеб, соль, сахар и кое-какую бакалею. Ни он, ни его сын не пили вина.

— Все, что мне о вас говорили, и то, что я увидела сама, — сказала под конец г-жа Граслен Фаррабешу, — вызывает во мне горячее участие, и я надеюсь, оно не будет бесплодным.

— Узнаю руку господина Бонне! — воскликнул растроганный Фаррабеш.

— Ошибаетесь, господин кюре мне еще ничего не говорил. Все это — дело случая, а, может быть, бога.

— Да, сударыня, бога! Только бог может совершить чудо для такого несчастного, как я.

— Если вы были несчастны, — г-жа Граслен говорила тихо, чтобы мальчик не мог ее услышать, и эта женская деликатность глубоко тронула Фаррабеша, — то ваше раскаяние, ваше поведение, а также доброе мнение господина кюре делают вас достойным счастья. Я распорядилась закончить постройку фермы, которую господин Граслен предполагал выстроить по соседству с замком. Вы будете моим фермером, вы сможете найти применение своим силам, своей энергии, создать положение своему сыну. Главный прокурор Лиможа узнает о вас, и я обещаю, что кончится для вас положение отверженного, которое отравляет вам жизнь.

При этих словах Фаррабеш упал на колени, пораженный, словно громом, исполнением мечты, которую так долго и тщетно лелеял; он поцеловал край амазонки г-жи Граслен, поцеловал ей ноги. Увидев слезы на глазах отца, Бенжамен зарыдал, сам не зная, о чем.

— Встаньте, Фаррабеш, — сказала г-жа Граслен, — вы и не знаете, насколько естественно то, что я делаю для вас, то, что я обещаю для вас сделать. Скажите, это вы посадили здесь хвойные деревья? — спросила она, показав на несколько елей, сосен и лиственниц, растущих у подножия противоположного голого и сухого склона.

— Да, сударыня.

— Значит, там земля получше?

— Воды все время размывают эти скалы и понемножку приносят вниз плодородную почву; я и воспользовался этим, ведь вся земля в долине ниже дороги принадлежит вам. Граница проходит по дороге.

— И много ли воды стекает в долину?

— О сударыня! — воскликнул Фаррабеш. — Через несколько дней начнутся дожди, и вы услышите из замка, как ревет поток! Но это и не сравнить с тем, что делается во время таяния снегов. Воды бегут с монтеньякского холма, из лесов, расположенных на высоких склонах, противоположных вашим садам и парку; в общем, сюда текут воды со всех этих холмов. Тут тогда настоящий потоп. На ваше счастье, деревья скрепляют почву, а вода скользит по палым листьям, — осенью они покрывают землю словно клеенчатым ковром, — не то верхний слой почвы смыло бы в долину, но не знаю, остался бы он там, слишком уж круто спускается русло потока вниз.

— А куда уходит вода? — спросила г-жа Граслен, внимательно слушавшая его.

Фаррабеш показал на узкое ущелье, замыкавшее долину ниже его дома.

— Она разливается по меловому плато, отделяющему Лимузен от Коррезы, и надолго застаивается там зелеными лужами, постепенно и очень медленно впитываясь в землю. Никто не живет в тех гиблых местах, где ничего нельзя посадить. Даже скотина не хочет есть осоку и камыш, которые только и растут в этой засоленной воде. Вся большая равнина, а в ней, наверное, тысячи три арпанов, служит общинным выгоном трем коммунам, но так же, как с монтеньякской равниной, с ней ничего нельзя сделать. У вас еще среди камней есть немного земли и песку, ну, а здесь сплошной туф.

— Пошлите мальчика за лошадьми, я хочу сама все это осмотреть.

Госпожа Граслен объяснила Бенжамену, где дожидается ее Морис, и мальчик побежал за ним.

— Вы, говорят, знаете все особенности этого края, — продолжала г-жа Граслен. — Объясните же мне, почему из моих лесов, со склонов, обращенных к монтеньякской равнине, не стекает туда ни единого ручейка ни во время дождей, ни во время таяния снегов?

— Ах, сударыня, — сказал Фаррабеш, — господин кюре в своих заботах о процветании Монтеньяка доискался причин этого явления, даже не имея еще никаких доказательств. После вашего приезда он поручил мне проследить путь воды по каждому оврагу, по всем сухим руслам. Вчера, когда я имел честь встретить вас, я возвращался с подножия Живой скалы, где изучал уклоны почвы. Я услыхал топот коней и пошел взглянуть, кто же это сюда забрался. Господин Бонне — не только святой, сударыня, он еще и ученый. «Фаррабеш, — сказал он мне, — а я в это время работал на дороге, которую община проложила до самого замка, и с того места господин кюре показал мне всю горную цепь от Монтеньяка до Живой скалы, длиной чуть ли не в два лье, — раз по этим склонам в равнину не стекает ни единой капли воды, значит, природа сотворила нечто вроде водосточной трубы, по которой вся влага уходит в другое место!» Так вот, сударыня, казалось бы, подобное рассуждение настолько просто, что и ребенок мог бы до него додуматься. Но с тех пор, как стоит на этом месте Монтеньяк, никто, ни сеньоры, ни управляющие, ни лесничие, ни бедняки, ни богачи, не задумался над тем, куда деваются воды потока Габу, хотя все они видели равнину, ничего не родящую из-за отсутствия воды. Три общины, страдавшие от лихорадки из-за соседства стоячих вод, тоже не пытались избавиться от беды, да и сам я ничуть не беспокоился. Тут понадобилось вмешательство слуги божьего...

При этих словах слезы выступили на глазах у Фаррабеша.

— Гениальные люди, — сказала г-жа Граслен, — всегда находят решение настолько простое, что кажется, будто каждый мог бы найти его. «Но, — добавила она про себя, — гений тем и прекрасен, что походит на всех, хотя на него не походит никто».

— Я сразу понял господина Бонне, — продолжал Фаррабеш, — ему не пришлось тратить много слов, чтобы объяснить мне мою задачу. Все это кажется тем более странным, сударыня, что горные склоны, обращенные к вашей равнине, — ибо все эти пространства принадлежат вам — пересечены довольно глубокими оврагами и ущельями; но, сударыня, по всем этим трещинам, лощинам, оврагам, ущельям и, наконец, канавам вода устремляется в узкую долину Габу, расположенную на несколько футов ниже вашей равнины. Теперь я знаю разгадку этого явления: от Живой скалы до Монтеньяка тянется вдоль подножия гор нечто вроде желоба высотой от двадцати до тридцати футов; желоб этот не имеет ни единой трещины и состоит из горной породы, которую господин Бонне называет сланцем. Земля, будучи мягче камня, размывается течением, и воды, бегущие по всем этим руслам, естественно, попадают в Габу. Деревья и кустарник скрывают от глаза наклон почвы; но, проследив движение вод и след, оставленный потоками, легко в нем убедиться. Таким образом, Габу получает воды с обоих горных склонов — и с того, где расположен ваш парк, и со скалистых отрогов, лежащих перед нами. По мысли господина кюре, положение изменится, когда земля и камни, нанесенные водой, запрудят естественные русла, проходящие по склону, обращенному к вашей равнине, и тем самым закроют воде доступ к Габу. Тогда ваша равнина будет затопляться точно так же, как те общинные выгоны, которые вы хотите посмотреть. Правда, на это потребуются сотни лет. Однако стоит ли этого желать, сударыня? Если ваша равнина, так же как общинные земли, не сможет поглотить всю массу воды, Монтеньяк тоже будет страдать от гниения стоячих вод.

— Значит, в тех местах, где, как показал мне на днях господин кюре, деревья еще сохранили зеленую листву, проходят эти естественные русла, по которым воды уходят в поток Габу?

— Да, сударыня. Между Живой скалой и Монтеньяком стоят три горы, следовательно, имеется три горловины, по которым вода, задержанная сланцевым барьером, устремляется в Габу. Идущая понизу полоса зеленого леса и указывает, где проходит водосточная труба, о существовании которой догадался господин кюре.

— То, что было несчастьем Монтеньяка, скоро послужит к его процветанию, — с глубокой убежденностью произнесла г-жа Граслен. — И так как вы оказались первым исполнителем этого благого дела, вы примете в нем участие, вы отыщете энергичных, преданных работников, ибо нехватку денег нам придется возмещать своей самоотверженностью и трудом.

В это время к ним присоединились Бенжамен и Морис. Вероника схватила своего коня за узду и знаком велела Фаррабешу сесть на лошадь Мориса.

— Проводите меня туда, — сказала она, — где воды разливаются по общинным землям.

— Сударыне тем более полезно съездить туда, что по совету господина кюре покойный господин Граслен приобрел в устье потока около трехсот арпанов земли, на которой вода оставила слой плодородного ила. Сударыня увидит обратный склон Живой скалы, покрытый великолепными лесами. Там господин Граслен, без сомнения, собирался выстроить ферму. Самым удобным было бы место, где теряется источник, берущий начало возле моего дома, — из него тоже можно бы извлечь немало пользы.

Фаррабеш двинулся первым, указывая дорогу. Вероника последовала за ним по крутой тропинке, которая вела туда, где два противоположных откоса стремительно сближались, а затем расходились в разные стороны: один — на запад, другой — на восток. Горловина этой воронки, усеянной лежавшими в высокой траве валунами, достигала шестидесяти футов в ширину. Срезанная отвесно Живая скала казалась гладкой гранитной стеной, но вершина этой суровой горы была увенчана деревьями с висящими в воздухе корнями. Сосны, зажавшие комья земли скрюченными лапами, напоминали сидящих на ветке птиц. Противоположный песчаный откос, изъеденный временем, выглядел хмуро; его бороздили неглубокие пещеры и ямы с неровными краями; мягкие выветренные скалы отливали охрой. Редкие кусты с острыми листочками, а пониже репейник, тростник и болотные травы указывали на недостаток солнца и скудость почвы. Ложе потока было из достаточно твердого, но тоже желтоватого камня. Две параллельные горные цепи, словно расколовшиеся в момент катастрофы, изменившей земной шар, — по необъяснимой прихоти природы или по никому не известной причине, открыть которую дано только гению, — были созданы из совершенно несхожих материалов. В ущелье контраст между двумя горными породами особенно бросался в глаза. Дальше Вероника увидела огромное меловое плато, начисто лишенное растительности, покрытое лужами солоноватой воды и испещренное трещинами. Направо высились Коррезские горы, налево глаз отдыхал на заросшей прекрасным лесом громаде Живой скалы, под которой расстилался широкий луг, своей яркой зеленью подчеркивавший неприглядный вид унылого плато.

— Мы с сыном вырыли вон ту канаву, видите, вдоль нее растет самая высокая трава, — сказал Фаррабеш. — Она соединяется с канавой, которая идет по границе ваших лесов. С этой стороны ваши владения граничат с пустошью — первая деревня расположена не ближе одного лье.

Вероника поскакала прямо в безрадостную равнину, сторож следовал за ней. Лошадь перемахнула через ров, и всадница, опустив поводья, помчалась вперед, словно наслаждаясь зловещим зрелищем полного опустошения. Фаррабеш был прав. Никакая сила, никакая власть не могла ничего извлечь из этой почвы, глухо звеневшей под копытами лошадей. Казалось, под слоем пористого мела лежит пустота, и действительно повсюду видны были трещины, через которые, должно быть, просачивались воды и бежали прочь, чтобы питать далекие источники.

— Есть души, подобные этой равнине! — воскликнула Вероника, проскакав с четверть часа, и удержала коня.

Она в задумчивости остановилась посреди пустыни, где не было ни животных, ни насекомых, над которой даже не летали птицы. В монтеньякской равнине попадались все же камни, пески, участки рыхлой или глинистой земли, наносный слой в несколько дюймов толщины, в котором хоть что-нибудь могло укорениться; но здесь только бесплодный туф — еще не камень, но уже не земля — ранил человеческий взгляд, и невольно глаза устремлялись к небесам. Осмотрев границы лесов и лугов, купленных ее супругом, Вероника медленно направилась обратно к устью потока. Фаррабеш ждал ее, пристально глядя на какую-то пещеру или яму, должно быть, вырытую каким-нибудь предприимчивым человеком, пытавшимся разведать это унылое место в надежде, что природа скрыла в земле свои сокровища.

— Что с вами? — спросила Вероника, заметив выражение глубокой печали на мужественном лице Фаррабеша.

— Сударыня, этой пещере обязан я жизнью или, вернее, тем, что я раскаялся и искупил свои грехи в глазах людей...

Такое объяснение смысла жизни словно пригвоздило Веронику на месте, она остановила лошадь перед пещерой.

— Я прятался здесь, сударыня. В этой почве так отдается каждый звук, что, прижавшись ухом к земле, можно было издали уловить топот жандармских коней или шаг солдат, ведь его сразу узнаешь. Тогда я бежал по руслу Габу в местечко, где прятал коня, и всегда обгонял моих преследователей на пять-шесть лье. Катрин приносила мне сюда еду по ночам; и если я был в отлучке, то потом всегда находил в яме под камнем вино и хлеб.

Эти воспоминания о преступной бродячей жизни, которые, казалось, могли повредить Фаррабешу в глазах г-жи Граслен, вызвали в ней лишь глубокое сочувствие, однако она, не задерживаясь, направилась к устью Габу, куда последовал за ней и лесник. Пока она осматривала ущелье, за которым открывалась длинная долина, по одну сторону такая живописная, по другую — сухая и безрадостная, а еще дальше поднимались уступами холмы Монтеньяка, Фаррабеш сказал:

— Какие замечательные водопады здесь будут через несколько дней!

— А в будущем году в это самое время сюда не попадет ни капли воды. Мне принадлежит земля по обе стороны ущелья; я прикажу возвести стену, достаточно высокую и прочную, чтобы удержать воду. Вместо никому не нужной долины здесь будет озеро двадцати, тридцати, сорока или пятидесяти футов глубиной и протяженностью в целый лье — огромный водоем, который поможет мне оросить и сделать плодородной всю монтеньякскую равнину.

— Господин кюре был прав, сударыня. Когда мы прокладывали дорогу к замку, он говорил нам: «Вы работаете для вашей матери. Да благословит бог дело, которое вы замыслили!»

— Молчите, Фаррабеш, — сказала г-жа Граслен, — замысел этот принадлежит господину Бонне.

Вернувшись к дому Фаррабеша, Вероника захватила с собой Мориса и немедленно отправилась в замок. Когда мать и Алина увидели Веронику, они были поражены происшедшей в ней переменой: лицо ее дышало счастьем, так увлечена была она надеждой принести благо обездоленному краю.

Госпожа Граслен написала Гростету и просила его добиться у г-на де Гранвиля полной свободы для несчастного бывшего каторжника, о чьем поведении дала благоприятный отзыв, подтвержденный свидетельством монтеньякского мэра и письмом г-на Бонне. Кроме того, она сообщала о Катрин Кюрье и просила Гростета заинтересовать задуманным ею добрым делом главного прокурора, который мог бы обратиться в парижскую полицию с поручением разыскать девушку. На ее след могла навести пересылка денег, которые получил Фаррабеш при освобождении с каторги. Вероника хотела дознаться, почему Катрин не пыталась вернуться к своему ребенку и к Фаррабешу. Затем она поделилась со старым другом своими открытиями, касавшимися Габу, и настоятельно просила поторопиться с выбором знающего человека, о котором у них уже шла речь раньше.

На следующий день было воскресенье, и впервые со времени приезда в Монтеньяк Вероника почувствовала себя в силах пойти в церковь к мессе. Она посетила службу и сидела на принадлежавшей ей скамье в приделе святой девы. Увидев, как бедна монтеньякская церковь, Вероника дала себе слово каждый год жертвовать известную сумму на нужды и украшение храма. Она услыхала кроткие, умиляющие душу слова священника; его проповедь, хотя изложенная в простых, доступных пониманию крестьян выражениях, была поистине возвышенна. Возвышенное идет от сердца, ум не может породить его; а религия является неистощимым источником возвышенного, которому чужд всякий ложный блеск. Для проповеди г-н Бонне избрал текст из посланий апостолов, говоривший, что рано или поздно господь исполняет свои обещания и поддерживает добрые души. Кюре поведал, какие блага сулит приходу присутствие милосердного богача, объяснив, что обязанности бедняков по отношению к творящему добро богачу так же обширны, как обязанности богатых перед бедными, а потому следует им помогать друг другу.

Фаррабеш рассказал тем землякам, которые из христианского милосердия, пробужденного в них г-ном Бонне, охотно встречались с бывшим каторжником, о том, как благожелательно отнеслась к нему г-жа Граслен. Об этом стало известно всем крестьянам общины, собравшимся, по деревенскому обычаю, перед мессой на церковной площади. Ничто не могло вернее снискать ей дружбу этих столь чувствительных к добру сердец. Когда Вероника вышла из церкви, она увидела чуть ли не всех прихожан, стоявших двумя рядами вдоль дороги. Пока она проходила мимо них, каждый молча и почтительно ей кланялся. Она была тронута таким приемом, не подозревая об истинной его причине, — Фаррабеша она заметила одним из последних.

— Вы, говорят, искусный охотник, — сказала она ему, — приносите же нам дичь в замок.

Несколько дней спустя Вероника вместе со священником отправилась на прогулку в ближайшую к замку часть леса. Ей хотелось спуститься вниз по ступенчатым долинам, которые она заметила, стоя у дома Фаррабеша, и познакомиться с расположением верхних притоков Габу. В результате осмотра кюре сделал вывод, что воды, орошавшие часть верхнего Монтеньяка, сбегали с Коррезских гор. Эта цепь сообщалась с Монтеньяком через голые холмы, тянувшиеся параллельно Живой скале. Возвращаясь после прогулки, кюре радовался, как ребенок; с непосредственностью поэта он уже видел процветание своей любимой деревни. Разве не поэт — человек, который заранее видит воплощение своей мечты? Г-н Бонне представлял себе стога скошенного сена, указывая с высоты террасы на иссохшую, серую равнину.

На другой день Фаррабеш и его сын принесли полные сумки дичи. Лесник вырезал в подарок Франсису Граслену деревянную чашку — настоящее чудо, — изобразив на ней сражающихся воинов. Г-жа Граслен гуляла в это время по террасе, обращенной в сторону Ташронов. Она присела на скамью и, взяв чашку, залюбовалась искусной резьбой. На глазах ее выступили слезы.

— Вы, должно быть, много страдали, — сказала она Фаррабешу после долгого молчания.

— Что же делать, сударыня, — ответил он, — тяжко, когда сидишь там без всякой мысли о побеге, которая только и поддерживает жизнь всех заключенных.

— О, это ужасная жизнь, — жалобно промолвила она, взглядом и жестом приглашая Фаррабеша продолжать.

Фаррабеш приписал глубокое волнение г-жи Граслен горячему сочувствию к его судьбе и отчасти любопытству. В это время на дорожке появилась направлявшаяся к ним старуха Совиа; Вероника замахала носовым платком и сказала с необычной для нее резкостью:

— Оставьте меня, матушка!

— Сударыня, — продолжал Фаррабеш, — десять лет я носил, — он указал на свою ногу, — железное кольцо с цепью, которая приковывала меня к другому человеку. В течение моего срока их сменилось трое. Спал я на голых досках. Чтобы получить тощий матрац, который называли там *блин*, нужно было работать сверх всяких сил. В каждом бараке было по восемьсот человек. На каждых нарах помещалось по двадцать четыре человека, скованных попарно. Каждый вечер и каждое утро цепь каждой пары нанизывалась на общую длинную цепь, так называемую *связку отбросов*, которая шла вдоль нар и связывала ноги всех каторжников. Два года не мог я привыкнуть к звону цепей, твердившему непрестанно: ты на каторге! Только уснешь, как кто-нибудь из товарищей по несчастью повернется или толкнет тебя и снова напомнит, где ты находишься. Нужно пройти целую науку, пока приладишься засыпать. В общем, я узнал сон, лишь когда дошел до полного изнеможения. Научившись спать, я мог по крайней мере забыться хотя бы ночью. А там, сударыня, забвение дороже всего! Человеку, раз уж он попал туда, приходится удовлетворять самые ничтожные свои потребности в порядке, установленном жесточайшими правилами. Судите сами, сударыня, как ужасна была такая жизнь для парня, жившего всегда в лесу, словно птица или дикая коза. Не просиди я раньше полгода один в четырех стенах тюремной камеры, то, несмотря на прекрасные слова господина Бонне, который был поистине отцом моей души, я бы бросился в море от одного вида своих товарищей. На воздухе, во время работы, еще куда ни шло. Но когда нас загоняли в барак для сна или для еды — а ели мы из общих мисок, по три пары на каждую миску, — я чувствовал, что умираю; свирепые лица и речи моих товарищей всегда внушали мне отвращение. К счастью, с пяти часов в летнее время и с половины восьмого зимними месяцами, невзирая на холод, ветер, жару или дождь, мы отправлялись *гнуть спину*, то есть работать. Бóльшая часть жизни проходит там на свежем воздухе, и как хорошо дышится, когда выходишь из барака, в котором набито восемьсот человек! А воздух там, заметьте, морской. Тебя обдувают бризы, греет солнце, смотришь на проплывающие облака, любуешься прекрасным днем. А мне еще и нравилась моя работа.

Фаррабеш остановился, увидев две крупные слезы, пробежавшие по щекам Вероники.

— О сударыня, я ведь рассказывал вам только о розах этого существования! — воскликнул он, подумав, что печаль г-жи Граслен вызвана его рассказом. — Все жестокие меры предосторожности, которые принимает государство, непрестанная слежка со стороны надзирателей, проверка кандалов каждый вечер и каждое утро, грубая пища, отвратительная, унижающая вас одежда, неудобства, мешающие сну, гром четырех сотен кандалов в гулком помещении, угроза расстрела, если каким-нибудь негодяям взбредет на ум взбунтоваться, — все это еще ничего: это еще розы, как я уже сказал вам. Если попадет туда, по несчастью, какой-нибудь буржуа, он долго не выдержит. Все время быть прикованным к другому человеку! Терпеть близость пяти каторжников во время еды и двадцати трех — во время сна, слушать их разговоры! В этом обществе, сударыня, действуют свои тайные законы; попробуйте не подчиниться им — вас убьют; но если подчинитесь, вы будете убийцей! Надо стать или палачом, или жертвой!

В конце концов, убей они тебя сразу, ты избавился бы от этой жизни. Но они мастера злодейства, от ненависти этих людей уйти невозможно. Они пользуются полной властью над неугодным им каторжником и могут превратить его жизнь в непрерывную пытку, которая страшнее смерти.

Человек, который раскаялся и хочет хорошо вести себя, — общий враг. Прежде всего его начинают подозревать в предательстве. За предательство карают смертью по малейшему подозрению. В каждом бараке есть свой трибунал, который судит преступления, совершенные против общества. Не подчиняться обычаям каторги преступно, и человек в таком случае подлежит суду. Например, все должны содействовать каждому побегу; если каторжник назначил час для побега, то в этот час вся каторга должна оказывать ему помощь и покровительство. Раскрыть, что кто-нибудь готовится к бегству, — преступление.

Я не стану рассказывать вам об ужасных нравах каторги; там, буквально, не принадлежишь сам себе. Начальники, стараясь предупредить попытки к бегству или к бунту, превращают кандалы в пытку и вовсе невыносимую: они сковывают одной цепью людей, которые друг к другу относятся с ненавистью или с недоверием.

— Как же вы выходили из положения? — спросила г-жа Граслен.

— О, мне повезло, — ответил Фаррабеш, — мне ни разу не выпал жребий убить другого заключенного, я ни разу не подавал голоса за чью бы то ни было смерть, меня никогда никто не наказывал и не ненавидел, и я ладил со всеми тремя сменявшимися товарищами по цепи, все они меня любили и боялись. Дело в том, сударыня, что слух обо мне дошел до каторги раньше, чем я туда прибыл. Поджариватель! Ведь я слыл одним из этих разбойников. Я видел, как поджаривают, — почти шепотом продолжал после паузы Фаррабеш, — но сам я всегда отказывался и поджаривать и получать награбленные деньги. Я скрывался от рекрутского набора, и только. Я помогал приятелям, я наводил их на след, сражался, стоял настороже или прикрывал отступление. Но если я и проливал человеческую кровь, то только защищая свою жизнь. Ах! Я все рассказал господину Бонне и своему адвокату, мои судьи хорошо знали, что я не убийца! Но все же я великий преступник, все мои дела были нарушением закона. Двое из моих приятелей рассказали на каторге, что я человек, способный на все. А на каторге, сударыня, такая репутация дороже денег. В этой республике несчастных убийство заменяет паспорт. Я не стал опровергать сложившееся обо мне мнение. Я был мрачен и подавлен; в выражении моего лица нетрудно обмануться, и многие обманывались. Мой нелюдимый нрав, моя молчаливость были приняты за признаки свирепости. Все — каторжники и надзиратели, старые и молодые, — уважали меня. Я был старостой своего барака, Никто не нарушал мой сон, и никогда меня не подозревали в предательстве. Согласно их правилам, я вел себя честно: никогда не отказывал в помощи, не проявлял ни к чему отвращения — одним словом, внешне я выл с волками по-волчьи, а в глубине души молился богу. Последним моим товарищем по цепи был двадцатидвухлетний солдат. Он совершил кражу и из-за этого дезертировал. Мы провели вместе четыре года и стали друзьями; я уверен, что когда он выйдет на волю, то больше не собьется с пути. Бедняга Гепен не был злодеем, он просто легкомысленный малый, за десять лет он научится уму-разуму. О, если бы мои приятели знали, что я покоряюсь своей участи из религиозных убеждений, что по истечении срока я собираюсь поселиться в укромном месте, позабыть весь этот ужасный сброд и никому из них не попадаться больше на глаза, они, наверное, довели бы меня до сумасшествия!

— Но в таком случае, если бедного и чувствительного молодого человека, увлеченного страстью, приговорят к смертной казни, а потом помилуют...

— О сударыня, для убийц нет полного помилования! Прежде всего казнь заменят двадцатью годами каторги. А если речь идет о чистом юноше, это страшно! Вы не можете и вообразить себе, какая жизнь его ожидает. Лучше сто раз умереть! Да смерть на эшафоте была бы для него счастьем!

— Я не смею так думать, — проговорила г-жа Граслен.

Вероника побледнела, как воск. Чтобы спрятать лицо, она оперлась лбом о балюстраду и несколько минут просидела, не шелохнувшись. Фаррабеш не знал, уходить ли ему или оставаться, но тут г-жа Граслен величаво поднялась, посмотрела на Фаррабеша и, к его изумлению, сказала голосом, проникшим ему в самое сердце:

— Спасибо, друг мой! — Помолчав, она добавила: — Но откуда бралось у вас мужество жить и страдать?

— Ах, сударыня, этим сокровищем наделил мою душу господин Бонне! Потому-то я и люблю его больше всех на свете.

— Больше, чем Катрин? — опросила г-жа Граслен, улыбнувшись с некоторой горечью.

— Ах, сударыня, почти так же.

— Как же он этого добился?

— Голос и слова этого человека покорили меня, сударыня. Катрин проводила его до той пещеры, которую я вам показывал, и он один пришел ко мне. Он новый священник, сказал мне господин Бонне, а я его прихожанин, он любит меня и знает, что я только сбился с пути, но не погиб; он хочет не предать меня, а спасти; одним словом, каждое его слово трогало меня до глубины души! И, видите ли, сударыня, этот человек приказывает вам творить добро с не меньшей силой, чем те, кто заставлял вас приносить зло. Тут он сказал мне, что Катрин готовится стать матерью, значит, я обрекаю два человеческих создания на позор и одиночество! «Что ж, — сказал я ему, — и у них, как у меня, нет будущего». Он ответил, что я готовлю себе два ужасных будущих — на том и на этом свете, — если буду упорствовать в своей дурной жизни. Здесь я умру на эшафоте. Если меня схватят, защищать меня перед судом будет бесполезно. И, напротив, если я воспользуюсь снисходительностью нового правительства в делах, касающихся рекрутского набора, если я сам отдамся в руки правосудия, он приложит все силы, чтобы спасти мне жизнь: он найдет хорошего адвоката, и тот добьется, чтобы приговор не превышал десяти лет каторжных работ. Потом господин Бонне заговорил об иной жизни. Катрин рыдала, как Магдалина. Знаете, сударыня, — Фаррабеш показал на свою правую руку, — она лежала лицом на этой руке, и вся рука у меня была мокрой от слез. Она умоляла меня жить! Господин кюре обещал мирную, спокойную жизнь и мне и моему ребенку здесь, на родине, и ручался, что убережет меня от оскорблений. Наконец, он наставил меня в вере божьей, как малое дитя. После трех ночных посещений я стал мягче воска в его руках. Знаете ли, почему, сударыня?

Тут Фаррабеш и г-жа Граслен посмотрели друг на друга, каждый стараясь скрыть свое любопытство.

— Так вот, — продолжал бывший каторжник, — когда после первой встречи Катрин пошла провожать его, я остался один. Я почувствовал, что душу мою охватили ясность, покой и кротость, каких я не помнил с самого детства. Это похоже было на счастье, которым дарила меня бедняжка Катрин. Любовь этого превосходного человека, его забота обо мне, о моем будущем, о моей душе — все это изменило, переродило меня. Во мне словно все осветилось. Пока он говорил со мной, я сопротивлялся. Чего же вы хотите? Он был священником, а мы, бандиты, с ними никаких дел не имели. Но когда затихли шаги его и Катрин, меня — он объяснил это мне через два дня — осенила благодать. Отныне бог дал мне силы, чтобы вынести все: тюрьму, суд, оковы, отправку, жизнь на каторге. Я поверил его словам, как Евангелию; я считал, что страданиями оплачиваю свой долг. Когда я страдал слишком жестоко, я воображал себе, как через десять лет увижу этот домик в лесу, маленького Бенжамена и Катрин. Господин Бонне сдержал свое слово. Но одного человека здесь не хватает. Катрин не ждала меня ни у выхода с каторги, ни в моей пещере. Она, должно быть, умерла с горя. Вот почему я всегда так печален. Теперь благодаря вам я смогу работать на пользу людям и отдам этому все силы вместе с моим сыном, ради которого я живу.

— Теперь я поняла, как удалось господину кюре переродить всю общину...

— Ему никто не может противиться, — ответил Фаррабеш.

— Да, да, это я знаю, — отрывисто произнесла Вероника и знаком попрощалась с Фаррабешем.

Фаррабеш удалился. Весь день Вероника ходила по террасе, несмотря на мелкий дождик, моросивший до самого вечера. Она была мрачна. Когда лицо ее принимало такое выражение, ни мать, ни Алина не решались к ней подойти. В наступающих сумерках Вероника не видела, как пришла ее мать вместе с г-ном Бонне; священник решил прервать этот приступ мучительной печали, прислав к Веронике сына. Франсис взял мать за руку, и она покорно пошла за ним. При виде г-на Бонне у Вероники вырвался жест удивления, и чуть ли не испуга. Кюре прошелся с ней вдоль террасы и спросил:

— О чем же, сударыня, вы беседовали с Фаррабешем?

Веронике не хотелось лгать, вместо ответа она спросила у г-на Бонне:

— Этот человек был первой вашей победой?

— Да, — ответил он, — я полагал, что, завоевав его душу, я завоюю весь Монтеньяк, и не ошибся.

Вероника сжала руку г-на Бонне и сказала дрожащим от слез голосом:

— С сегодняшнего дня я готовлюсь к покаянию, господин кюре. Завтра я приду к вам исповедоваться.

Последние слова говорили об огромном внутреннем усилии, о нелегкой победе, которую одержала над собой эта женщина. Кюре молча проводил ее в замок и остался с ней до самого обеда, беседуя о будущих усовершенствованиях Монтеньяка.

— В сельском хозяйстве, — говорил он, — все зависит от времени. По моему скромному разумению, особенно важно хорошо использовать зиму. Вот-вот начнутся дожди, скоро горы покроются снегом, и тогда руки у вас будут связаны. Торопите же господина Гростета.

Постепенно г-н Бонне вовлек Веронику в разговор, она оживилась и после его ухода почти оправилась от утренних волнений. Все же старуха Совиа сочла, что дочь слишком возбуждена, и осталась ночевать в ее комнате.

На третий день из Лиможа прибыл нарочный, посланный г-ном Гростетом, и вручил г-же Граслен следующие письма:

Госпоже Граслен.

«Дорогое дитя мое, как ни трудно было разыскать для вас верховых лошадей, надеюсь, я все же угодил вам. Если вам понадобятся упряжные или рабочие лошади, придется добывать их где-нибудь в других местах. Вообще же для работ и перевозок лучше пользоваться волами. Повсюду, где сельские работы производятся с помощью лошадей, хозяин теряет капитал, когда лошадь приходит в негодность, волы же приносят земледельцу не убыток, а прибыль.

Я полностью одобряю ваш замысел, дитя мое: вы направите на него ту жажду деятельности, которая терзает вашу душу и, не находя себе выхода, может погубить вас.

Но, признаюсь, когда, кроме лошадей, вы попросили меня найти человека, который мог бы вам помочь и, главное, был бы способен понять вас, я подумал, что подобных диковин мы у себя в провинции не выращиваем и, во всяком случае, не храним. Выведение такой высокой породы — дело, требующее слишком долгого времени и слишком рискованное, чтобы мы занялись им. К тому же люди, наделенные выдающимся умом, нас пугают, мы называем их «чудаками». И, наконец, особы, принадлежащие к ученому миру, где вы и хотите подыскать себе сотрудника, обычно так рассудительны и степенны, что я боялся даже писать вам, насколько мне кажется невозможной подобная находка. Вы требуете от меня поэта или, пожалуй, безумца, но все наши безумцы бегут в Париж. Я говорил о ваших намерениях с молодыми чиновниками, землемерами, с подрядчиками земельных работ, с десятниками, работавшими на строительстве каналов, и никто не нашел никакой *выгоды* в вашем предложении. Как вдруг случай привел мне прямо в руки человека, которого вы ищете. Юноше этому я в свое время помог, так мне по крайней мере казалось. Ибо из его письма вы увидите, что благодеяния никогда не следует оказывать необдуманно. Самых больших размышлений требует именно доброе дело. Никогда не знаешь, не обернется ли злом то, что сейчас тебе кажется добром. Заниматься благотворительностью, теперь я это понял, означает брать на себя роль судьбы...»

Прочтя эту фразу, г-жа Граслен уронила письмо на колени и глубоко задумалась.

— Господи, — прошептала она, — когда же перестанешь ты наносить мне удары со всех сторон? — И, собрав листки, она продолжала чтение.

«У Жерара, как мне кажется, холодная голова и горячее сердце, такой человек вам и нужен. Париж сейчас взбудоражен новыми учениями. Хорошо, если этот юноша не попадет в одну из ловушек, расставленных честолюбцами перед благородной французской молодежью. Я ничуть не одобряю умственного отупения провинциальной жизни, но еще меньше меня привлекает кипучая жизнь Парижа, эта страсть к новшествам, толкающая молодых людей на неизведанные пути. Убеждения мои известны только вам: по моему мнению, мир нравственный вертится вокруг своей оси так же, как мир материальный. Бедный мой протеже требует невозможного. Ни одна власть не устоит перед столь пылкими, настойчивыми и абсолютными притязаниями. Я сторонник малых дел, постепенности в политике, и меня не привлекают социальные преобразования, которые хотят нам навязать все эти великие умы. Я поверяю вам эти мысли неисправимого старого монархиста, зная вашу скромность! Но здесь, среди этих молодцов, которые чем дальше заходят, тем больше верят в прогресс, я молчу, хотя и страдаю, видя, какое непоправимое зло они причинили уже дорогой нашей родине.

Итак, я ответил этому молодому человеку, что его ждет достойная задача. Он приедет к вам; и хотя письмо, которое я прилагаю, позволит вам судить о нем, вы постараетесь познакомиться с ним поближе, не правда ли? Вы, женщины, умеете распознавать людей. К тому же каждый человек, даже самый безразличный, чьими услугами вы пользуетесь, должен вам нравиться. Если он вам не подходит, вы можете отказать ему, но если он вам подойдет, дорогое дитя, излечите его от плохо скрытого честолюбия, заставьте его полюбить счастливую, тихую жизнь полей, где добро творится непрестанно, где все качества высокой и сильной души найдут себе постоянное применение, где каждый день в естественном производстве благ находишь повод для восторга, а в подлинном прогрессе и истинных усовершенствованиях — занятие, достойное человека.

Я отлично знаю, что великие идеи порождают великие действия, но поскольку подобные идеи крайне редки, я полагаю, что человеческие поступки обычно важнее идей. Тот, кто обрабатывает невозделанную почву, кто улучшает фруктовые деревья и засевает травой бесплодную землю, намного выше тех, кто ищет общих формул на благо человечеству. Изменило ли хоть в чем-нибудь открытие Ньютона участь обитателей деревни? О дорогая моя! Я всегда вас любил; но теперь, когда я понял, что вы собираетесь сделать, я боготворю вас.

В Лиможе все вас помнят, все восхищаются вашим великим решением возродить Монтеньяк. Согласитесь, мы все же способны преклоняться перед истинно прекрасным, и не забывайте, что первый ваш поклонник вместе с тем и первый ваш друг.

Ф. Гростет ».

Жерару Гростету.

«Я собираюсь, сударь, сделать вам печальные признания; вы заменили мне отца, хотя могли быть всего лишь покровителем. Поэтому только вам одному, вам, кто сделал меня таким, каков я есть, могу я открыть душу. Я поражен жестокой болезнью, и к тому же болезнью духовной: в душе моей возникли чувства, а в голове — мысли, которые делают меня совершенно неспособным оправдать ожидания государства и общества. Быть может, вам покажется это актом неблагодарности, а это просто обвинительный акт.

Когда мне было двенадцать лет, вы, великодушный мой крестный отец, распознали в сыне простого рабочего известные способности к точным наукам и рано проявившееся желание выбиться в люди. Вы поддержали мое стремление в высшие сферы, хотя на роду мне написано было навсегда остаться плотником, как мой бедный отец, который так и не успел при жизни порадоваться моим успехам. Без сомнения, сударь, вы поступили хорошо, и не проходит дня, чтобы я не благословлял вас. Должно быть, во всем виноват я сам. Но прав ли я, ошибаюсь ли, все равно я страдаю. Не правда ли, я ставлю вас очень высоко, обращая к вам свои жалобы, призывая вас вместо бога быть высшим судьей? Но, так или иначе, я отдаю себя на ваш милосердный суд.

С шестнадцати до восемнадцати лет я с таким увлечением отдавался изучению точных наук, что, как вы знаете, довел себя до болезни. Будущее мое зависело от того, попаду ли я в Политехническую школу. К этому времени занятия чрезмерно переутомили мой мозг: я едва не умер, я работал днем и ночью, я работал, вероятно, больше, чем позволяла природа моих органов. Я стремился сдать экзамен настолько хорошо, чтобы место в Школе мне было обеспечено и дало бы мне право на получение стипендии; я хотел избавить вас от расходов. Я добился победы! Я содрогаюсь теперь при мысли о чудовищном рекрутском наборе умов, поставляемых государству семейным честолюбием; непосильные занятия в ту пору, когда юноша только завершает свое развитие, могут привести к неведомым бедам, убивая при свете ламп драгоценные способности, которым позднее суждено было бы раскрыться во всем величии и блеске. Законы природы беспощадны, они не хотят ничего уступить намерениям или желаниям общества. В сфере нравственной, так же как в сфере природы, за каждое злоупотребление надо платить. Фрукты, созревающие раньше времени в жаркой оранжерее, поспевают за счет либо самого дерева, либо — качества его плодов. Ла Кентини[[24]](#footnote-24) убивал апельсиновые деревья ради того, чтобы каждое утро, в любой сезон, подносить цветы Людовику XIV. То же происходит и с интеллектом. Непосильный труд, которого требуют от неокрепшего мозга, наносит ущерб его будущему.

Нашей эпохе не хватает духа законодательства. В Европе не было подлинных законодателей после Иисуса Христа, который, не создав своего свода законов, оставил дело свое незавершенным. Итак, прежде чем создавать специальные школы и устанавливать порядок набора в них, обратились ли к великим мыслителям, способным охватить всю совокупность отношений между подобными институтами и человеческими силами, взвесить при этом все выгоды и неудобства, изучить в прошлом законы, полезные для будущего? Справились ли о судьбе тех исключительных натур, которые по роковой случайности овладели науками раньше времени? Сосчитали, как мало их было? Поинтересовались ли их концом? Изучили, каким образом удавалось им поддерживать в постоянном напряжении свою мысль? Сколько из них, подобно Паскалю, безвременно скончалось, отдав все силы науке? Разузнали, в каком возрасте начали свои занятия те, кто прожил долго? Известно ли было тогда, известно ли сейчас, когда я пишу эти строки, каково внутреннее строение мозга, способного выдержать в юности натиск человеческих познаний? Подозревают ли, что вопрос этот прежде всего относится к физиологии человека?

Сам я сейчас думаю, что главное правило состоит в том, чтобы не нарушать растительную жизнь отрочества. Исключительные случаи полного развития всех органов человека в отрочестве в большинстве своем кончаются преждевременной смертью. Таким образом, гений, который противится раннему проявлению своих способностей, является исключением в ряду исключений. Если признать, что я не расхожусь с социальными фактами и медицинскими наблюдениями, то принятый во Франции способ комплектования специальных школ причиняет такие же увечья, как способ Ла Кентини, но увечит при этом лучших представителей каждого поколения.

Однако продолжаю свой рассказ и о сомнениях моих буду говорить лишь в связи с сообщаемыми фактами. Поступив в Школу, я продолжал работать с еще большим рвением, желая закончить обучение так же победоносно, как начал. С девятнадцати лет до двадцати одного года я расширял свои познания и постоянными упражнениями развивал свои способности. Эти два года достойно увенчали три предыдущих, когда я только готовился к настоящим занятиям. Какова же была моя гордость, когда я получил право выбирать самому наиболее привлекающее меня поприще: военное или морское дело, артиллерию или главный штаб, горное дело или дорожное ведомство. По вашему совету я избрал дорожное ведомство. Но сколько юношей потерпели поражение там, где я победил! Знаете ли вы, что год от году государство предъявляет все более строгие научные требования к Школе и учиться там становится все труднее и мучительнее? Моя подготовительная работа не шла ни в какое сравнение с лихорадочными занятиями в Школе, задавшейся целью вбить в головы молодых людей, возрастом от девятнадцати до двадцати одного года, совокупность физических, математических, астрономических и химических наук со всей их терминологией. Государство, которое во Франции как будто собирается во многом заменить отцовскую власть, лишено отцовских чувств; оно творит свои опыты in anima vili[[25]](#footnote-25). Никогда не задумывалось оно над ужасной статистикой причиненных им страданий; ни разу за тридцать шесть лет не осведомилось оно о случаях воспаления мозга, о приступах отчаяния, терзающих эту молодежь, о ее нравственном разрушении. Я указываю вам на эту больную сторону вопроса, ибо в ней одна из причин окончательного результата. Некоторые слабые головы приходят к этому результату раньше других. Вам известно, что молодые люди, которые медленно усваивают знания или слишком легко переутомляются, могут оставаться в Школе три года вместо двух, но в таких случаях всегда высказывается нелестное для них сомнение в их способностях. И, наконец, многие молодые люди, которым впоследствии случается проявить выдающиеся таланты, могут окончить Школу, но не получить места, так как не показали на заключительном экзамене достаточных знаний. Их называют *пустоцветами*, — Наполеон зачислял этих юношей в младшие лейтенанты! Слово *пустоцвет* означает огромный ущерб для семьи и потерянное время для пострадавшего.

Но в конце концов я-то вышел победителем! В двадцать один год я владел математической наукой в тех пределах, до каких довели ее многие гениальные люди, и горел нетерпением отличиться, продолжая их дело. Желание это настолько естественно, что почти все ученики, выходя из Школы, устремляют свой взор на сияющее солнце славы! Все мы мечтали стать Ньютонами, Лапласами или Вобанами. Вот чего требует Франция от молодых людей, кончающих эту знаменитую Школу!

Посмотрим же, какова судьба этих людей, с такой тщательностью отобранных из целого поколения. В двадцать один год вся жизнь овеяна мечтами, и от каждого дня ждешь чуда. Я поступил в Школу строительства мостов и дорог в качестве ученика-инженера. Вы помните, с каким жаром изучал я строительную науку! Я окончил Школу в 1826 году, двадцати четырех лет от роду, и стал всего лишь инженером-дипломантом; государство платило мне сто пятьдесят франков в месяц. Любой парижский конторщик получает в восемнадцать лет столько же, работая не больше четырех часов в день. Мне выпала неслыханная удача, возможно, благодаря отличию, полученному за успешные занятия: в 1828 году, когда мне исполнилось двадцать пять лет, я получил место ординарного инженера. Меня послали, как вы знаете, в одну из супрефектур, положив жалованье в две с половиной тысячи франков. Дело тут не в деньгах. Разумеется, для сына плотника участь моя блестяща; но есть ли хоть один мальчишка из бакалейной лавки, который, начав карьеру в шестнадцать лет, к двадцати шести годам не окажется на верном пути к независимому положению?

Теперь я узнал, для чего нужно было то страшное умственное напряжение, те гигантские усилия, которых требовало от нас государство. Государство поручило мне считать и промерять вымощенные участки или кучи булыжника на дорогах. Я должен был поддерживать, ремонтировать, а иногда и строить желоба для стока воды, а также дорожные мостики, следить за обочинами, чистить или рыть канавы. В своем кабинете я отвечал на запросы, касающиеся разметки, посадки или вырубки леса. Таковы основные, а часто и единственные обязанности ординарного инженера, если не считать кое-каких работ по нивелировке, которые мы обязаны проделывать лично, хотя любой из наших десятников, пользуясь только своим опытом, сделает это гораздо лучше нас, несмотря на все наши знания. Ординарных инженеров или инженеров-учеников в общей сложности около четырехсот, а так как главных инженеров всего лишь сто с лишним, то далеко не все ординарные инженеры могут рассчитывать на высшую должность. К тому же главным инженерам продвигаться дальше некуда; выше них существует лишь двенадцать или пятнадцать мест генеральных или окружных инспекторов — должность почти столь же бесполезная в нашей области, как должность полковника в артиллерии, где основной единицей является батарея. Ординарный инженер, так же, как артиллерийский капитан, владеет всеми нужными знаниями; над ним должно стоять только одно административное лицо, которое связывало бы всех восемьдесят шесть инженеров с государством, ибо для каждого департамента достаточно одного инженера и двух помощников.

Иерархия, установленная в подобных ведомствах, приводит лишь к тому, что деятельные умы подчиняются престарелым деятелям с угасающими умственными способностями, которые, полагая, что улучшают дело, обычно только портят или искажают все представленные им проекты, быть может, с единственной целью доказать необходимость своего существования. Мне кажется, именно такую роль играет в выполнении общественных работ во Франции Генеральный совет дорожного ведомства.

Предположим тем не менее, что между тридцатью и сорока годами я стану инженером первого класса, а затем, даже не достигнув пятидесяти лет, — главным инженером. Увы! Я вижу ясно всю мою будущую жизнь. Моему главному инженеру шестьдесят лет; как и я, он с честью закончил нашу знаменитую Школу; он поседел, проделывая в двух департаментах все, что делаю я, и превратился в самого заурядного человека, какого только можно себе представить. Он упал с высоты, на которую поднялся; более того, он не стоит на уровне науки: наука ушла вперед, он остался на месте; еще того хуже, он позабыл даже то, что знал! Человек, в двадцать два года обладавший выдающимися качествами, сохранил лишь их видимость. Кроме того, занимаясь только математикой и точными науками, он пренебрегал всем, что было не *по его части*. Вы и представить себе не можете, до чего доходит его невежество в других областях человеческих знаний. Расчеты иссушили его сердце и мозг. Только вам я могу доверить тайну полного его ничтожества, прикрытого авторитетом Политехнической школы. Этот ярлык внушает уважение, и, доверяясь предрассудку, никто не смеет усомниться в пригодности главного инженера. Вам одному я скажу, что из-за того, что угасли его способности, он истратил на одно дело в нашем департаменте миллион вместо двухсот тысяч франков Я хотел протестовать, хотел доложить префекту. Но мой друг, инженер, напомнил мне об одном из наших товарищей, которого после подобного случая возненавидело начальство. «А когда ты сам будешь главным инженером, тебе понравится, если подчиненные станут раскрывать твои ошибки? — спросил он. — Твоего главного инженера сделают окружным инспектором и все тут. Как только кто-нибудь из наших попадается на серьезной ошибке, управление, которое никогда не должно ошибаться, переводит его с действительной службы в инспектора». Вот каким образом награда, предназначенная таланту, достается ничтожеству. Вся Франция была свидетельницей бедствия, постигшего в самом сердце Парижа первый висячий мост[[26]](#footnote-26), возведенный инженером, членом Академии наук. Печальная катастрофа была вызвана ошибками, которых не совершил бы ни строитель Бриэрского канала во времена Генриха IV, ни монах, построивший Королевский мест. Управление утешило инженера, назначив его членом Генерального совета.

Итак, не следует ли отсюда, что специальные Школы являются огромными фабриками бездарностей? Эта тема требует долгих размышлений. Если я прав, то необходима реформа по крайней мере в методах обучения, ибо я не смею ставить под сомнение полезность самих Школ. Однако, заглянув в прошлое, мы увидим, что никогда Франция не знала недостатка в великих талантах, нужных государству. Зачем же сейчас хочет она выращивать их по способу Монжа[[27]](#footnote-27)? Знал ли Вобан[[28]](#footnote-28) другую школу, кроме великой школы, называемой призванием? Кто был учителем Рике[[29]](#footnote-29)? Если гении возникают из социальной среды, повинуясь своему призванию, они почти всегда совершенны; человек тогда является не только специалистом, он наделен даром универсальности. Не думаю, чтобы инженер, вышедший из стен нашей Школы, мог когда-либо построить одно из тех чудес архитектуры, какие воздвигал Леонардо да Винчи — механик, архитектор, художник, один из изобретателей гидравлики, неутомимый строитель каналов. Приученные с юных лет к абсолютной простоте теорем, молодые люди, кончающие Школу, теряют чувство изящного и прекрасного; колонна им кажется бесполезной, и, упорно придерживаясь принципа полезности, они возвращаются к младенческим дням искусства.

Но все это ничто по сравнению с болезнью, которая терзает меня! Я чувствую, как совершается во мне ужасная перемена; я чувствую, как иссякают мои силы и мои способности, сдав после чрезмерного напряжения. Проза жизни одолевает меня. Всеми силами я стремился к великим делам, а теперь лицом к лицу столкнулся с мелочами: проверяю булыжные мостовые, осматриваю дороги, определяю, в каком состоянии материалы. Я занят не более двух часов в день. Мои коллеги женятся, впадают в состояние, противоречащее духу современного общества. Быть может, честолюбие мое непомерно велико? Я хочу быть полезен моей стране. Страна потребовала от меня мощных усилий, велела мне овладеть всеми знаниями, а я буду сидеть сложа руки в глубокой провинции? Мне не дозволено преступать пределы отведенного мне места или упражнять мои способности, разрабатывая какой-нибудь полезный проект. Скрытая, но ощутимая немилость — вот верная награда тому из нас, кто, уступив своему вдохновению, выйдет за рамки, поставленные ему службой. В таком случае единственная милость, на которую может надеяться выдающийся человек, — это забвение его таланта, его дерзости и погребение его проекта в папках дирекции. Какая награда ждет Вика, единственного из нас, кто действительно двинул вперед практическую науку строительства? Генеральный совет дорожного ведомства, состоящий из людей, изношенных долгой, иногда даже почетной службой, людей, которые теперь способны только на отрицание и зачеркивают все, чего не могут понять, — это настоящая петля, где гибнут проекты смелых умов. Этот Совет будто нарочно создан, чтобы парализовать действия нашей прекрасной молодежи, которая жаждет работы, которая хочет служить Франции! В Париже происходят чудовищные вещи: будущее провинции зависит от *визы* централизаторов, задерживающих при помощи интриг, о которых недосуг сейчас рассказывать, выполнение лучших планов; лучшими же являются те, что сулят наибольшие выгоды компаниям или предпринимателям и пресекают или устраняют злоупотребления. Но Злоупотребление во Франции всегда сильнее Улучшения. Пройдет еще пять лет, и я перестану быть самим собой, во мне угаснет честолюбие, угаснет благородное стремление приложить к делу способности, развития которых потребовала от меня родина, и они заглохнут в этом темном углу, где вынужден я жить. Даже при самых счастливых обстоятельствах меня ждет жалкое будущее. Я воспользовался отпуском и приехал в Париж. Я хочу изменить свое поприще, найти применение своей энергии, своим знаниям, своей деятельности. Я подам в отставку и поеду в края, где нужны люди со специальными знаниями и где они могут творить великие дела. Если все это невозможно, я примкну к одному из новых учений, которые призваны осуществить глубокие изменения в современном социальном порядке, правильно руководя работниками. А кто же мы, если не работники, лишенные труда, не орудия, валяющиеся на складе? Мы способны перевернуть земной шар, а нам нечего делать. Я чувствую в себе великие силы, но они распыляются, они гибнут, я предсказываю это с математической точностью.

Прежде чем изменить свое жизненное положение, я хотел бы услышать ваше мнение. Я считаю себя как бы вашим сыном и никогда не сделаю важного шага, не посоветовавшись с вами, ибо опытность ваша равна вашей доброте. Я отлично понимаю, что государство, подготовив людей со специальными знаниями, не может затеять нарочно для них монументальные сооружения, — ему не нужны триста мостов в год. Государство не может начать строительство монументальных сооружений лишь для того, чтобы дать работу инженерам, так же как не может объявить войну, чтобы дать возможность великим полководцам проявить себя, выиграв сражение. Но во все времена не было недостатка в талантливых людях, когда того требовали обстоятельства; и если было достаточно золота и предстояли великие дела, то единственно нужный человек немедленно возникал из толпы. А так как, особенно в наших делах, достаточно одного Вобана, то ничто лучше не доказывает бесполезности Школ. Наконец, неужели никто не понимает, что, поощренные такой подготовкой, избранные люди без борьбы не дадут превратить себя в ничтожество? Неужели это разумная политика? Не значит ли это разжигать ненасытное честолюбие? Разве не обучались эти пылкие головы рассчитывать все, кроме собственной участи? Наконец, среди шестисот юношей есть исключения, сильные личности, которые сопротивляются умалению своего достоинства, и я их знаю. Но если бы я рассказал об их борьбе с людьми и существующими порядками, когда, вооруженные полезными проектами или планами, которым дано породить жизнь и богатство в прозябающих ныне провинциях, они встречают препятствия там, где государство мнило создать им помощь и поддержку, то все сочли бы человека сильного и талантливого, человека, самая природа которого уже есть чудо, гораздо более несчастным и достойным жалости, чем какая-нибудь неполноценная натура, покорно согласившаяся на угасание своих способностей. Вот почему я предпочитаю руководить коммерческим или промышленным предприятием, жить на гроши, пытаясь разрешить хоть одну из множества проблем, стоящих перед промышленностью или перед обществом, чем оставаться на своем нынешнем посту. Вы скажете, что в моем убежище ничто не мешает мне упражнять силы своего ума и искать в тиши обыденной жизни решения какой-нибудь проблемы, сулящей пользу человечеству. Ах, сударь! Разве не знаете вы воздействия провинциальной среды и развращающего влияния жизни, занятой ровно настолько, чтобы отнять все время на почти никчемные работы, и вместе с тем занятой недостаточно, чтобы приложить полученные нами богатые знания?

Не думайте, дорогой мой покровитель, что меня снедает жажда богатства или безрассудное стремление к славе. Я слишком трезво смотрю на вещи, чтобы не понять всю тщету славы. Жизнь, которую я веду, не вызывает во мне желания жениться, ибо, изведав доставшуюся мне участь, я не настолько ценю человеческое существование, чтобы сделать подобный печальный подарок своему второму я. И хотя я рассматриваю деньги как одно из самых могущественных средств, дающих члену общества возможность действовать, все же они лишь средство. Итак, единственную радость мне может дать уверенность в том, что я полезен моей стране. Величайшим наслаждением для меня была бы работа в области, подходящей к моим склонностям и знаниям. Если в ваших краях, среди ваших знакомых, в вашем кругу вы услышите о каком-нибудь предприятии, в котором могли бы пригодиться мои силы, дайте мне знать, в течение полугода я буду ждать вашего ответа. Мысли, которые я поверил вам, мой покровитель и друг, разделяют со мной и другие. Многие из моих товарищей, окончивших Политехническую школу, попались, как и я, в западню своей специальности: инженеры-географы, капитаны-преподаватели, которые наделены военным талантом, но, очевидно, останутся капитанами до конца дней своих и горько жалеют, что не перешли в действующую армию. И вот постепенно мы все пришли к признанию, что являемся жертвами длительной мистификации — мистификации, распознать которую нам удалось, когда поздно уже было от нее освободиться, когда лошадь уже слилась воедино с машиной, которую она вертит, когда больной притерпелся к своей болезни. Рассмотрев внимательно все эти печальные следствия, я поставил перед собой следующие вопросы, которые хочу сообщить вам, человеку умному, способному зрело их обдумать, не забывая, что вопросы эти — плод размышлений, очищенных огнем страдания.

Какую цель ставит себе государство? Хочет ли оно получить талантливых инженеров? Избранные им способы прямо противоречат цели. С их помощью оно, несомненно, создаст самую плоскую посредственность, какой только может пожелать правительство, которое боится выдающихся людей. Хочет ли государство открыть дорогу избранным умам? Оно уготовило им самое жалкое положение: нет ни одного человека, окончившего Школу, который между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами не пожалел бы о том, что он попался в ловушку, спрятанную за посулами государства. Может быть, государство хочет иметь своих гениев? Но какие же великие таланты после 1790 года вышли из специальных Школ? Не будь Наполеона, появился бы разве Кашен[[30]](#footnote-30), гению которого мы обязаны Шербургской плотиной? Деспотизм империи отличил его, конституционный режим предал его забвению. Много ли членов, вышедших из специальных Школ, насчитывает Академия наук? Быть может, двоих или троих! Талантливый человек всегда проявит свой талант и вне специальных Школ. В той области знаний, какой занимаются Школы, гений подчиняется лишь своим собственным законам, он развивается лишь в обстоятельствах, над которыми человек не властен: ни государство, ни наука о человеке, антропология, не могут их предвидеть. Рике, Перроне, Леонардо да Винчи, Палладио, Брунелески, Микеланджело, Браманте, Вобан, Вика обязаны своей гениальностью незаметным и глубоко скрытым причинам, которые мы называем случаем, — любимое слово глупцов. Никогда — со Школами или без них — не могло бы случиться, чтобы эти великие работники не ответили на зов своего века. Итак, добилось ли с помощью своей организации государство того, что общественно полезные работы стали выполняться лучше или дешевле? Прежде всего, частные предприятия отлично обходятся без инженеров; затем, работы, ведущиеся государством, всегда оказываются самыми дорогими, а особенно дорого стоит содержание огромного дорожного ведомства. И, наконец, в других странах, в Германии, в Англии, в Италии, где подобных учреждений не существует, аналогичные работы производятся по крайней мере так же хорошо, но зато гораздо дешевле, чем во Франции. Последние три страны известны новыми полезными изобретениями в этой области. Я знаю, что вошло в моду, говоря о наших Школах, повторять, будто Европа нам завидует; но почему-то Европа, наблюдая нас в течение пятнадцати лет, не попыталась создать у себя подобные Школы. Англия, особенно искусная в расчетах, учредила превосходные Школы для рабочего населения, откуда выходят практические люди, мгновенно вырастающие, когда от практики они переходят к теории. Стефенсон[[31]](#footnote-31) и Мак-Адам[[32]](#footnote-32) не кончали наших знаменитых Школ. Да и зачем это им? Когда молодые способные инженеры, полные огня и благородных стремлений, в начале своей карьеры разрешили задачу содержания дорог во Франции, которые требуют сотен миллионов каждые четверть века и находятся в совершенно плачевном состоянии, то напрасно публиковали они ученые статьи и докладные записки; все гибло в пучине Главного управления, этого парижского центра, куда попадает все, но откуда ничего не выходит, где старики завидуют молодым, где высокие посты служат прибежищем для старых инженеров, уже неспособных работать. Вот так-то и получается, что, имея целое ученое ведомство, раскинувшееся по всей Франции, которое, являясь частью административной машины, должно было бы в своей области направлять и просвещать страну, мы все еще будем спорить о железных дорогах, когда другие страны их уже построят. Однако если суждено когда-либо Франции доказать превосходство института специальных Школ, то именно сейчас, в великолепную пору расцвета общественных работ, предназначенных переделать облик государств и продлить человеческую жизнь, изменив законы пространства и времени. Бельгия, Соединенные Штаты, Германия, Англия, у которых нет политехнических школ, покроются сетью железных дорог, пока наши инженеры будут только намечать свои планы, пока бесчестные интересы, скрывающиеся за каждым проектом, будут мешать их выполнению. Во Франции нельзя положить ни один камень без того, чтобы десяток парижских бумажных душ не настрочили глупых и бесполезных докладов. Итак, что касается государства, оно не извлекает никакой выгоды из своих специальных Школ; что касается самих инженеров, то положение их незавидно, и вся их жизнь оказывается жестоким разочарованием. Однако способности, которые проявляет ученик в возрасте от шестнадцати до двадцати шести лет, доказывают, что, если предоставить его собственной судьбе, он создал бы себе более достойное и высокое положение, чем то, на какое обрекло его государство. Каждый из этих избранных, будь он коммерсантом, ученым или военным, мог бы действовать в широкой сфере, если бы его драгоценные способности, его горячее рвение не были бы преждевременно и бессмысленно истощены. В чем же прогресс? И государство и человек, несомненно, проигрывают при существующей системе. Разве не требует полувековой опыт изменения в устройстве наших Школ! Какая священная власть отбирает из каждого поколения Франции тех людей, кому суждено стать ученой частью нации? Чем только не должны были бы заниматься эти верховные жрецы судьбы? Математика, может быть, не так нужна им, как физиология. Не кажется ли вам, что им пригодилось бы ясновидение, делающее чародеями всех великих людей? Экзаменаторы состоят из старых профессоров, людей почтенных и поседевших в трудах, чья миссия ограничивается отбором людей с наилучшей памятью; они выполняют лишь то, что с них спрашивают. А между тем их деятельность должна бы стать самой почетной в государстве и предполагает наличие качеств необыкновенных. Не думайте, покровитель и друг мой, что порицание мое касается только Школы, которую я окончил, оно направлено не только на самое учреждение, но также, и главным образом, на способ зачисления в него учеников. Таким способом является *конкурс* — новейшее и до крайности вредное изобретение, вредное не только в науке, но и повсюду, где только оно применяется: в искусстве, в любом отборе людей, проектов или вещей. Если, к несчастью для наших хваленых Школ, они выдвинули не больше выдающихся деятелей, нежели любое собрание молодых людей, то еще более постыдно, что первые большие премии академии не подарили нам ни одного великого художника, музыканта, архитектора или скульптора, равно как всеобщие выборы, вызвавшие наплыв посредственности, за двадцать лет не привели к власти ни одного великого государственного человека. Мои рассуждения относятся к ошибке, приносящей во Франции вред и воспитанию и политике. Ужасная эта ошибка основана на незнании следующего правила:

*Ничто, ни опыт, ни природа, не может дать уверенности в том, что умственные способности подростка сохранятся у взрослого человека.*

В настоящее время я связан со многими достойными людьми, которых заботят все нравственные недуги, снедающие Францию. Они, так же как я, признают, что таланты, которые фабрикует высшее образование, очень недолговечны, ибо они не находят себе применения и лишены будущего; что образование, получаемое в наших начальных школах, не дает государству ничего, потому что лишено веры и чувства. Вся наша система народного просвещения требует полного переустройства, и руководить им должен человек, обладающий глубокими знаниями и сильной волей, одаренный талантом законодателя, который в новые времена можно было встретить, пожалуй, только у Жан-Жака Руссо.

Быть может, избыток людей со специальным образованием следовало бы использовать в начальных школах, столь необходимых народу. У нас нет для просвещения народных масс достаточного количества терпеливых и преданных делу учителей. Пугающее количество нарушений закона и преступлений говорит о глубокой общественной язве; причина ее в том полуобразовании, какое дается народу и какое способно разрушить все общественные связи, ибо заставляет народ думать достаточно для того, чтобы отказаться от полезных для власти религиозных верований, но недостаточно для того, чтобы возвыситься до теории послушания и долга, являющейся последним словом трансцендентальной философии. Невозможно заставить всю нацию изучать Канта; поэтому народу нужнее вера и привычка, нежели умственные занятия и размышления. Если бы можно было начать жизнь сызнова, я, пожалуй, поступил бы в семинарию и стал простым сельским священником или учителем. Теперь я слишком далеко продвинулся по своему пути, чтобы быть только учителем начальной школы; к тому же я могу воздействовать на более широкий круг, чем одна школа или один приход. Я пытался примкнуть к сен-симонистам, но они избрали дорогу, по которой я не могу следовать за ними; однако, несмотря на свои ошибки, они коснулись многих болезненных ран, явившихся следствием нашего законодательства, ран, которые приведут Францию к глубокому нравственному и политическому кризису и не врачуются жалкими паллиативами.

Прощайте, сударь, примите заверения в моей почтительной и неизменной привязанности, которая, не взирая на все эти рассуждения, постоянно возрастает.

Грегуар Жерар ».

По старой привычке, присущей всем банкирам, Гростет тут же набросал на обороте письма ответ и сверху надписал сакраментальное слово: *отвечено*.

«Обсуждать замечания, заключенные в вашем письме, дорогой Жерар, тем более бесполезно, что по воле случая (пользуясь любимым словом глупцов) я собираюсь сделать вам предложение, которое вам поможет выбраться из беды. Госпожа Граслен — владелица монтеньякских лесов и совершенно бесплодного плато, простирающегося у подножия холмов, на которых раскинулись ее леса, — намерена извлечь доход из этих огромных владений, начав эксплуатацию лесов и возделав каменистые равнины. Для того, чтобы привести в исполнение это намерение, ей нужен человек ваших знаний и вашего рвения, который, подобно вам, соединял бы в себе бескорыстие с пониманием практической пользы. Немного денег и много работы! Огромный результат, достигнутый малыми средствами! Полное преобразование целого края! Открыть источник изобилия в самой обездоленной местности — не к этому ли вы стремились, вы, мечтающий создать поэму? Судя по искренности вашего письма, я могу без колебаний пригласить вас к себе в Лимож. Но, друг мой, повремените подавать в отставку. Испросите себе только отпуск, объяснив своему начальству, что хотите изучить некоторые специальные вопросы вне сферы работ, ведущихся государством. Тогда вы не потеряете своих прав и будете располагать временем, чтобы судить, выполнимо ли предприятие, задуманное монтеньякским кюре и одобренное госпожой Граслен. При личном свидании я объясню вам все выгоды, которые ждут вас в случае осуществления этих обширных преобразований.

Всегда можете рассчитывать на дружбу преданного вам

Гростета ».

Госпожа Граслен написала в ответ Гростету лишь несколько слов:

«Спасибо, друг мой, жду вашего протеже».

Показав письмо инженера г-ну Бонне, она сказала:

— Еще одна раненая душа, жаждущая исцеления!

Кюре прочел письмо раз и другой, молча прошелся по террасе и вернул его г-же Граслен со следующими словами:

— Это человек выдающийся, с прекрасной душой. Он говорит, что школы, созданные революционной мыслью, фабрикуют бездарностей. Я же называю их фабрикой неверующих, ибо господин Жерар если не атеист, то протестант...

— Мы спросим у него, — сказала Вероника, пораженная таким ответом.

Через две недели, несмотря на декабрьские холода, г-н Гростет приехал в монтеньякский замок, чтобы представить своего подопечного, которого с нетерпением ожидали Вероника и г-н Бонне.

— Нужно очень любить вас, дитя мое, — сказал старик, взяв Веронику за обе руки и целуя их с галантностью пожилых людей, которая никогда не оскорбляет женщину, — да, очень любить вас, чтобы покинуть Лимож в подобную погоду. Но я хотел сам преподнести вам в подарок господина Жерара. Вот он. Этот человек должен вам понравиться, господин Бонне, — добавил он, дружески приветствуя священника.

Внешность Жерара оказалась не очень привлекательна. Это был человек среднего роста, приземистый, с шеей, как бы втянутой в плечи, с рыжеватыми волосами, красными глазами альбиноса и почти белыми ресницами и бровями. Цвет лица у него, как у всех особей этого рода, отличался ослепительной белизной, но сильно пострадал от рябин, оставленных оспой; упорные занятия, очевидно, испортили ему зрение, и он носил темные очки. Сбросив грубый синий плащ, он остался в костюме, который никак не способствовал изяществу его облика. Небрежно надетая и застегнутая одежда, кое-как повязанный галстук, несвежая сорочка — все обличало неумение заботиться о себе, в котором упрекают людей науки, почти всегда очень рассеянных. Развитой торс при худобе ног, вся осанка Жерара указывали на некоторое физическое истощение, вызванное привычкой к размышлениям. Однако пылкая мысль и сильные чувства, о которых можно было судить по письму Жерара, озаряли его лоб, словно изваянный из каррарского мрамора. Казалось, природа избрала именно лоб, чтобы запечатлеть на нем величие, твердость духа и доброту этого человека. Нос у него, как у всех представителей гальского племени, был несколько приплюснут. Прямые, четкие очертания рта указывали на безупречную скромность и чувство меры; лицо его, утомленное постоянными занятиями, казалось постаревшим раньше времени.

— Мы прежде всего должны благодарить вас, сударь, — обратилась г-жа Граслен к инженеру, — за то, что вы согласились руководить работами в краю, который не может дать вам других радостей, кроме сознания содеянного добра.

— Сударыня, — ответил он, — господин Гростет столько рассказывал мне о вас во время пути, что я счастлив быть вам полезен, а будущая жизнь подле вас и господина Бонне меня как нельзя более привлекает. Если меня не изгонят из здешних мест, я хотел бы закончить тут мои дни.

— Мы постараемся сделать все, чтобы вы не изменили своих намерений, — улыбаясь, сказала г-жа Граслен.

— А вот и бумаги, которые передал мне главный прокурор, — сказал Гростет Веронике, отводя ее в сторону. — Он был очень удивлен, что вы не обратились непосредственно к нему. Все, о чем вы просили, было исполнено очень быстро и охотно. Прежде всего ваш подопечный будет восстановлен во всех гражданских правах, а через три месяца вам доставят Катрин Кюрье.

— Где же она? — спросила Вероника.

— В больнице святого Людовика, — ответил старик. — Пока она не выздоровеет, ей нельзя уехать из Парижа.

— Ах, бедная девушка больна?

— Здесь вы найдете все интересующие вас сведения, — сказал Гростет, вручая бумаги Веронике.

Она вернулась к обществу и, опираясь на руки Гростета и Жерара, повела гостей в роскошно обставленную столовую на первом этаже. Вероника угощала всех обедом, но сама не принимала в нем участия. С первого дня приезда в Монтеньяк она всегда ела в одиночестве, и Алина свято хранила тайну этого сурового закона до тех пор, пока ее хозяйке не стала грозить смерть.

К обеду были приглашены мэр, мировой судья и монтеньякский врач.

Врач, молодой человек лет двадцати семи, по имени Рубо, давно хотел познакомиться с женщиной, знаменитой во всем Лимузене. Кюре ввел его в замок тем охотнее, что хотел собрать вокруг Вероники общество, которое могло бы развлечь ее и дать пищу ее уму. Рубо был одним из тех высокообразованных молодых врачей, какие выходят теперь из парижской Медицинской школы. Несомненно, он мог бы блистать на обширном поприще столицы; но в Париже его испугала борьба честолюбий, и, чувствуя в себе более склонности к науке, нежели к интригам, и более дарований, чем алчности, он, следуя своему мягкому характеру, избрал скромное поприще в провинции, надеясь, что там его оценят скорее, чем в Париже. В Лиможе Рубо натолкнулся на установившиеся привычки и постоянный круг пациентов; тогда он поехал вслед за г-ном Бонне, который по его доброму, располагающему к себе лицу сразу угадал в нем своего приверженца, последователя и помощника. Маленький белокурый Рубо обладал довольно бесцветной внешностью, но в его серых глазах читалось глубокомыслие физиолога и упорство подлинного ученого. Раньше в Монтеньяке жил бывший полковой хирург, больше занимавшийся своим винным погребом, чем больными, и к тому же слишком старый, чтобы исполнять нелегкие обязанности сельского врача. Теперь он умер. Рубо провел в Монтеньяке полтора года, и все полюбили его. Но юный ученик Депленов и последователей Кабаниса не верил в католицизм. В вопросах религии он придерживался полнейшего индифферентизма и не желал от него отступаться. Кюре это приводило в отчаяние, и не потому, что неверие Рубо приносило какой-нибудь вред, — он никогда не говорил о религии; то, что он не посещал церковь, можно было объяснить его занятостью, к тому же он неспособен был вербовать учеников и вел себя, как наилучший католик. Он только воздерживался от размышлений над проблемами, которые ставил как бы вне пределов человеческого понимания. Узнав, что врач считает пантеизм религией всех великих умов, кюре предположил, будто он склоняется к учению Пифагора[[33]](#footnote-33) о превращениях.

Рубо видел г-жу Граслен впервые, и она произвела на него глубокое впечатление. Знания врача помогли ему угадать по ее поведению, по выражению болезненного лица ужасные физические и моральные страдания, характер силы сверхчеловеческой, великую способность переносить самые неожиданные превратности судьбы; он уловил все, даже то, что было неясно или скрыто умышленно. Заметил он также и недуг, снедающий сердце этого прекрасного создания, ибо как по окраске плода можно догадаться о грызущем его черве, так иной раз по цвету лица врач может распознать ядовитую мысль, отравляющую жизнь больного. С первой же встречи Рубо так горячо привязался к г-же Граслен, что боялся полюбить ее больше, чем дозволено простой дружбой. Лоб, походка и особенно взгляд Вероники говорили о том, что для любви она умерла, так же красноречиво, как взгляды других женщин говорят обратное. Мужчинам всегда понятен этот язык. И врач стал по-рыцарски преклоняться перед г-жой Граслен. Он обменялся быстрым взглядом с кюре. Г-н Бонне тут же подумал:

«Вот удар молнии, который обратит этого неверующего. Госпожа Граслен убедит его лучше, чем я».

Мэр, старый сельский житель, был поражен роскошью столовой и совершенно растерян тем, что обедал с одним из самых богатых людей в департаменте; он надел свой лучший костюм, который стеснял его, и оттого еще больше стеснялся окружающих. Г-жа Граслен в своем траурном платье казалась ему очень важной; за все время обеда он ни разу не раскрыл рта. Бывший фермер из Сен-Леонара, он купил единственный приличный дом в деревне и собственноручно обрабатывал свою землю. Хотя он умел и читать и писать, все же обязанности мэра он мог выполнять только с помощью судебного пристава, который подготавливал ему дела. Бедняга мечтал о прибытии в деревню нотариуса, чтобы переложить на плечи государственного чиновника все свои тяжкие обязанности; но кантон Монтеньяка был настолько беден, что учреждение конторы считалось там делом бесполезным, и жителей постоянно обирали нотариусы из окружного городка.

Мировой судья, по имени Клузье, в прошлом был адвокатом в Лиможе, где он защитил не много дел, ибо пытался применить на практике прекрасную аксиому, гласившую, что адвокат является главным судьей и для клиента и для суда. В 1809 году он получил место в Монтеньяке с весьма скромным содержанием, на которое еле мог прожить. Ко времени нашего рассказа он впал в самую благородную и самую безысходную нищету. После двадцати двух лет жизни в этой бедной общине Клузье стал настоящим сельским жителем и в своем допотопном сюртуке походил на местного фермера. Под этой грубоватой внешностью таился ясный ум, способный предаваться высоким политическим размышлениям, но впавший в полную леность вследствие превосходного понимания людей и их интересов. Попади этот человек в высшую сферу, он походил бы на Лопиталя[[34]](#footnote-34). Долгое время судья обманывал проницательность г-на Бонне и, будучи, подобно всем подлинно глубоким людям, неспособен на интриги, в конце концов дошел до созерцательного состояния древних отшельников. Несмотря на все лишения, он чувствовал себя богатым, и никакие посторонние соображения не влияли на его дух; он знал законы и судил справедливо. Жизнь его, ограниченная самым необходимым, была чиста и размеренна. Крестьяне любили и уважали г-на Клузье за отцовскую беспристрастность, с какой судил он их тяжбы, и за помощь советом в мелких делах. Последние два года у добряка Клузье, как называл его весь Монтеньяк, работал письмоводителем его племянник, неглупый молодой человек, в дальнейшем немало способствовавший процветанию кантона. В физиономии старика-судьи сразу располагал к себе большой, высокий лоб. Растрепанные кустики поседевших волос торчали по обе стороны лысой головы. Багровый цвет лица и некоторая тучность заставляли предполагать, что, невзирая на свою воздержанность, Клузье поклонялся Бахусу, подобно Тролону и Тулье. Судя по едва слышному голосу, его мучила астма. Возможно, что сухой воздух горного Монтеньяка и удерживал судью в этих местах. Он снимал домик у довольно зажиточного сапожника. Клузье видел уже Веронику в церкви и составил себе о ней суждение, не поделившись своими мыслями ни с кем, даже с г-ном Бонне, с которым начал понемногу сходиться. Впервые в своей жизни старый мировой судья попал в общество людей, способных понять его.

Усевшись вокруг роскошно сервированного стола — Вероника перевезла в Монтеньяк всю свою лиможскую обстановку, — шестеро мужчин в первую минуту пришли в замешательство. Врач, мэр и мировой судья не знали ни Гростета, ни Жерара. Но за первым же блюдом добродушие старого банкира растопило лед первой встречи. Приветливая г-жа Граслен вовлекла в беседу Жерара и подбодрила Рубо. С ее помощью молодые люди, наделенные отменными достоинствами, признали родство своих душ. Вскоре каждый почувствовал себя в дружеской среде. И когда был подан десерт, когда заблистал хрусталь и фарфор с золотистыми ободками, когда полилось вино, разлитое Алиной, Шампионом и лакеем Гростета, разговор стал достаточно откровенным, чтобы случайно соединившиеся четыре избранные личности решились высказать свои истинные мысли о важных вопросах, которые любят обсуждать расположенные друг к другу собеседники.

— Ваш отпуск совпал с Июльской революцией, — сказал Гростет Жерару, как бы спрашивая его мнение.

— Да, — ответил инженер, — я был в Париже все эти три знаменательных дня[[35]](#footnote-35). Я видел все и вывел весьма неутешительное заключение.

— А именно? — поспешно спросил г-н Бонне.

— Сейчас патриотизм живет только под грязными блузами, — сказал Жерар, — Франции грозит гибель. Июль явился добровольным поражением людей, выдающихся по своему происхождению, богатству и таланту. Самоотверженные массы завоевали победу богатым, образованным классам, которым чужда самоотверженность.

— Если судить по тому, что произошло за год, — добавил мировой судья г-н Клузье, — совершившаяся перемена пошла на пользу терзающему нас злу — индивидуализму. Через пятнадцать лет любое благородное намерение будет встречено вопросом: *Какое мне до этого дело?* — криком свободы воли, низведенной с высот религии, куда возвели ее Лютер, Кальвин, Цвингли[[36]](#footnote-36) и Нокс[[37]](#footnote-37), в область политической экономии. *Каждый за себя, каждый у себя* — эти две фразы вместе с вопросом: *Какое мне дело?* — составляют триединую мудрость буржуа и мелкого собственника. Подобный эгоизм — результат пороков нашего слишком поспешно созданного гражданского законодательства, которому Июльская резолюция дала опасное благословение.

Мировой судья погрузился в обычное молчание, предоставив гостям обдумывать смысл сентенции. Воодушевленный словами Клузье и взглядом, которым обменялись Гростет и Жерар, г-н Бонне дерзнул на большее.

— Добрый король Карл Десятый, — сказал он, — потерпел неудачу в осуществлении самого дальновидного, самого спасительного плана, какой замышлял когда-либо монарх на благо вверенным ему народам, и церковь может гордиться своей ролью советчицы в этом деле. Но мужество и ум изменили высшим классам, как изменили уже однажды при решении великого вопроса — закона о праве старшинства[[38]](#footnote-38), который останется вечной славой единственного смелого человека, выдвинутого Реставрацией, графа Пейронне. Восстановить нацию при посредстве семьи, лишить печать ее отравляющего воздействия, оставив ей только право быть полезной, ограничить выборную Палату ее истинным назначением, вернуть религии ее влияние на народ — вот четыре основных пункта внутренней политики династии Бурбонов. Ну что ж, через двадцать лет вся Франция признает необходимость этой великой и мудрой политики. Впрочем, для короля Карла Десятого положение, которое он хотел изменить, было еще более опасным, нежели то, при котором пала его отеческая власть. Будущее нашей прекрасной страны — где время от времени все ставится под сомнение, где спорят вместо того, чтобы действовать, где печать, достигнув самодержавной власти, стала орудием самого низкого честолюбия — будущее докажет мудрость этого короля, вместе с которым ушли истинные принципы правления; история воздаст ему должное за то мужество, с каким боролся он против лучших друзей, после того, как, исследовав язву и осознав ее глубину, увидел необходимость целительных средств, не встретивших поддержки у тех, ради кого он шел на бой.

— Отлично, господин кюре, вы говорите откровенно и без малейшего притворства, — воскликнул Жерар, — но я не стану с вами спорить! Наполеон, задумав поход в Россию, на сорок лет опередил дух своего века; он не был понят. Россия и Англия 1830 года объясняют кампанию 1812 года. Карла Десятого постигла та же беда: через двадцать пять лет его ордонансы[[39]](#footnote-39), быть может, станут законами.

— Франция — страна слишком красноречивая, чтобы не быть болтливой, слишком тщеславная, чтобы можно было распознать подлинные ее таланты, и, несмотря на великолепный здравый смысл ее языка и ее народа, пожалуй, последняя страна, в которой следовало вводить систему двух совещательных палат, — снова заговорил мировой судья. — По крайней мере, все невыгодные стороны нашего характера должны были бы быть подавлены строгими ограничениями, которые поставил им опыт Наполеона. Система эта еще годится в стране, действия которой определены природными условиями, например, в Англии; но право старшинства в применении к закону о наследовании земли необходимо везде. Когда право это уничтожено, представительная система становится нелепостью. Англия обязана своим существованием почти феодальному закону, по которому земля и родовой замок достаются старшему в роде. Россия зиждется на феодальном праве самодержавия. Поэтому обе эти нации стоят на пути небывалого прогресса. Австрия могла сопротивляться нашим завоеваниям и возобновить войну против Наполеона лишь благодаря праву старшинства, которое сохраняет действующие силы семьи и обеспечивает крупное производство продуктов, необходимое государству. Династия Бурбонов, чувствуя, что по вине либерализма ее оттесняют на третье положение в Европе, пожелала отстоять свое место, а страна свергла ее в тот момент, когда она спасала страну. Не знаю, куда приведет нас нынешняя система.

— Случись война, Франция окажется без лошадей, как Наполеон в 1813 году, когда, ограниченный только ресурсами Франции, он не мог воспользоваться двумя победами, при Лютцене и Баутцене, и потерпел поражение под Лейпцигом! — воскликнул Гростет. — Если продлится мир, зло еще более усугубится: через двадцать пять лет поголовье лошадей и рогатого скота уменьшится во Франции вдвое.

— Господин Гростет прав, — заметил Жерар. — Вот почему дело, которое вы задумали, сударыня, — продолжал он, обращаясь к Веронике, — окажет великую помощь всей стране.

— Да, — подтвердил мировой судья, — ведь у сударыни один только сын. Но будет ли такой случай наследования повторяться вечно? В течение некоторого времени большое прекрасное хозяйство, которое вы, надеюсь, заведете, принадлежа одному владельцу, будет производить и лошадей и рогатый скот. Но рано или поздно придет день, когда леса и луга либо подвергнутся разделу, либо будут проданы по участкам. Подвергаясь одному разделу за другим, шесть тысяч арпанов вашей равнины будут принадлежать в конце концов тысяче, а то и больше собственников, а тогда прощай и коневодство и породистый скот.

— Ну, до того времени... — начал было мэр.

— Слышите вопрос «Какое мне дело?», приведенный господином Клузье? — воскликнул Гростет. — Это он и есть. Но, сударь мой, — строгим тоном обратился банкир к удивленному мэру. — Время это уже наступило! В радиусе десяти лье вокруг Парижа мельчайшие поместья едва могут прокормить молочных коров. Коммуна Аржантейля насчитывает тридцать тысяч восемьсот восемьдесят пять земельных наделов, из которых иные не приносят и пятнадцати сантимов дохода! Я не представляю себе, как бы вышли из положения владельцы скота без питательных кормов, получаемых из Парижа. Но эта слишком насыщенная пища и необходимость держать коров в стойлах вызывают у животных болезни, от которых они умирают. В окрестностях Парижа коров употребляют для упряжки, словно лошадей. Культуры более выгодные, чем травы, — огороды, фруктовые сады, древесные питомники, виноградники — вытесняют луга. Еще несколько лет, и молоко будут присылать в Париж на почтовых, как свежую рыбу. В окрестностях почти всех крупных городов происходит то же, что и вокруг Парижа. Зло непрерывного раздела земельной собственности охватило сто городов Франции и когда-нибудь поглотит ее целиком. По сведениям Шапталя, в 1800 году едва насчитывалось два миллиона гектаров виноградников; сейчас, согласно точным статистическим данным, их по крайней мере десять миллионов. Нормандия, раздробленная нашей системой наследования, потеряет половину своих лошадей и коров, но она все же не утратит монополии на поставку молока в Париж, ибо, к счастью, климат ее неблагоприятен для виноградников. Кроме того, мы сможем наблюдать любопытное явление непрерывного роста цен на мясо. В 1850 году, то есть через двадцать лет, Париж, который в 1814 году платил от семи до одиннадцати су за фунт мяса, будет платить за него двадцать су, если только не появится какой-нибудь гениальный человек, способный осуществить идею Карла Десятого.

— Вы точно указали на главную язву Франции, — откликнулся мировой судья. — Причина зла коренится в статье Гражданского кодекса о наследовании, которая требует равного раздела имущества. Эта статья словно пестом дробит земельные владения, раздает состояния, лишая их необходимой устойчивости, и в конце концов убьет Францию, ибо, разъединяя, никогда не соединяет вновь. Французская революция породила вирус разрушения, и июльские дни возобновили его активность. Пагубность нового принципа заключается в приобщении крестьянина к собственности. Если статья о наследовании — основное начало зла, то крестьянин — его орудие. Крестьянин не возвратит ничего из того, что сумел захватить. Как только новый порядок бросил кусок земли в его вечно разверстую пасть, он начал делить землю и будет делить, пока не дойдет до клочка в три борозды. Но и тогда он не остановится! Он перережет три борозды поперек, как показал это господин Гростет на примере Аржантейля. Ни с чем не сообразная ценность, какую придает крестьянин своей крохотной делянке, делает невозможным восстановление крупной земельной собственности. Прежде всего бесконечный раздел земли уничтожил судопроизводство и право; понятие собственности превратилось в бессмыслицу. Но мало того, что власть фиска и закона бессильна на мелких участках, где невозможно осуществить самые мудрые ее предначертания, — есть бедствие еще большее. У нас имеются землевладельцы, получающие пятнадцать или двадцать пять сантимов дохода! Господин Гростет рассказал вам сейчас об уменьшении поголовья лошадей и быков; во многом виной здесь наша законодательная система. Землевладелец-крестьянин заводит только коров, с них он кормится, он продает телят, продает даже масло; о том, чтобы выращивать быков, а тем более лошадей, он и не думает. Но так как у него никогда нет достаточного запаса кормов на засушливые годы, то он ведет свою корову на рынок, когда не может прокормить ее. Если же по роковой случайности выпадет два неурожайных года подряд, то на третий год вы заметите в Париже невероятные изменения в ценах на говядину и особенно на телятину.

— Как же тогда будут устраивать патриотические банкеты? — спросил, улыбаясь, врач.

— О! — воскликнула г-жа Граслен, взглянув на Рубо. — Нигде политика не может обойтись без газетных нападок, даже здесь!

— Буржуазия, — продолжал Клузье, — выполняет в этом ужасном деле роль пионеров в Америке. Она скупает большие владения, с которыми крестьянин не может справиться, и начинает делить их, а затем раздробленная на части, разорванная в клочья земля, проданная с аукциона или по частям, попадает к тем же крестьянам. Сейчас все выражается в цифрах. Я не знаю цифр более красноречивых, чем следующие. Во Франции сорок девять миллионов гектаров земли, вернее, сорок, потому что отсюда следует исключить дороги, проселки, дюны, каналы и земли бесплодные, невозделанные или лишенные средств, как, например, монтеньякская равнина. Однако на эти сорок миллионов гектаров при тридцати двух миллионах жителей приходится сто двадцать пять миллионов парцелл, облагаемых земельным налогом. Я считаю в круглых цифрах. Таким образом, мы находимся вне аграрного закона и еще не испили до конца чашу нищеты и раздора! Те, кто дробит земельные владения и уменьшает производство, будут кричать через свои органы, будто истинная социальная справедливость состоит в том, чтобы каждый получал продукт своей земли. Они скажут, что вечная собственность — это воровство! Начало положили сен-симонисты.

— Представитель правосудия высказал свое мнение, — произнес Гростет, — вот что может добавить к этим смелым выводам банкир. То, что собственность стала доступна крестьянину и мелкому буржуа, причиняет Франции огромный ущерб, о котором правительство и не подозревает. В стране насчитывается три миллиона крестьянских семей, не включая сюда нищих. Семьи эти живут на заработанную плату. И заработанная плата выплачивается деньгами, а не продуктами...

— Еще одна непоправимая ошибка нашего законодательства, — прервал банкира Клузье. — Право платить продуктами можно было ввести в 1790 году, но вводить подобный закон теперь — значит вызвать революцию.

— Таким образом, пролетарий прибирает к рукам деньги страны, — продолжал Гростет. — Но у крестьянина нет другой страсти, другого желания, другого стремления, другой цели, как стать владельцем земли. Желание это, по справедливому замечанию господина Клузье, порождено революцией; оно является результатом продажи национального достояния. Нужно не иметь ни малейшего представления о том, что происходит в деревне, чтобы не принять как непреложный факт то, что каждое из этих трех миллионов семейств ежегодно закапывает в землю по пятьдесят франков, изымая тем самым сто пятьдесят миллионов из денежного обращения. Наука политической экономии считает аксиомой, что один экю стоимостью в пять франков, который проходит в течение дня через сто рук, абсолютно равен пятистам франкам. Однако для нас, давно наблюдающих положение деревни, ясно, что крестьянин облюбовал себе только землю. Он подстерегает и поджидает ее, он никуда не станет помещать свой капитал. Приобретение земли исчисляется для крестьянина сроком в семь лет. Таким образом, в течение семи лет крестьяне держат в полном бездействии тысячу сто миллионов франков, но поскольку мелкая буржуазия хранит не меньшие суммы для приобретения земель, к которым крестьянин не может и подступиться, то за сорок два года Франция теряет проценты по крайней мере с двух миллиардов, то есть около ста миллионов за семь лет, или шестисот миллионов за сорок два года. Но она потеряла не только эти шестьсот миллионов; она не могла создать на шестьсот миллионов новых промышленных или сельскохозяйственных предприятий, а это уже означает потерю тысячи двухсот миллионов, ибо если бы промышленный продукт не ценился вдвое против своей себестоимости, промышленность погибла бы. Пролетариат сам лишает себя шестисот миллионов заработанной платы! Эти шестьсот миллионов чистого убытка, которые для экономиста, строго учитывающего потерю доходов от обращения, представляют убыток почти в тысячу двести миллионов, объясняют отсталость нашей торговли, нашего флота и нашего сельского хозяйства по сравнению с Англией. Несмотря на различие в размерах наших территорий, причем Франция чуть ли не втрое больше, Англия могла бы поставить лошадей для кавалерии двух французских армий, а мяса там хватает для всех. Но, кроме того, поскольку распределение земельной собственности делает ее почти недоступной для низших классов, в Англии каждый экю становится достоянием коммерческого оборота. Итак, кроме вредоносного дробления земельной собственности и уменьшения поголовья лошадей, рогатого скота и овец, статья о наследовании влечет за собой потерю шестисот миллионов франков вследствие накопления капиталов в руках крестьян и буржуа, другими словами, потерю по меньшей мере тысячи двухсот миллионов поступлений от производства, или изъятие из денежного обращения трех миллиардов в течение полувека.

— Последствия моральные еще ужаснее последствий материальных! — воскликнул кюре. — Мы создали нищих землевладельцев в народе, полузнаек в мелкой буржуазии и принцип: *Каждый за себя, каждый у себя*, который проявил уже свое действие на высшие классы в июле этого года, а скоро развратит и среднее сословие. Пролетариат, забывший о чувствах, отказавшийся от веры, не знающий другого бога, кроме зависти, другого фанатизма, кроме голодного отчаяния, выйдет вперед и наступит ногой на сердце страны. Чужеземцы, выросшие под сенью монархического закона, увидят у нас королевство без короля, законодательство без законов, собственность без собственников, выборы без правительства, свободу воли без силы, равенство без счастья. Будем надеяться, что бог пошлет Франции человека, отмеченного провидением, одного из тех избранников, которые дарят народам новый дух, и, будет ли он Марием или Суллой, поднимется ли с низов или снизойдет с высот, он переделает общество!

— Для начала он предстанет перед судом присяжных или перед исправительной полицией, — возразил Жерар. — В 1831 году Сократа и Иисуса Христа ожидал бы тот же приговор, что некогда постиг их в Иерусалиме и в Аттике. Теперь, так же как в древние времена, завистливая посредственность обрекает на голодную смерть мудрецов, великих политических целителей, которые изучили язвы Франции и противостоят духу своего времени. Если они борются с нищетой, мы высмеиваем их или называем мечтателями. Во Франции великий человек будущего вызывает такое же возмущение в сфере морали, как самодержавный владыка в сфере политики.

— Когда-то софисты обращались к маленькой кучке людей, теперь периодическая печать позволяет им вводить в заблуждение всю нацию! — воскликнул мировой судья. — А пресса, которая ратует за здравый смысл, не имеет отклика!

Мэр смотрел на г-на Клузье с величайшим изумлением. Г-жа Граслен, радуясь, что в простом мировом судье встретила человека, увлеченного столь важными вопросами, спросила у своего соседа, г-на Рубо:

— Знаете ли вы господина Клузье?

— По-настоящему я узнал его только сегодня. Вы делаете чудеса, сударыня, — ответил он ей шепотом. — Но взгляните на его лоб, какая прекрасная форма! Не правда ли, он напоминает традиционный классический лоб, каким все скульпторы наделяли Ликурга и мудрецов Греции? Совершенно очевидно, что Июльская революция имеет антиполитический смысл, — произнес уже вслух, после того как он обдумал про себя все выкладки Гростета, этот бывший студент, который, может быть, и сам бросился бы на баррикады.

— В ней заложен тройной смысл, — сказал Клузье. — Мы охватили право и финансы, но вот соображения, касающиеся правительства. Королевская власть, ослабленная догмой национального суверенитета, во имя которого были произведены выборы 9 августа 1830 года, будет пытаться подавить этот враждебный ей принцип, дающий народу право призывать на трон новую династию всякий раз, когда народ не поймет намерений своего короля, и тогда нас ждет внутренняя борьба, которая, разумеется, надолго задержит развитие Франции.

— Англия мудро обошла все эти подводные камни, — продолжал Жерар. — Я был там, я восхищен этим пчелиным ульем, который роится над миром и цивилизует его; там дискуссия — это политическая комедия, призванная удовлетворить народ и скрыть действия власти, которая чувствует себя свободно в своей высшей сфере; там выборы не находятся в руках тупой буржуазии, как во Франции. Произойди в Англии раздробление земельной собственности, страна прекратила бы свое существование. Социальным механизмом правят там крупные землевладельцы, лорды. Английский морской флот на глазах у Европы захватывает целые области земного шара, чтобы удовлетворить требованиям национальной торговли и к тому же высылать туда несчастных и недовольных. Вместо того, чтобы преследовать, уничтожать и не признавать талантливых людей, английская аристократия отыскивает таланты, награждает их и постоянно дает им работу. Англичане быстро решают все, что касается действий правительства и выбора людей или вещей, — у нас же все тянется медленно; меж тем медлительны они, а нетерпеливы мы. У них деньги смелы и заняты делом, у нас — боязливы и подозрительны. То, что говорил господин Гростет об ущербе, понесенном французской промышленностью по вине крестьянина, находит свое подтверждение в картине, которую я вам обрисую в нескольких словах: английская столица своей неутомимой деятельностью создала на десять миллиардов промышленных ценностей и приносящих доход предприятий, в то время как французская столица, превосходящая ее роскошью, не создала и десятой доли этого.

— Это тем более странно, — заметил Рубо, — что они флегматики, а мы большей частью сангвиники или холерики.

— Вот, сударь, — сказал Клузье, — большой и неизученный вопрос: создание институтов, способных формировать темперамент народа. Конечно, Кромвель был великим законодателем. Он один создал современную Англию, издав *Навигационный акт* [[40]](#footnote-40), который сделал англичан врагами всех других наций и привил им неукротимую гордость, ставшую для них точкой опоры. Но все же, несмотря на их мальтийскую крепость, если Франция и Россия поймут роль Черного и Средиземного морей, придет день, когда путь в Азию через Египет или через Евфрат, проложенный с помощью новых открытий, убьет Англию, как некогда открытие мыса Доброй Надежды убило Венецию.

— И ни слова о боге! — воскликнул кюре. — Господин Клузье и господин Рубо равнодушны к вопросам религии. А вы, сударь? — спросил он у Жерара.

— Он протестант, — ответил Гростет.

— Вы это сразу угадали, — произнесла Вероника, взглянув на кюре, и подала руку Клузье, приглашая гостей перейти в ее комнату.

Неблагоприятное впечатление от внешности Жерара совершенно рассеялось, и трое монтеньякских нотаблей мысленно поздравляли друг друга с таким приобретением.

— К сожалению, — заметил г-н Бонне, — незначительные разногласия, разделяющие греческую и латинскую церковь, являются причиной антагонизма между Россией и католическими странами, омываемыми Средиземным морем, — антагонизма, который сулит человечеству большие несчастья в будущем.

— Каждый молится своему святому, — улыбаясь, сказала г-жа Граслен. — Господин Гростет думает о потерянных миллиардах, господин Клузье — о нарушенном праве, врач видит в законодательстве проявление темперамента, господин кюре видит в религии препятствие к согласию между Россией и Францией.

— Добавьте еще, сударыня, — отозвался Жерар, — что, по моему мнению, накопление капиталов в руках мелкого буржуа и крестьянина надолго задерживает строительство железных дорог во Франции.

— Чего же вы хотите? — спросила она.

— О, я хочу, чтобы у нас были такие превосходные государственные советники, какие обдумывали законы при императоре, и законодательный корпус, избранный талантами страны наравне с земельными собственниками, единственным назначением которого будет борьба против дурных законов и нелепых войн. Ибо наша палата депутатов в том виде, в каком ее учредили, придет в конце концов к полной анархии в законодательстве.

— Боже мой, — воскликнул кюре в священном порыве патриотизма, — почему же столь просвещенные умы, — он указал на Клузье, Рубо и Жерара, — видя зло и зная целебное средство против него, не применят для начала лекарство к самим себе! Вы все, представители угнетаемых классов, признаете необходимым, чтобы массы подчинялись государству так же беспрекословно, как солдаты во время войны. Вы хотите единства власти и требуете, чтобы оно никогда не ставилось под сомнение. Но то, чего добилась Англия, пробудив в человеке гордость и стремление к богатству — что тоже является верованием, — у нас можно осуществить только при помощи чувств, порожденных католицизмом, — а вы не католики! Я, священник, выхожу на время из своей роли и принимаюсь размышлять вместе с мыслителями. Как хотите вы, чтобы массы стали религиозны и послушны, если среди вышестоящих они видят безбожие и непокорность? Народы, объединенные верой, всегда легко справятся с народами неверующими. Закон общих интересов, являющийся источником патриотизма, разрушается законом частных интересов, который является источником эгоизма. Прочным и длительным может быть лишь то, что естественно, а в политике естественным началом является семья. Семья должна быть отправной точкой всех установлений. Общие последствия говорят об общих причинах; и то, на что вы все указали с разных точек зрения, проистекает из одного и того же общественного принципа, который лишен силы, ибо основан на свободе воли, а свобода воли — мать индивидуализма. Ставить счастье в зависимость от безопасности, ума и талантов всего общества менее разумно, чем ставить счастье в зависимость от безопасности, ума и талантов отдельной личности. Отдельный человек бывает разумнее, чем вся нация. У народов есть сердце, но нет глаз, они чувствуют, но не видят. Правительства обязаны видеть и не подчиняться чувствам. Есть, следовательно, очевидное противоречие между первыми побуждениями массы и действиями власти, которая должна определять силу и единство массы. Появление великого государя — это дело случая, говоря вашим языком; но вверять себя какому бы то ни было собранию, хотя бы состоящему из честных людей, — безумие. В настоящее время Франция безумна! Увы, вы в этом убеждены не меньше, чем я. Если бы все подобные вам добросовестные люди подали пример, если бы все искусные руки принялись за восстановление алтарей великой республики душ, единой церкви, которая наставила человечество на правильный путь, мы вновь увидели бы во Франции чудеса, какие творили в ней некогда наши отцы.

— Что поделаешь, господин кюре! — возразил Жерар. — Если говорить, как на духу, то для меня вера — это ложь, которой человек тешит самого себя, надежда — ложь, которую он сочиняет о будущем, а ваша милосердная любовь подобна хитрости ребенка, который хорошо ведет себя, чтобы получить в награду лакомство.

— Однако же, сударь, как хорошо спится, когда нас баюкает надежда, — сказала г-жа Граслен.

Эти слова, остановившие Рубо, который собирался заговорить, встретили молчаливое одобрение Гростета и кюре.

— Не наша вина, — сказал Клузье, — что Иисус Христос не успел сформулировать основы государства, согласные с его моралью, как сделали это Моисей и Конфуций, два величайших законодателя человечества. Ибо и евреи, рассеянные по всей земле, и китайцы, отрезанные от всего мира, существуют все же как нация.

— Ах, я вижу, как много мне предстоит работы! — простодушно воскликнул кюре. — Но я восторжествую, я обращу вас всех!.. Вы сами не подозреваете, как близки вы к вере. За ложью таится истина, сделайте один шаг вперед и оглянитесь!

После этого возгласа разговор принял другое направление.

На следующий день, перед отъездом, Гростет пообещал Веронике принять участие во всех ее планах, как только выяснится возможность их осуществления. Г-жа Граслен и Жерар отправились верхом проводить карету банкира по монтеньякской дороге до шоссе, соединяющего Бордо и Лион. Инженеру так не терпелось осмотреть территорию, а Веронике так хотелось показать ее, что они еще накануне уговорились об этой поездке. Распрощавшись со славным стариком, они пересекли обширную равнину и поехали вдоль горной цепи, от начала подъема, ведущего к замку, до Живой скалы. Теперь инженер мог убедиться в существовании длинного сланцевого выступа, замеченного Фаррабешем. Выступ этот, очевидно, представлял собой последний слой основания холмов. Следовательно, направив воды так, чтобы они не задерживались в естественном желобе, созданном самой природой, и очистив желоб от скопившейся в нем земли, можно было бы произвести орошение всей округи при помощи длинной водосточной трубы, пролегающей почти на десять футов выше равнины. Прежде всего, и это решало дело, следовало определить запас воды, поступающей в поток Габу, и выяснить, не впитываются ли воды склонами русла.

Вероника дала лошадь Фаррабешу, который должен был сопровождать инженера и помогать ему во всех исследованиях. После нескольких дней работы Жерар нашел, что хотя основание двух параллельных горных цепей и состоит из различных пород, оно достаточно прочно, чтобы удержать воду. В течение января следующего года, обильного дождями, он рассчитал количество воды, протекающей в долине Габу. Если к этому запасу добавить воды из трех источников, отведя их также в поток, то общего количества воды будет достаточно для орошения площади в три раза большей, чем монтеньякская равнина. Перекрытие русла Габу и работы, необходимые для того, чтобы по трем долинам направить воду в равнину, должны были стоить не более шестидесяти тысяч франков, ибо на меловом плато инженер нашел кальциты, позволяющие получить дешевую известь, а камень и дерево не стоили ничего и не требовали перевозки. До того времени, пока пересохнет русло Габу — необходимое условие для работы, — можно будет подготовить все материалы, с тем чтобы как можно быстрее осуществить основное сооружение. Но подготовительные работы в равнине, по расчетам Жерара, должны были обойтись не менее чем в двести тысяч франков, помимо издержек на посевы и посадки. Всю равнину следовало разделить на квадратные участки по двести пятьдесят арпанов в каждом и, не распахивая земли, очистить ее от самых крупных камней. Потом землекопы должны будут прорыть множество канав и выложить их камнем, чтобы можно было пускать и задерживать воду по мере надобности, не теряя при этом ни капли. Для подобного предприятия необходимы были усердные руки самоотверженных и сознательных работников. Случай дарил ровную, вполне пригодную площадь и воду, которую можно распределять по желанию благодаря тому, что она падает с десятифутовой высоты; итак, все способствовало получению превосходных сельскохозяйственных результатов и созданию таких же великолепных зеленых ковров, какие составляют гордость и богатство Ломбардии. Жерар вызвал из департамента, где служил раньше, старого, опытного десятника по имени Фрескен.

Написав Гростету, г-жа Граслен попросила у него взаймы сто пятьдесят тысяч франков, гарантируя этот заем государственными облигациями, рента с которых должна была в течение шести лет принести сумму, достаточную, по подсчетам Жерара, для погашения долга и оплаты процентов. Заем был заключен в марте. К этому времени проект Жерара, которому помогал его десятник Фрескен, был закончен, равно как сметы, исследования и работы по нивелировке и зондажу.

Весть о начале обширных работ облетела всю округу и всколыхнула неимущее население кантона. Неутомимый Фаррабеш, Колора, Клузье, мэр, Рубо — все люди, преданные своему краю или г-же Граслен, подыскивали работников и отбирали бедняков, на которых можно было положиться. Жерар купил для себя и для г-на Гростета тысячу арпанов земли по другую сторону монтеньякской дороги. Десятник Фрескен тоже купил пятьсот арпанов и вызвал в Монтеньяк жену и детей.

В первых числах апреля 1833 года Гростет прибыл в Монтеньяк осмотреть купленные Жераром земли, а главным образом затем, чтобы привезти г-же Граслен Катрин Кюрье, которая из Парижа в Лимож приехала дилижансом. Они появились в замке, когда г-жа Граслен собиралась в церковь. Г-н Бонне должен был отслужить мессу, дабы призвать благословение божье на готовые к началу работы. В церкви собрались все рабочие, их жены и дети.

— Вот ваша подопечная, — сказал старик, представляя Веронике худенькую, болезненную женщину лет тридцати.

— Вы Катрин Кюрье? — спросила г-жа Граслен.

— Да, сударыня.

Вероника бросила на Катрин быстрый взгляд. Это была довольно высокая, хорошо сложенная девушка с добрым бледным лицом и прекрасными серыми глазами. Овал ее лица и линии лба отличались тем возвышенным и простым благородством, какое иногда наблюдаешь в деревне у очень молоденьких девушек; эти ранние цветы с ужасающей быстротой гибнут от тяжелой работы в поле, от хозяйственных забот, жары и отсутствия ухода. В ее движениях чувствовалась свобода, присущая деревенским девушкам, но смягченная невольно усвоенными в Париже привычками. Проживи Катрин все это время в Коррезе, несомненно, лицо ее поблекло бы, покрылось морщинами и утратило свои нежные краски. В Париже она побледнела, но сохранила красоту; болезнь, усталость, горе наделили ее таинственным даром грусти и той внутренней духовной жизни, которой лишены бедные сельские жительницы, обреченные на почти животное существование. Ее костюм, отмеченный парижским вкусом, который быстро усваивают даже наименее кокетливые женщины, делал ее непохожей на крестьянку. Бедняжка была очень смущена: она ничего не знала о своей дальнейшей судьбе и не могла еще судить о г-же Граслен.

— Любите ли вы по-прежнему Фаррабеша? — спросила у нее Вероника, когда Гростет оставил их наедине.

— Да, сударыня, — покраснев, ответила Катрин.

— Почему же, раз уж вы послали ему тысячу франков за то время, что он отбывал наказание, вы не отыскали его, когда он вернулся? Он внушает вам отвращение? Доверьтесь мне, как матери. Может быть, вы боялись, что он совсем испортился или разлюбил вас?

— Нет, сударыня, но я совсем неграмотная и служила у очень строгой старой дамы; она заболела, и пришлось ухаживать за ней, не отходя ни на шаг. Хотя, по моим расчетам, день освобождения Жака был близок, я не могла уехать из Парижа, пока не умерла эта дама, которая ничего мне не оставила, несмотря на все мои преданные заботы о ней. Я заболела от переутомления и бессонных ночей и хотела выздороветь раньше, чем возвращаться сюда. Но когда я проела все мои сбережения, пришлось лечь в больницу святого Людовика, а там уж меня вылечили.

— Хорошо, дитя мое, — сказала г-жа Граслен, тронутая этим простодушным объяснением. — Но почему вы так внезапно покинули родителей, почему оставили своего ребенка, почему не давали о себе знать, не попросили кого-либо написать письмо?..

Вместо ответа Катрин заплакала.

— Сударыня, — сказала она наконец, ободренная рукопожатием Вероники, — не знаю, права ли я, но я не в силах была оставаться в деревне. Я сомневалась не в себе, а в других, боялась сплетен, насмешек. Пока Жак подвергался опасности, я была ему нужна, но когда его увезли, я почувствовала, что у меня нет сил: быть девушкой с ребенком и без мужа!.. Самой последней твари жилось бы лучше, чем мне. Не знаю, что бы со мной стало, если бы кто-нибудь сказал дурное слово о Бенжамене или его отце. Я бы наложила на себя руки, помешалась бы. Отец или мать могли бы когда-нибудь в сердцах попрекнуть меня. А я слишком вспыльчива, чтобы терпеть придирки или оскорбления, хотя у меня и мягкий характер. Я была жестоко наказана, ведь я не могла видеть свое дитя, и дня не проходило, чтобы я не вспоминала о нем! Обо мне все забыли, никто обо мне не думал, а этого я и хотела. Все считали, что я умерла, а сколько раз я хотела бросить все и приехать хоть на денек, чтобы взглянуть на своего сыночка!

— Вот ваш сын, дитя мое!

Катрин увидела Бенжамена и задрожала, как в лихорадке.

— Бенжамен, — сказала г-жа Граслен, — обними свою мать.

— Мою мать?! — воскликнул пораженный Бенжамен. Он бросился на шею Катрин, а та сжала его в объятиях, не помня себя от счастья. Но мальчик вдруг вырвался и бросился вон из комнаты, крикнув на ходу:

— Бегу *за ним!*

Госпожа Граслен усадила Катрин, которая едва не лишилась чувств, и увидела г-на Бонне; она невольно покраснела, встретившись с проницательным взглядом своего духовника, словно читавшего в ее сердце.

— Надеюсь, господин кюре, — сказала она дрожащим голосом, — вы не замедлите обвенчать Катрин и Фаррабеша. Узнаете вы господина Бонне, дитя мое? Он расскажет вам, что после своего возвращения Фаррабеш вел себя, как честный человек, и заслужил уважение всей округи; теперь в Монтеньяке вас ждут почет и счастье. С божьей помощью вы заживете безбедно, потому что я сдам вам в аренду ферму. Фаррабеш снова получил гражданские права.

— Все это верно, дитя мое, — подтвердил кюре.

В этот момент появился Бенжамен, тащивший отца за руку. При виде Катрин и г-жи Граслен Фаррабеш побледнел и замер не в силах произнести ни слова. Он понял, как деятельно добра была одна и как страдала в разлуке другая. Вероника увела кюре, который, в свою очередь, собирался увести ее. Как только они отошли достаточно далеко, чтобы их не могли услышать, г-н Бонне пристально посмотрел на свою духовную дочь, и она, покраснев, с виноватым видом опустила глаза

— Вы позорите милосердие, — сказал он сурово.

— Но почему? — возразила она, поднимая голову.

— Милосердие настолько же выше любви, сударыня, — продолжал г-н Бонне, — насколько человечество выше одного человека. Все это сделано не от чистого сердца, не во имя одной лишь добродетели. С высот человечности вы упали до культа отдельного человека! Благодеяние, оказанное вами Фаррабешу и Катрин, таит в себе воспоминания и задние мысли, а потому не является заслугой в глазах господа. Вырвите сами из своего сердца жало, оставленное там духом зла. Не лишайте ценности свои деяния. Придете ли вы, наконец, к святому неведению творимого вами добра? Только в нем высшая награда человеческих поступков.

Госпожа Граслен отвернулась и отерла слезы, которые показали кюре, что он коснулся кровоточащей раны в ее сердце. В это время подошли Фаррабеш, Катрин и Бенжамен, чтобы поблагодарить свою благодетельницу, но она знаком велела им удалиться и оставить ее наедине с г-ном Бонне.

— Видите, как я всех огорчила, — сказала она, указав на их опечаленные лица, и кюре, послушавшись своего доброго сердца, знаком велел им вернуться.

— Будьте счастливы, — сказала тогда Вероника. — Вот указ, который возвращает вам гражданские права и избавляет от всех унизительных формальностей, — добавила она, протягивая Фаррабешу бумагу, которую держала в руке.

Фаррабеш почтительно поцеловал Веронике руку и посмотрел на нее долгим взглядом, нежным и покорным, спокойным и беспредельно преданным, как взгляд верного пса.



— Жак много страдал, сударыня, — сказала Катрин, и улыбка засветилась в ее прекрасных глазах. — Но я надеюсь дать ему теперь столько счастья, сколько было у него горя. Ведь что бы он ни сделал, он не дурной человек.

Госпожа Граслен отвернулась, сердце ее разрывалось при виде этой счастливой семьи. Г-н Бонне оставил ее и направился в церковь, куда вслед за ним пошла и она, тяжело опираясь на руку Гростета.

После завтрака все отправились посмотреть на открытие работ. Пришли туда и деревенские старики. С высокого склона, по которому поднималась дорога в замок, г-н Гростет, г-н Бонне и стоявшая между ними Вероника могли наблюдать расположение будущих четырех дорог, вдоль которых были сложены собранные камни. Пятеро землекопов, выбрасывая годную землю на края поля, расчищали дорогу шириной в восемнадцать футов. По обе стороны дороги четыре человека копали канавы и тоже выбрасывали землю на поле, возводя длинные насыпи. Позади шли два человека, и по мере того, как продвигалась насыпь, рыли в ней ямы и сажали деревья. На каждом участке тридцать трудоспособных бедняков, двадцать женщин и сорок девушек или детей собирали камни, которые рабочие укладывали вдоль насыпи так, чтобы видно было, сколько камней собрала каждая группа. Таким образом, все работы шли одновременно, и усердные, умелые рабочие быстро справлялись с делом. Гростет обещал г-же Граслен прислать молодые деревья и попросил о том же своих друзей. Питомников замка, разумеется, было недостаточно для таких обширных посадок. В конце дня, незадолго до торжественного обеда в замке, Фаррабеш попросил г-жу Граслен уделить ему несколько минут.

— Сударыня, — сказал он, придя к ней вместе с Катрин, — вы были так добры, что обещали мне дать в аренду ферму возле замка. Оказывая мне эту милость, вы хотели дать мне возможность разбогатеть. Но у Катрин есть некоторые соображения насчет нашего будущего, которые я позволю себе изложить перед вами. Если я разбогатею, найдутся завистники, пойдут разговоры, я начну опасаться неприятностей, и Катрин никогда не будет спокойна. В общем, нам лучше жить подальше от людей. Поэтому я хочу просить вас дать нам для фермы участок, расположенный в устье Габу, на общинных землях, и к нему клочок леса на обратном склоне Живой скалы. В июле у вас там будет много рабочих, и они без труда построят ферму, выбрав удобное место повыше. Там мы будем счастливы. Я вызову к себе Гепена. Мой освобожденный каторжник будет работать, как лошадь; глядишь, мы и женим его. Сынишка наш тоже не бездельник. Никто не станет подглядывать за нами, мы возделаем этот заброшенный уголок, и я сил не пожалею, чтобы у вас там была знатная ферма. К тому же для большой фермы я могу предложить вам в арендаторы кузена Катрин, у него есть деньги, и он лучше, чем я, справится с такой махиной. Если даст бог, ваше предприятие закончится успешно, то через пять лет у вас будет пять-шесть тысяч голов рогатого скота или лошадей, да и равнина вся будет распахана — тогда, конечно, понадобится умная голова, чтобы во всем разобраться.

Госпожа Граслен согласилась на просьбу Фаррабеша, отдав справедливость его здравому смыслу.

После начала работ в равнине г-жа Граслен зажила размеренной жизнью сельских жителей. Утром она ходила к мессе, занималась воспитанием сына, которого обожала, и обходила работы. После обеда она принимала своих монтеньякских друзей в маленькой гостиной, расположенной на втором этаже павильона часов. Она научила Рубо, Клузье и кюре играть в вист, которым увлекался Жерар. В девять часов, закончив партию, все расходились по домам. Единственными событиями этой тихой жизни были успехи той или иной части большого дела.

В июне русло Габу пересохло, и Жерар переселился в дом сторожа. Фаррабешу уже построили к этому времени ферму в устье Габу. Пятьдесят каменщиков, прибывших из Парижа, возвели между двумя горными склонами стену толщиной в двадцать футов, которая опиралась на бетонное основание, заложенное на глубине двенадцати футов. Эта стена вышиной примерно в шестьдесят футов постепенно сужалась и в верхнем сечении достигала не более десяти футов толщины. Со стороны долины Жерар пристроил к стене бетонный подпор, в основании достигавший двенадцати футов. Со стороны мелового плато такой же подпор был покрыт слоем плодородной земли. Следовательно, грандиозное сооружение было надежно укреплено и вода не могла прорвать его. На соответствующей высоте инженер предусмотрел водослив на случай особо обильных дождей. Каменная кладка доходила в каждой горе до туфа или до гранита, с тем чтобы вода нигде не могла просочиться. Мощная преграда была закончена в середине августа. К этому же времени Жерар подготовил три канала в трех основных долинах; все работы обошлись дешевле, чем было предусмотрено его сметой. Теперь можно было завершить постройку фермы при замке. Фрескен, ведя ирригационные работы в равнине, использовал канал, прорытый самой природой вдоль подножия горной цепи, и от него отвел оросительные канавы. Каждая канава была снабжена шлюзом и выложена имевшимися в изобилии камнями, что позволяло держать воду на нужном уровне.

Каждое воскресенье, после мессы, Вероника, инженер, кюре, врач и мэр спускались парком в равнину и наблюдали за движением воды. Зима 1833—1834 года была очень дождлива. Воды трех ручьев, направленные в русло потока, и дождевая вода превратили долину Габу в три пруда, расположенных на разной высоте, с тем чтобы создать запас воды на случай засухи. В тех местах, где долина расширялась, Жерар, использовав несколько пригорков, превратил их в островки и засадил разнообразными деревьями. Эта сложная операция совершенно изменила весь ландшафт, но для того, чтобы он принял подлинный свой облик, требовалось еще пять или шесть лет. «Наш край был совсем голым, — говорил Фаррабеш, — мадам подарила ему одежду».

После проделанных великих преобразований Веронику стали звать *мадам* во всей округе. В июне 1834 года, когда прекратились дожди, в засеянных лугах испытали оросительную систему, и щедро напоенная молодая зелень показала превосходные качества, не уступая травам итальянских *марчити* и швейцарских лугов. Сеть каналов, устроенная по образцу ломбардских ферм, позволяла также поливать участки с гладкой, как ковер, поверхностью. Содержащаяся в снегу селитра, растворяясь в воде, немало способствовала прекрасному качеству трав. Инженер надеялся, что они будут не хуже трав Швейцарии, для которой селитра, как известно, является неиссякаемым источником богатства. Деревья, посаженные вдоль дорог, получали достаточно влаги благодаря оставшейся в канавах воде и быстро росли. Итак, в 1838 году, через пять лет после начала задуманных г-жой Граслен преобразований, невозделанная монтеньякская долина, которую двадцать поколений считали совершенно бесплодной, стала зеленой, цветущей и плодородной. Жерар выстроил здесь пять ферм с земельными участками в тысячу арпанов каждый, не считая главной фермы при замке. Фермы Жерара, Гростета и Фрескена, которые получали избыток воды из владений г-жи Граслен, были возведены по такому же плану, и хозяйство в них велось по той же методе. В своем имении Жерар построил прелестный павильон. Когда все работы были закончены, жители Монтеньяка по предложению мэра, с радостью сложившего свои обязанности, выбрали мэром коммуны Жерара.

В 1840 году, по случаю отправки первого стада быков на парижские рынки, в Монтеньяке состоялся сельский праздник. На фермах равнины выращивали крупный рогатый скот и лошадей; после расчистки почвы здесь был обнаружен слой плодородной земли, которая в дальнейшем могла бы еще больше обогатиться благодаря ежегодным накоплениям перегноя, удобрению, остающемуся после выпаса скота, а главное, талым водам, собирающимся в бассейне Габу.

В этом году г-жа Граслен сочла необходимым пригласить воспитателя к своему сыну, которому исполнилось одиннадцать лет: она не хотела расставаться с ним, но, однако, хотела, чтобы он был образованным человеком. Г-н Бонне написал в семинарию. Г-жа Граслен, со своей стороны, сообщила о своих пожеланиях и заботах монсеньеру Дютейлю, недавно посвященному в сан архиепископа. Выбор человека, которому предстояло прожить в замке не менее девяти лет, был большой и серьезной задачей. Жерар еще раньше предложил обучить своего друга Франсиса математике, но он не мог заменить воспитателя; выбор подходящего человека тем более тревожил г-жу Граслен, что она чувствовала, как пошатнулось ее здоровье. Чем краше расцветал ее любимый Монтеньяк, тем с большей суровостью, тайно от всех, умерщвляла она свою плоть. Монсеньер Дютейль, с которым она состояла в постоянной переписке, подыскал ей нужного человека. Из своей епархии он прислал молодого учителя, по складу своему призванного быть воспитателем в частном доме. Рюффен обладал обширными знаниями; тонкая чувствительность его натуры не исключала строгости, необходимой для воспитателя, руководящего развитием ребенка; набожность молодого учителя ни в чем не умаляла его учености; и, наконец, он отличался терпением и приятной внешностью. «Этот юноша — подлинный подарок для вас, дорогая дочь моя, — писал прелат, — он достоин воспитывать принца. Надеюсь, вы позаботитесь о его будущем, ибо он станет духовным отцом вашего сына».

Господин Рюффен так понравился интимному кружку г-жи Граслен, что его приезд ничуть не нарушил отношений близких друзей, ревниво оспаривавших каждый час, каждую минуту своего кумира.

В 1843 году процветание Монтеньяка превзошло самые смелые надежды. Ферма в устье Габу соревновалась с фермами равнины, а ферма при замке подавала пример во всех усовершенствованиях. Остальные пять ферм, арендная плата которых, постоянно возрастая, достигла в течение двенадцати лет тридцати тысяч франков за каждую, приносили теперь шестьдесят тысяч франков дохода. Фермеры, которые начали пожинать плоды и своих трудов и жертв, принесенных г-жой Граслен, могли теперь приступить к удобрению лугов равнины, где росли травы высокого качества, не боявшиеся никакой засухи. Арендаторы фермы Габу с радостью внесли первую арендную плату в четыре тысячи франков. В этом году один из жителей Монтеньяка установил ежедневное сообщение дилижансом между Лиможем и центром округа. Племянник г-на Клузье продал должность судебного пристава и открыл в Монтеньяке нотариальную контору. Административные власти назначили Фрескена сборщиком податей в кантоне. Новый нотариус построил себе хорошенький домик в верхнем Монтеньяке, посадил на своем участке тутовые деревья, и стал помощником Жеpapa. Инженер, воодушевленный отличными успехами, задумал осуществить проект, способный принести неисчислимые богатства г-же Граслен, которая с этого года начала получать ренту, до сего времени уходившую на выплату займа. Жерар решил превратить в канал маленькую речушку и направить в нее избыточные воды потока Габу. Канал, впадавший в Вьену, позволил бы эксплуатировать двадцать тысяч арпанов леса, который заботами Колора содержался в отменном порядке, но за отсутствием средств сообщения не приносил никакого дохода. Определив оборот рубки и восстановления леса в двадцать лет, можно было бы вырубать ежегодно по тысяче арпанов и сплавлять в Лимож ценный строительный материал. Таково было и намерение покойного Граслена, который, в свое время не очень прислушиваясь к планам кюре, касающимся равнины, серьезно задумывался над превращением речки в канал.

## Глава V

## ВЕРОНИКА В МОГИЛЕ

В начале следующего года, несмотря на всю сдержанность г-жи Граслен, друзья стали замечать в ее состоянии страшные предвестия близкой кончины. На все увещевания доктора Рубо, на самые хитрые вопросы самых проницательных ее друзей у Вероники был один ответ: она чувствует себя превосходно. Весной она совершила осмотр своих лесов, ферм и прекрасных лугов, но в ее детской радости ясно читались печальные предчувствия.

Когда выяснилось, что необходимо возвести бетонную стену от плотины Габу до монтеньякского парка — вдоль подножия так называемого Коррезского холма, — Жерар решил огородить весь монтеньякский лес, присоединив его к парку. Г-жа Граслен назначила ежегодную сумму в тридцать тысяч франков на эти работы, которые требовали не менее семи лет, но зато должны были защитить великолепный лес от права порубки, предоставляемого местным властям по отношению к неогороженным частным лесным угодьям. Таким образом, три пруда долины Габу оказались в пределах парка. Посередине каждого пруда, гордо именовавшихся озерами, находился зеленый островок. В этом году Жерар, сговорившись с Гростетом, приготовил Веронике сюрприз ко дню ее рождения. Он построил на самом большом острове, расположенном во втором пруду, маленький домик, с виду довольно непритязательный, но внутри отделанный с изысканным вкусом. Бывший банкир охотно принял участие в заговоре, к которому присоединились также Фаррабеш, Фрескен, племянник Клузье и большинство богатых жителей Монтеньяка. Гростет прислал для домика прелестную мебель. Башенка дома, скопированная с колокольни Веве, производила чарующее впечатление на фоне зелени. Зимой Фаррабеш и Гепен с помощью монтеньякского плотника тайно соорудили, выкрасили и оснастили шесть лодок — по две для каждого пруда.

В середине мая, после завтрака, который г-жа Граслен дала для друзей, они повели ее через великолепно разбитый парк, о котором последние пять лет Жерар заботился как архитектор и ботаник, в прелестный луг долины Габу. Там, у берегов первого озера, плавали две лодочки. Луг, орошенный несколькими чистыми ручьями, лежал в самом низу прекрасного амфитеатра, от которого начинается долина Габу. Искусно расчищенный лес, то образуя живописные заросли, то открывая глазу очаровательные просеки, окружал луг, придавая ему столь милую сердцу уединенность. На пригорке Жерар выстроил точную копию шале из Сионской долины, которым любуются все путешественники на пути в Бригг. В этом уголке он собирался поместить молочную ферму замка. С крытого балкона открывался вид на созданный инженером ландшафт, — пруды придавали ему сходство с прекраснейшими местами Швейцарии. День был великолепный. На голубом небе — ни облачка; на земле — пленительные картины, возможные только в чудесном месяце мае. Деревья, посаженные десять лет назад вдоль берегов, — плакучие ивы, вербы, ольха, ясени, голландские, итальянские и виргинские тополи, боярышник и терновник, акации, березы, все тщательно отобранные, расположенные в красивых сочетаниях на подходящей для каждого вида почве, — удерживали в своей листве испарения, легким туманом поднимавшиеся над водой. Водная гладь, ясная, как зеркало, и спокойная, как небо, отражала зеленую чащу леса; вершины деревьев четко вырисовывались в прозрачном воздухе, возвышаясь над подернутым дымкой плотным кустарником. Пруды, отделенные друг от друга мощными плотинами, сверкали, как три зеркала с различным углом отражения; вода звонкими каскадами переливалась из одного водоема в другой. По плотинам можно было пройти с берега на берег, не огибая для этого всю долину. С балкона шале сквозь деревья видны были бесплодные плоские степи общинных земель, беспредельные, словно открытое море, и резко отличавшиеся от цветущей природы озер и лесов.

Когда Вероника увидела радость друзей, помогавших ей сесть в самую большую лодку, слезы выступили у нее на глазах, и она не могла произнести ни слова, пока лодка не достигла первой плотины. В то время, как все поднялись на плотину, чтобы перейти в следующую флотилию, Вероника заметила на острове прелестный новый домик и Гростета, сидевшего на скамье со всей своей семьей.

— Им хочется, чтобы я пожалела о жизни? — спросила она у кюре.

— Нам хочется помешать вам умереть, — ответил Клузье.

— Нельзя вернуть жизнь мертвецам, — возразила Вероника.

Господин Бонне бросил на свою духовную дочь суровый взгляд, и она снова замкнулась в себе.

— Позвольте мне заботиться о вашем здоровье, — нежным, умоляющим голосом произнес Рубо, — и я сохраню для кантона его живую славу, а для всех нас — друга, связующего воедино наши жизни.

Вероника опустила голову. Жерар начал медленно грести к острову, лежавшему посреди самого большого пруда. Вдали звенела вода, падающая из первого переполненного сейчас водоема, оглашая словно песней пленительный пейзаж.

— Вы хорошо сделали, избрав для прощания со мной этот восхитительный уголок, — сказала она, любуясь красивыми деревьями, закрывшими своей густой листвой оба берега.

В знак неодобрения друзья позволили себе лишь мрачное молчание, и Вероника, снова встретив взгляд г-на Бонне, легко соскочила на берег и постаралась принять веселый вид. Она снова стала владетельницей замка и была так очаровательна, что семья Гростета узнала в ней прекрасную г-жу Граслен прошлых дней.

— Ты можешь еще жить! — шепнула ей на ухо мать.

В этот прекрасный праздничный день, среди великолепия, созданного силами самой природы, ничто, казалось, не должно было огорчить Веронику, и все же именно тут настиг ее последний удар.

Общество собиралось вернуться в замок к девяти часам по пролегающим через луга дорогам, которые, не уступая по красоте английским и итальянским, являлись гордостью инженера. Запасы камней, сложенных во время расчистки равнины вдоль дорог, позволяли содержать их в таком порядке, что через пять лет они стали походить на шоссе. При выходе из первого ущелья, со стороны равнины почти у самого подножия Живой скалы, гостей поджидали экипажи. Вся упряжка состояла из лошадей, выращенных в Монтеньяке. Это было первое поколение, годное для продажи; управляющий конным заводом отобрал десять лошадей для конюшни замка, и испытание их качеств входило в программу праздника. Коляска г-жи Граслен, подарок Гростета, была запряжена четверкой самых красивых горячих коней в простой сбруе.

После обеда оживленное общество отправилось пить кофе в деревянной беседке, выстроенной по образцу беседок Босфора и расположенной на оконечности острова, откуда открывался вид на третий пруд. Домик Колора, — который, увидев, что ему не под силу выполнять трудные обязанности главного лесничего, сейчас занял место Фаррабеша, — составлял одну из главных прелестей пейзажа, замкнутого мощной плотиной Габу, красиво выделявшейся на фоне пышной зеленой растительности.

Госпожа Граслен надеялась увидеть из беседки Франсиса, который бегал где-то возле питомника, выращенного Фаррабешем. Она разыскивала его взглядом, но никак не могла найти; г-н Рюффен показал ей мальчика: он играл с детьми внучек Гростета на берегу озера. Вероника испугалась, как бы он не упал в воду. Никого не слушая, она вышла из беседки, вскочила в лодку, велела высадить себя на плотине и побежала к сыну. Это небольшое происшествие послужило сигналом к отъезду. Почтенный прадед Гростет предложил вернуться по живописной тропинке, которая огибала последние два озера, следуя прихотливым извивам гористых берегов. Издали г-жа Граслен увидела, что Франсиса обнимает какая-то женщина в трауре. Судя по форме шляпы и покрою платья, женщина эта была иностранкой. Испуганная Вероника позвала сына, который тотчас же прибежал.

— Кто эта женщина? — спросила она у детей. — И почему Франсис ушел от вас?

— Эта дама назвала его по имени, — сказала одна из девчушек.

В это время к ним подошли Жерар и матушка Совиа, опередившие остальных.

— Кто эта женщина, дорогой мой мальчик? — спросила г-жа Граслен у Франсиса.

— Я ее не знаю, — ответил малыш. — Но, кроме тебя и бабушки, никто меня так не ласкал. Она плакала, — шепнул он матери на ухо.

— Хотите, я побегу за ней? — предложил Жерар.

— Нет! — ответила г-жа Граслен непривычно резким тоном.

С чуткостью, которую Вероника сразу оценила, Жерар увел детей навстречу остальным гостям и оставил ее с матерью и сыном.

— Что она тебе сказала? — спросила старуха Совиа у внука.

— Не знаю, она говорила не по-французски.

— Ты ничего не понял? — спросила Вероника.

— Ах, она повторяла без конца одно и то же, вот почему я и запомнил: *dear brother*.

Вероника оперлась о руку матери, не выпуская руки сына. Но едва она сделала несколько шагов, как силы покинули ее.

— Что с ней? Что случилось? — спрашивали все у матушки Совиа.

— О! Моей дочери совсем плохо! — прерывающимся глухим голосом ответила старуха.

Госпожу Граслен отнесли в коляску на руках. Она пожелала, чтобы Алина с Франсисом сели с ней, и взяла в провожатые Жерара.

— Вы, кажется, бывали в Англии, — сказала она ему, немного оправившись, — и знаете английский. Что значит: dear brother?

— Кто же этого не знает! — воскликнул Жерар. — Это значит: *дорогой брат*.

Вероника бросила на мать и на Алину взгляд, от которого они затрепетали, но обе сдержали свое волнение.

Радостные крики, сопровождавшие отъезд, великолепие солнечного заката, безукоризненный бег лошадей, скачка следующих за экипажами всадников — ничто не могло вывести г-жу Граслен из оцепенения. Мать поторопила кучера, и коляска первой подъехала к замку. Когда общество вновь соединилось, гостям сообщили, что Вероника заперлась у себя и никого не принимает.

— Боюсь, — сказал Жерар друзьям, — что госпоже Граслен нанесен смертельный удар.

— Куда? Как? — раздались вопросы.

— В сердце, — ответил Жерар.

На третий день Рубо выехал в Париж; он нашел положение г-жи Граслен настолько серьезным, что для спасения ее жизни решил обратиться за помощью и советом к лучшему парижскому врачу. Но Вероника согласилась принять Рубо лишь затем, чтобы положить конец уговорам матери и Алины, умолявших ее позаботиться о себе: она чувствовала, что ранена насмерть. Она отказалась видеть г-на Бонне, велев ему передать, что еще не пришло время. Все приехавшие из Лиможа друзья пожелали остаться подле Вероники, но она просила извинить ее, если она изменит долгу гостеприимства; ей хотелось остаться в полном одиночестве. После поспешного отъезда Рубо гости монтеньякского замка вернулись в Лимож растерянные и подавленные, ибо все, кого привез с собой Гростет, обожали Веронику. Друзья терялись в догадках относительно причины этого таинственного несчастья.

Вечером, через два дня после отъезда многочисленного семейства Гростет, Алина ввела в комнату г-жи Граслен Катрин. Жена Фаррабеша остановилась как вкопанная при виде перемены, происшедшей с ее хозяйкой: Веронику нельзя было узнать.

— Господи, — воскликнула она, — какую беду натворила эта несчастная девушка! Знай мы об этом с Фаррабешем, ни за что бы ее не пустили к себе. Теперь она проведала, что мадам больна, и послала меня сказать госпоже Совиа, что хочет поговорить с ней.

— Она здесь! — вскричала Вероника. — Где же она?

— Муж отвел ее в шале.

— Отлично, — сказала г-жа Граслен, — оставьте нас и скажите Фаррабешу, что он может уйти. Передайте этой даме, что моя мать придет к ней, пусть она ждет.

С наступлением ночи Вероника вышла из дому и, опираясь на руку матери, медленным шагом направилась через парк к шале. Луна блистала, воздух был чист, природа словно хотела подбодрить взволнованных женщин. Матушка Совиа по временам останавливалась, чтобы дать отдых дочери; страдания Вероники были так невыносимы, что они только к полуночи вышли на тропинку, спускавшуюся из лесу к поросшему травой пригорку, на котором поблескивала серебристая кровля шале. Озаренная луной спокойная гладь озер отливала перламутром. Легкие ночные звуки, отчетливо слышные в тишине, сливались в сладостную гармонию. Вероника присела на скамейку, и со всех сторон ее обступила прекрасная звездная ночь. Тихий разговор двух голосов и скрип песка под шагами двоих людей донеслись издали по воде, которая передает все звуки в тишине так же верно, как отражает предметы в спокойную погоду. Вероника различила мягкий голос священника, шелест его сутаны и шуршание шелковой, должно быть, женской, одежды.

— Уйдем, — сказала Вероника матери.

Они вошли в низкое помещение, предназначавшееся для хлева, и присели на ясли.

— Дитя мое, — говорил священник, — я не браню вас, вы заслуживаете прощения, но по вашей вине может произойти непоправимое несчастье, ибо она душа этого края.

— О сударь, я уеду сегодня же, — отвечала чужестранка, — но я должна сказать вам, что покинуть родину второй раз — для меня равносильно смерти. Если бы я хоть один еще день осталась в этом ужасном Нью-Йорке, в Соединенных Штатах, где не знают ни надежды, ни веры, ни милосердия, я умерла бы, даже ничем не болея. Воздух, которым я дышала, разрывал мне грудь, пища не насыщала меня, я умирала, хотя с виду была полна жизни и здоровья. Муки мои прекратились, едва я ступила на палубу корабля: я почувствовала себя во Франции. О сударь! Я видела, как умерли с горя моя мать и одна из невесток. Мой дедушка Ташрон и моя бабушка тоже умерли, умерли, дорогой мой господин Бонне, несмотря на невиданное процветание Ташронвиля. Да, мой отец основал поселок в штате Огайо. Этот поселок превратился чуть ли не в город, и треть принадлежащих ему земель обрабатывает наша семья, которой во всем помогает бог: посевы наши удались, продукты у нас отменные, и мы богаты. Мы даже выстроили католическую церковь. Все жители нашего города — католики, мы не допускаем людей другой веры и надеемся своим примером обратить тысячи сект, которые нас окружают. Истинную религию исповедует меньшинство в этой мрачной стране денег и расчета, где стынет человеческая душа. И все же я вернусь туда и лучше умру, чем причиню малейшее горе матери нашего дорогого Франсиса. Об одном только прошу вас, господин Бонне, проводите меня сегодня ночью на кладбище, чтобы я могла помолиться на *его* могиле. Она одна влекла меня сюда; но, приближаясь к месту, где он лежит, я чувствовала, что становлюсь совсем другой. Нет! Никогда я не думала, что буду так счастлива здесь!

— Ну что ж, — сказал кюре, — пойдемте. Если настанет день, когда вы сможете вернуться без помехи, я напишу вам, Дениза. Быть может, побывав на родине, вы будете меньше страдать на чужбине...

— Покинуть родину теперь, когда она так прекрасна! Подумайте только, что сделала г-жа Граслен с потоком Габу, — сказала девушка, указывая на озаренный луной пруд. — И все эти владения будут принадлежать нашему дорогому Франсису!

— Нет, вы не уедете, Дениза, — произнесла г-жа Граслен, появляясь в дверях хлева.

Сестра Жана-Франсуа Ташрона всплеснула руками при виде заговорившего с ней призрака. Бледная, освещенная луной Вероника казалась привидением, которое возникло из сгустившегося за дверью мрака. Глаза ее сверкали, как звезды.

— Нет, дочь моя, вы не покинете родную землю, ради которой приехали из такой дали, и вы будете тут счастливы, или бог откажется помогать мне в моих делах. Ведь это он послал вас сюда!

Она взяла пораженную Денизу за руку и повела ее по тропинке на другой берег озера, оставив мать на скамейке вместе с кюре.

— Предоставим ей поступать по собственной воле, — сказала старуха.

Через несколько минут Вероника вернулась одна. Кюре и мать довели ее до замка. Очевидно, Вероника решила держать свой замысел в тайне, ибо никто в деревне не видел Денизу и ничего о ней не слышал.

Госпожа Граслен слегла в постель и больше уже не вставала. С каждым днем ей становилось все хуже; она досадовала, что не может подняться, не раз пыталась выйти на прогулку в парк, но напрасно. И все же в начале июня, через несколько дней после рокового происшествия, сделав отчаянное усилие, она поднялась и пожелала принарядиться и надеть драгоценности, словно в праздничный день. Она попросила Жерара подать ей руку, — инженер, так же как все друзья, каждый день приходил справляться о ее здоровье. Когда Алина сказала, что ее хозяйка хочет погулять, все прибежали в замок. Г-жа Граслен, которая собрала все свои силы, казалось, исчерпала их во время этой прогулки. Она выполнила свое намерение огромным напряжением воли, и это неизбежно должно было привести к роковым последствиям.

— Пойдемте в шале, но только вдвоем, — нежным голосом сказала она Жерару, глядя на него с некоторым кокетством. — Это, наверно, моя последняя вольная выходка: сегодня ночью мне снилось, что приехали врачи.

— Вы хотите осмотреть леса? — спросил Жерар.

— Да, последний раз, — ответила она и добавила таинственным тоном: — Но, кроме того, я хочу сделать вам одно странное предложение.

Вероника велела Жерару сесть с ней в лодку на втором озере, к которому они пришли пешком. Когда инженер, удивляясь про себя тому, что она сделала такую дальнюю прогулку, взялся за весла, она указала ему на свой домик — это была цель их путешествия.

— Друг мой, — продолжала она, помолчав и обведя долгим взглядом небеса, воду, холмы и берега, — у меня к вам весьма странная просьба, но я надеюсь, что мою просьбу вы исполните.

— Любую! Я уверен, что вы можете хотеть только добра! — воскликнул он.

— Я хочу женить вас, — продолжала она, — и вы исполните желание умирающей, уверенной в том, что она создаст ваше счастье.

— Но я слишком безобразен, — возразил инженер.

— Девушка эта хороша, она молода, она хочет жить в Монтеньяке. Если вы женитесь на ней, вы скрасите последние дни моей жизни. Нам нечего говорить о ее душевных качествах, это — существо избранное. А так как одного взгляда достаточно, чтобы оценить ее прелесть, молодость и красоту, то мы сейчас и увидимся с ней. На обратном пути вы мне ответите окончательно: *да* или *нет*.

После этого доверительного сообщения инженер стал грести так торопливо, что вызвал невольную улыбку на губах г-жи Граслен. Дениза, которая скрывалась от всех глаз в домике на острове, узнав г-жу Граслен, поспешила открыть дверь. Вероника и Жерар вошли. Бедная девушка вспыхнула, встретив взгляд инженера, который был поражен ее красотой.

— Катрин позаботилась о вас? — спросила Вероника.

— Как видите, сударыня, — ответила Дениза, показав накрытый к завтраку стол.

— Вот господин Жерар, о котором я вам говорила, — продолжала Вероника. — Он станет опекуном моего сына, и после моей смерти вы вместе будете жить в замке до совершеннолетия Франсиса.

— О сударыня, не говорите так!

— Но посмотрите на меня, дитя мое, — сказала она Денизе, у которой сразу выступили слезы на глазах. — Она приехала из Нью-Йорка, — обратилась Вероника к Жерару.

Этими словами она вовлекла Жерара в разговор. Он задал несколько вопросов Денизе, и Вероника отпустила их посмотреть третье озеро Габу и тем временем побеседовать. Около шести часов Жерар и Вероника возвращались в лодке обратно к шале.

— Что вы мне скажете? — спросила она, глядя на инженера.

— Даю вам свое слово.

— Хотя вы и лишены предрассудков, — продолжала она, — я должна вам рассказать об ужасных обстоятельствах, вынудивших бедную девочку покинуть деревню, куда ее вновь привела тоска по родине.

— Какой-нибудь проступок?

— О, нет! — воскликнула Вероника. — Неужели бы я тогда знакомила вас? Она сестра молодого рабочего, который погиб на эшафоте...

— А! Ташрона, — подхватил Жерар, — убийцы папаши Пенгре...

— Да, она сестра убийцы, — повторила г-жа Граслен с невыразимой иронией, — можете взять обратно свое слово...

Она не кончила фразы; Жерару пришлось на руках отнести ее в шале, где она пролежала несколько минут без чувств. Очнувшись, она увидела у своих ног Жерара, который воскликнул, едва она открыла глаза: — Я женюсь на Денизе!

Госпожа Граслен подняла Жерара и, взяв его за голову, поцеловала в лоб. Заметив, что он удивлен подобным выражением благодарности, Вероника пожала ему руку и сказала:

— Скоро вы узнаете разгадку этой тайны. Поторопимся вернуться на террасу, где ждут нас друзья. Уже очень поздно, а я очень слаба, но все же хоть издали я хочу попрощаться со своей дорогой равниной!

День был знойный, но грозы, которые, пощадив Лимузен, прокатились в этом году по большей части Европы и Франции, достигли теперь бассейна Луары, и воздух к вечеру посвежел. На фоне ясного неба четко рисовались все линии горизонта. Какими словами описать чудесную музыку приглушенных шумов деревни, встречающей тружеников после возвращения с полей? Для того, чтобы воссоздать это зрелище, нужно быть и великим пейзажистом и живописцем человеческих лиц. В непередаваемом своеобразном единении сливаются усталость человека и усталость природы. Малейший шум полнозвучно отдается в разреженном воздухе остывающего жаркого дня. Женщины сидят у порога и, поджидая мужчин, с которыми зачастую прибегают и ребятишки, судачат между собой, продолжая усердно вязать. Над крышами вьется дымок, предвещая последнюю дневную трапезу, самую радостную для крестьян: после нее они лягут спать. В общем оживлении отражаются спокойные, счастливые мысли людей, завершивших трудовой день. Слышны вечерние песни, совсем непохожие на утренние. В этом сельские жители подобны птицам, чье вечернее воркование так отличается от веселых утренних трелей. Природа поет гимн отдыху, как по утрам поет она радостный гимн восходящему солнцу. Все живое окрашено нежными гармоническими красками, которые закат разливает по деревне, сообщая мягкий оттенок даже песку на проселочных дорогах. Если кто и посмеет противиться чарам этого прекраснейшего часа, его покорят цветы своим пьянящим благоуханием, неотделимым от нежного звона насекомых, от влюбленного щебета птиц. Распаханное поле за деревней подернулось легкой прозрачной дымкой тумана. На луговых просторах, прорезанных большой дорогой, обсаженной хорошо принявшимися, тенистыми тополями, акациями и японскими айлантами, гуляют огромные превосходные стада; коровы разбрелись по лугам — одни жуют жвачку, другие еще пасутся. Женщины, мужчины и дети заняты прекраснейшей из полевых работ: косят сено. Вечерний воздух, освеженный дыханием дальней грозы, доносит живительный аромат скошенной травы и уже увязанного в вязанки сена. Вся прекрасная панорама открывалась глазу до мельчайших подробностей; были ясно видны работавшие люди: кто, опасаясь грозы, поспешно метал стога, вокруг которых суетились подносчики с охапками сена на вилах; кто нагружал повозки вязанками сена; кто еще косил вдалеке; кто ворошил лежавшую длинными пластами траву, чтобы она скорее сохла; кто сгребал ее в маленькие стожки. Слышны были крики и смех ребятишек, кувыркавшихся в куче сена. Мелькали розовые, красные и голубые юбки, косынки, загорелые руки и ноги женщин, защищенных от солнца широкополыми соломенными шляпами, темные рубахи и белые штаны мужчин. Последние солнечные лучи просачивались сквозь листву тополей, посаженных вдоль канав, деливших равнину на неравные участки, и озаряли разбросанные по лугам повозки, запряженные лошадьми, пасущиеся стада, пестрые группы мужчин, женщин и детей. Погонщики быков и пастушки начали сгонять свои стада, сзывая их пением пастушьего рожка. Эта сцена была одновременно шумной и безмолвной — странное противоречие, которое удивит лишь людей, незнакомых с прелестями сельской жизни. С обоих концов в деревню непрерывной чередой въезжали повозки, нагруженные зеленым сеном. В этом зрелище было что-то завораживающее. И Вероника молча шла между кюре и Жераром. Когда через проулок между домами, расположенными ниже террасы и церкви, открылся вид на главную улицу Монтеньяка, Жерар и г-н Бонне заметили, что взгляды всех женщин, мужчин и детей устремлены на них, а главным образом, конечно, на г-жу Граслен. Сколько любви и признательности выражали эти лица! Какие благословения летели вслед Веронике! С каким набожным почтением смотрели все на трех благодетелей этого края! Так человек сливал свой благодарственный гимн с торжественной музыкой вечера.

Госпожа Граслен не отрывала глаз от великолепной зелени лугов — самого любимого ее детища, но священник и мэр наблюдали за стоящими внизу крестьянами; в выражении их лиц трудно было ошибиться: на них читались скорбь, печаль и сожаления, смешанные с надеждой. Все в Монтеньяке знали, что г-н Рубо отправился в Париж за учеными людьми и что благодетельницу кантона сразил смертельный недуг. На всех рынках в округе десяти лье крестьяне спрашивали у жителей Монтеньяка: «Как чувствует себя ваша хозяйка?» И великая тайна смерти парила над деревней, над этой мирной сельской картиной. Далеко в лугах косарь, отбивавший косу, девушка с вилами в руках, фермер, стоявший на стогу, глубоко задумывались при виде этой великой женщины, славы департамента Коррезы, они искали признаков благодетельной перемены и любовались Вероникой, радуясь и забывая о работе. «Она гуляет, значит, ей стало полегче!» Эти простые слова были на устах у всех.

Мать г-жи Граслен сидела на железной скамье, которую Вероника велела поставить в углу террасы, откуда открывался вид на кладбище. Она смотрела, как идет Вероника по дорожке, и слезы струились у нее по лицу. Мать знала, что, собрав все свое мужество, Вероника борется с предсмертными муками и держится на ногах лишь благодаря героическим усилиям воли. Эти почти кровавые слезы, пробежавшие по изрезанному морщинами пергаментному лицу, никогда не выдававшему ни малейшего волнения, вызвали ответные слезы у маленького Франсиса, который сидел на коленях у г-на Рюффена.

— Что с тобой, дитя мое? — испуганно спросил воспитатель.

— Бабушка плачет, — ответил мальчик.

Господин Рюффен, который смотрел на приближавшуюся к ним г-жу Граслен, перевел взгляд на матушку Совиа, и сердце у него дрогнуло, когда он увидел это старое лицо римской матроны, окаменевшее от горя и залитое слезами.

— Почему вы не уговорили ее остаться дома, сударыня? — спросил воспитатель у старой матери, немое горе которой было для всех священно.

Вероника шла величественной походкой, держась с обычным своим изяществом, и тут у матушки Совиа, впавшей в отчаяние при мысли, что она переживет свою дочь, вырвались слова, которые многое объяснили.

— Она ходит, — крикнула старуха, — ходит, а на ней эта страшная власяница, которая исколола всю ее кожу!

При этих словах молодой человек похолодел. Он всегда восхищался грациозными движениями Вероники и содрогнулся, подумав об этой ужасной неусыпной власти души над телом. Любая парижанка, славившаяся непринужденностью обращения, осанкой и походкой, должна была бы уступить пальму первенства Веронике.

— Она не снимает ее вот уже тринадцать лет, с тех пор, как перестала кормить малютку, — продолжала старуха, указав на Франсиса. — Здесь она сотворила чудеса, но если бы стало известно, как она живет, ее бы канонизировали. С тех пор, как мы здесь, никто не видел, чтобы она ела. А знаете, почему? Три раза в день Алина приносит ей кусок черствого хлеба и сваренные без соли овощи в глиняной миске, из которой разве только собак кормить! Да, вот как питается женщина, которая вернула жизнь всему кантону. Она молится, стоя коленями на подоле своей власяницы. Если бы она не умерщвляла свою плоть, говорит она, никогда бы вы не видели ее такой веселой. Я говорю это вам, — продолжала старуха шепотом, — чтобы вы все рассказали врачу, за которым поехал в Париж г-н Рубо. Если он запретит моей дочери продолжать покаяние, быть может, он спасет ей жизнь, хотя рука смерти уже занесена над ее головой. Взгляните на нее! Ах! Сколько сил понадобилось мне, чтобы вынести эти пятнадцать лет!

Старуха взяла внука за руку, провела ею по своему лбу и щекам, словно эта детская ручонка источала целительный бальзам, и прижалась к ней поцелуем, полным любви, тайна которой принадлежит бабушкам наравне с матерями. Вероника вместе с Клузье, священником и Жераром была уже в нескольких шагах от скамьи. Озаренная мягким светом заката, она блистала пугающей красотой. На ее пожелтевшем лбу, прорезанном длинными морщинами, набегающими одна на другую, словно облака, лежала печать упорной мысли и внутренних тревог. Лишенное красок, совершенно белое лицо отличалось матовой зеленоватой белизной растений, не знающих солнца. Очерченное тонкими, но не сухими линиями, оно несло на себе следы ужасных физических страданий, порожденных муками нравственными. Душа и тело Вероники находились в непрерывном борении. Она была настолько измождена, что походила на себя не более, чем дряхлая старуха на свой девический портрет. В пылающих глазах отражалась деспотическая власть, которую дала ей христианская воля над телом, превратившимся в то, чего потребовала религия. Душа этой женщины влекла за собой тело, как Ахилл, воспетый языческой поэзией, тащил за собой труп Гектора; душа с победным кличем влачила тело по каменистым дорогам жизни; в течение пятнадцати лет она кружила с ним вокруг небесного Иерусалима, в который хотела войти не с помощью обмана, а торжествуя свою победу. Ни один из отшельников, живших в сухих, бесплодных африканских пустынях, не подавлял свои чувства более сурово, чем Вероника, живя в роскошном замке, в благодатном краю, среди живописной ласковой природы, под защитой огромного леса, из которого по слову науки — наследницы Моисеева жезла — забил источник изобилия, процветания и счастья для всей округи. Она созерцала плоды двенадцатилетних терпеливых трудов, достойных стать гордостью любого выдающегося человека, с той кроткой скромностью, которую кисть Понтормо придала неземному лику христианской Чистоты, ласкающей небесного единорога. Набожная владетельница замка шла, скрестив руки на груди и вперив глаза в далекий горизонт, а сопровождавшие ее спутники не смели нарушить молчание, глядя, как озирает она бескрайние, некогда бесплодные равнины, ныне полные жизни.

Но вот Вероника остановилась в двух шагах от матери, которая смотрела на нее так, как, наверно, смотрела богоматерь на распинаемого Христа, и, подняв руку, указала на развилку шоссе, от которой отделялась монтеньякская дорога.

— Видите коляску, запряженную почтовыми лошадьми? — улыбаясь, спросила она. — Это возвращается господин Рубо. Скоро мы узнаем, сколько часов осталось мне жить.

— Часов! — воскликнул Жерар.

— Разве я не сказала вам, что это моя последняя прогулка? — ответила она Жерару. — Разве не затем я вышла, чтобы последний раз полюбоваться этим прекрасным зрелищем во всем его блеске? — Она показала на деревню, все население которой высыпало в этот час на церковную площадь, и на зеленые луга, озаренные последними лучами солнца. — Ах, — продолжала она, — не мешайте мне видеть благословение божье в этих странных явлениях природы, которые позволили нам собрать урожай! Вокруг нас грозы, ливни, гром и град разят все, не зная ни отдыха, ни жалости. Так думает народ, почему же не думать мне так вместе с ним? Я хочу видеть тут доброе предзнаменование того, что ждет меня, когда я закрою глаза!

Франсис встал и, взяв руку матери, провел ею по своим волосам. Вероника, тронутая этой красноречивой лаской, схватила сына в объятия, со сверхъестественной силой подняла его, усадила, словно грудного младенца, к себе на левую руку и, поцеловав, сказала:

— Видишь эту землю, сын мой? Когда ты станешь мужчиной, продолжай дело своей матери.

— Не много есть сильных, избранных людей, которым дано смотреть смерти в лицо, вступать с ней в долгий поединок и проявлять при этом мужество и искусство, достойные восхищения! Вы показали нам это ужасное зрелище, сударыня, — строго произнес священник. — Но вы, должно быть, не чувствуете к нам жалости. Позвольте нам по крайней мере надеяться, что вы ошибаетесь. Бог даст, вы завершите начатые вами труды.

— Все я делала с вашей помощью, друзья мои, — ответила она. — Я могла быть вам полезна, но больше уже не могу. Все зазеленело вокруг нас, и теперь печально здесь лишь одно мое сердце. Вы знаете, дорогой мой кюре, что мир и прощение я могу найти только там...

И она показала на кладбище. Никогда она так не говорила со дня своего приезда, когда ей стало дурно на этом же месте. Кюре взглянул на свою духовную дочь и, за многие годы научившись проникать в ее душу, понял, что в этих простых словах таилась новая его победа. Вероника должна была сделать над собой ужасное усилие, чтобы нарушить двенадцатилетнее молчание такой многозначительной фразой. И кюре, благоговейно сложив руки, с глубоким религиозным волнением посмотрел на эту семью, все тайны которой хранились в его сердце. Жерар, которому слова о мире и прощении показались странными, замер в изумлении. Ошеломленный г-н Рюффен не сводил глаз с Вероники. Тем временем несущаяся во весь опор коляска приближалась по обсаженной деревьями дороге.

— Их пятеро! — воскликнул кюре, успевший сосчитать седоков.

— Пятеро! — отозвался Жерар. — Как будто пятеро знают больше, чем двое?

— Ах! — вскрикнула г-жа Граслен, схватив кюре за руку. — С ними главный прокурор! Зачем он приехал сюда?

— И дедушка Гростет! — закричал маленький Граслен.

— Сударыня, — сказал кюре, поддержав г-жу Граслен и отведя ее в сторону, — найдите в себе мужество, будьте достойны самой себя!

— Чего он хочет? — повторяла она, опираясь на балюстраду. — Матушка!

Старуха Совиа бросилась к дочери с живостью, несвойственной ее возрасту.

— Я снова увижу его, — сказала Вероника.

— Раз он приехал с господином Гростетом, — сказал кюре, — то, несомненно, у него добрые намерения.

— Ах, сударь! Моя дочь умрет! — воскликнула матушка Совиа, увидев, какое впечатление произвели на дочь эти слова. — Может ли человеческое сердце вынести такие жестокие волнения? Господин Гростет все время не давал ему увидеться с Вероникой.

Лицо г-жи Граслен пылало.

— Итак, вы его ненавидите? — спросил аббат Бонне у своей духовной дочери.

— Она уехала из Лиможа, чтобы не посвящать в свою тайну весь город, — сказала матушка Совиа, в испуге глядя, как быстро менялось и без того искаженное лицо г-жи Граслен.

— Разве вы не видите, что он отравляет последние оставшиеся мне часы? Я должна думать только о небе, а он словно гвоздями прибивает меня к земле! — крикнула Вероника.

Кюре взял г-жу Граслен под руку и повел ее за собой; когда они остались вдвоем, он устремил на нее свой кроткий взгляд, которым успокаивал самые сильные душевные бури.

— Если это так, — сказал он, — приказываю вам как ваш духовник принять его, быть с ним ласковой и приветливой, сбросить с себя бремя гнева и простить его, как бог простит вас. Значит, живут еще остатки страсти в душе, которая, казалось мне, очистилась от скверны. Сожгите это последнее зерно ладана на алтаре покаяния, не то все в вас останется ложью.

— Мне суждено было сделать еще и это усилие, теперь оно сделано, — ответила она, утирая слезы. — Дьявол таился в этом уголке моего сердца; я знаю, бог вложил в сердце господина Гранвиля мысль приехать сюда. Доколе будет господь разить меня? — воскликнула она.

Она остановилась, чтобы мысленно произнести молитву, и, вернувшись к матери, тихонько сказала ей:

— Дорогая матушка, будьте ласковы и добры с господином главным прокурором.

Старая овернка содрогнулась от ужаса.

— Надежды больше нет, — прошептала она, схватив священника за руку.

В это время раздалось щелканье бича, и коляска, преодолев подъем, въехала через открытые ворота во двор; приезжие тут же направились к террасе. То были прославленный архиепископ Дютейль, прибывший в Лимож, чтобы посвятить в сан монсеньера Габриэля де Растиньяка, главный прокурор, Гростет и г-н Рубо, шедший об руку с одним из самых знаменитых парижских врачей, Орасом Бьяншоном.

— Добро пожаловать, — сказала Вероника гостям. — А вам я особенно рада, — добавила она, пожимая руку главному прокурору.

Изумление г-на Гростета, архиепископа и матушки Совиа было так велико, что им изменила обычная сдержанность, присущая старикам. Все трое переглянулись...

— Я рассчитывал на заступничество монсеньера и моего друга господина Гростета, — отвечал г-н де Гранвиль, — чтобы вымолить у вас доброжелательный прием. Я горевал бы до конца своих дней, если бы не увидел вас.

— Благодарю того, кто привел вас сюда, — сказала Вероника, глядя на графа де Гранвиля впервые за последние пятнадцать лет. — Я долго питала к вам недобрые чувства, но теперь поняла, что была несправедлива, и вы узнаете, почему, если останетесь в Монтеньяке до послезавтра. Господин Бьяншон, — продолжала она, здороваясь с Орасом Бьяншоном, — несомненно, подтвердит мои опасения. Сам бог послал вас, монсеньер, — сказала она, склоняясь перед архиепископом. — Во имя старой дружбы вы не откажетесь напутствовать меня в последние минуты. Какой милости я обязана тем, что собрались вокруг меня все, кто любил и поддерживал меня всю жизнь?

При слове *любил* она с прелестной улыбкой посмотрела на г-на де Гранвиля, которого до слез тронуло это проявление дружбы. Глубокое молчание царило при встрече. Оба врача, догадываясь о муках, которые терпела Вероника, мысленно спрашивали себя, каким чудом держится эта женщина на ногах. Остальные три гостя были так испуганы страшной переменой в облике Вероники, что могли выражать свои мысли только взглядами.

— Позвольте мне, — сказала она с обычной своей милой манерой, — удалиться вместе с двумя этими господами. Дело не терпит отлагательства.

Она улыбнулась гостям и, опираясь на руки обоих врачей, направилась к замку неверной, медленной походкой, которая предвещала близкую катастрофу.

— Господин Бонне, — сказал архиепископ, глядя на кюре, — вы сотворили чудеса.

— Не я, а бог, монсеньер, — возразил кюре.

— Говорили, что она умирает, — сказал г-н Гростет, — но она мертва, остался один дух...

— Душа, — поправил Жерар.

— Она всегда неизменна! — воскликнул главный прокурор.

— Она подобна стоикам античных времен, — заметил воспитатель.

Все молча прошлись вдоль балюстрады, рассматривая окрестный пейзаж, освещенный красными отблесками вечерней зари.

— Для меня, видевшего эти места тринадцать лет назад, — сказал архиепископ, указывая на плодородные равнины, на долину и горы Монтеньяка, — все это кажется таким же чудом, как то, чему мы были сейчас свидетелями: почему вы позволили госпоже Граслен подняться? Ей следовало лежать.

— Она лежала, — ответила матушка Совиа. — Но, проведя в постели десять дней, она захотела встать и последний раз осмотреть поместье.

— Я понимаю, что ей хотелось попрощаться с делом своей жизни, — сказал г-н де Гранвиль, — но она могла умереть здесь, на террасе.

— Господин Рубо советовал нам не спорить с ней, — возразила матушка Совиа.

— Какое чудо! — снова воскликнул архиепископ, который не мог оторвать глаз от равнины. — Она возделала пустыню! Но мы знаем, сударь, — добавил он, обращаясь к Жерару, — как много заложено тут ваших знаний и трудов.

— Мы все были только ее рабочими, — заметил мэр. — Да, мы были только руками, мыслью была она!

Матушка Совиа оставила гостей, чтобы узнать о решении парижского врача.

— Нам понадобится героизм, чтобы присутствовать при ее смерти, — сказал главный прокурор архиепископу и кюре.

— Да, — откликнулся г-н Гростет, — но для такого друга надо идти на все.

Обуреваемые мрачными мыслями, они молча ходили взад и вперед по террасе; в это время к ним подошли два фермера г-жи Граслен, которых послали снедаемые горьким нетерпением жители деревни, чтобы узнать приговор, вынесенный парижским врачом.

— Они совещаются, мы сами ничего еще не знаем, друзья мои, — ответил архиепископ.

Тут из замка поспешно вышел г-н Рубо, все бросились к нему.

— Ну, как она? — спросил мэр.

— Ей осталось не больше двух суток жизни, — отвечал г-н Рубо. — В мое отсутствие болезнь зашла далеко; господин Бьяншон понять не может, как она держалась на ногах. Такие необычайные явления можно объяснить только состоянием экзальтации. Итак, господа, — обратился врач к архиепископу и кюре, — она принадлежит вам, наука бессильна, и мой знаменитый собрат полагает, что вам едва хватит времени для свершения всех церемоний.

— Пойдемте, вознесем богу свои молитвы, — сказал кюре прихожанам. — Ваше преосвященство, без сомнения, соблаговолит причастить ее святых тайн?

Архиепископ наклонил голову, он не мог произнести ни слова, глаза его были полны слез. Каждый — кто сидя, кто опустив голову на руки, кто опершись на балюстраду — погрузился в свои мысли. Раздался печальный звон церковного колокола. И тут послышались шаги множества людей: все население деревни двинулось к порталу храма. Отблеск зажженных свечей осветил деревья в саду г-на Бонне. Зазвучало торжественное пение. Над полями царило угасающее зарево заката, птичий щебет умолк. Только лягушки тянули свою долгую, звонкую и тоскливую трель.

— Пойду исполнять долг свой, — произнес подавленный горем архиепископ и медленным шагом направился в замок.

Совет врачей происходил в большой зале замка. Огромная зала сообщалась с парадной спальней, отделанной красной камкой, — эту комнату тщеславный Граслен обставил со всей роскошью, принятой у финансистов. За четырнадцать лет Вероника побывала здесь не более шести раз, парадные апартаменты ей были совершенно не нужны, она никогда там не принимала; но выполнение последнего долга и борьба с последней вспышкой возмущения лишили ее сил; она не в состоянии была подняться к себе. Когда знаменитый врач взял больную за руку и нащупал пульс, он только молча посмотрел на г-на Рубо; они вдвоем подняли ее и понесли на стоявшую в спальне кровать. Алина поспешно распахнула дверь. Как на всех парадных кроватях, на этой кровати не было белья. Врачи уложили Веронику поверх красного камчатного покрывала. Рубо открыл окна, поднял занавеси и позвал кого-нибудь на помощь. Прибежали слуги и матушка Совиа. В канделябрах зажгли пожелтевшие свечи.

— Видно, суждено было, — улыбаясь, воскликнула умирающая, — чтобы моя смерть стала тем, чем и должна быть смерть для христианской души, — праздником!

Во время осмотра она добавила:

— Главный прокурор сделал свое дело — я умирала, он поторопил меня...

Старуха мать взглянула на дочь и поднесла палец к губам.

— Я буду говорить, матушка, — ответила ей Вероника. — Подумайте! Перст божий виден во всем: я умираю в красной комнате.

Матушка Совиа вышла, испуганная ее словами.

— Алина, — крикнула старуха, — она заговорила, она заговорила!

— Ах, барыня уже не в здравом уме! — воскликнула верная служанка, которая в это время несла простыни для Вероники. — Бегите за господином кюре, сударыня!

— Вашу хозяйку нужно раздеть, — сказал Бьяншон вошедшей Алине.

— Это будет нелегко, на сударыне надета власяница из конского волоса.

— Как! В девятнадцатом веке еще существуют подобные ужасы? — воскликнул великий врач.

— Госпожа Граслен никогда не позволяла мне даже прощупать желудок, — заметил г-н Рубо, — я мог следить за ходом болезни лишь по ее лицу, по состоянию пульса, по сведениям, которые получал от матери и горничной.

Веронику перенесли на диван, пока устраивали постель на парадной кровати, стоявшей в глубине комнаты. Врачи переговаривались вполголоса. Матушка Совиа и Алина хлопотали с бельем. На лица обеих овернок страшно было смотреть, сердца их разрывались от страшной мысли: «Мы готовим для нее постель последний раз, здесь она и умрет!»

Осмотр был недолгим. Прежде всего Бьяншон потребовал, чтобы Алина и матушка Совиа, не слушая больную, силой разрезали власяницу и надели на нее рубашку. Во время этой процедуры врачи вышли в залу. Проходя мимо них с завернутым в салфетку страшным орудием покаяния, Алина сказала:

— Тело госпожи Граслен — сплошная язва.

Оба врача вошли в комнату.

— У вас, сударыня, воля более сильная, чем у Наполеона, — сказал Бьяншон после того, как задал Веронике несколько вопросов, на которые она отвечала с полной ясностью мысли, — вы сохраняете все свои умственные способности в последнем периоде болезни, когда император утратил могучую силу своего интеллекта. Судя по тому, что я знаю о вас, я могу говорить вам правду.

— Умоляю вас об этом на коленях, — сказала она. — Вы можете точно измерить, сколько мне еще отпущено жизненных сил, они все понадобятся мне на последние несколько часов.

— Тогда думайте только о своем спасении, — сказал Бьяншон.

— Если бог оказывает мне милость, позволяя мне умереть сразу, — произнесла Вероника с ангельской улыбкой, — поверьте, что милость эта пойдет на благо церкви. Присутствие духа необходимо мне теперь, чтобы выполнить замысел божий, а Наполеон к этому времени завершил уже предначертанный ему путь.

Оба врача в изумлении переглянулись, услышав эти слова, произнесенные так непринужденно, словно г-жа Граслен беседовала с ними в своей гостиной.

— А! Вот и врач, который исцелит меня! — сказала Вероника, увидев входящего архиепископа.

Она собрала все силы, чтобы сесть, опираясь на подушки, любезно попрощалась с г-ном Бьяншоном, попросив его принять от нее не деньги, а подарок за добрую весть, которую он принес ей; она шепнула несколько слов матери, и та увела врача. Беседу с архиепископом Вероника отложила до прихода кюре, а пока выразила желание немного отдохнуть. Алина бодрствовала подле своей хозяйки. В полночь г-жа Граслен проснулась и спросила, где архиепископ и кюре. Служанка указала на них — они молились за Веронику. Она знаком отправила мать и Алину, и по второму ее знаку оба пастыря подошли к кровати.

— Монсеньер и вы, господин кюре, я не скажу вам ничего, что не было бы вам уже известно. Вы, монсеньер, первый заглянули в мою совесть, вы прочли в ней почти все мое прошлое, и этого беглого взгляда оказалось для вас достаточно. Мой духовник, этот ангел, которого послал мне бог, знает больше; ему я должна была признаться во всем. Ум ваш просвещен духом церкви, с вами я хочу посоветоваться, что мне делать, чтобы умереть истинной христианкой. Вы, суровые святые души, верите ли вы, что небо ответит прощением на самое глубокое раскаяние, какому предавалась когда-либо грешная душа? Думаете ли вы, что я исполнила свой долг на земле?

— Да, — ответил архиепископ. — Да, дочь моя.

— Нет, отец мой, нет, — возразила она, выпрямившись и сверкая глазами. — Здесь, рядом, лежит в могиле несчастный, который несет на себе бремя ужасного преступления, а в роскошном замке живет женщина, которая славится своими благодеяниями и добродетелями. Все благословляют эту женщину! Все проклинают несчастного юношу! На преступника пало всеобщее осуждение — я пользуюсь везде почетом. Я больше него виновна в злодеянии, а в тех добрых делах, что принесли мне столько славы и признательности, большая доля принадлежит ему. Мне, обманщице, воздают почести; он, жертва своей скромности, покрыт позором! Через несколько часов я умру, и весь кантон будет оплакивать меня, весь департамент будет славить мои благодеяния, мое благочестие, мои добродетели; а он умер, провожаемый проклятиями, на глазах у толпы, привлеченной на площадь ненавистью к убийце! Вы, мои судьи, вы милосердны; но я сама слышу властный голос, и он не дает мне покоя. Ах! Рука господа, более жесткая, чем ваша, разила меня изо дня в день, словно предупреждая, что еще не все я искупила. Мои грехи можно искупить только публичным покаянием. Он теперь счастлив! За свое преступление он принял позорную смерть перед богом и людьми. А я все еще обманываю весь мир, как обманула земное правосудие. Каждая дань уважения оскорбляет меня, каждая похвала ранит мое сердце. Разве не видите вы в приезде главного прокурора веление неба, согласное с голосом, который кричит мне: сознайся!

Оба священника, князь церкви и смиренный кюре, эти сильные умы, молчали, опустив глаза. Судьи, слишком взволнованные величием и покорностью грешницы, не решались произнести свой приговор.

— Дитя мое, — сказал архиепископ, поднимая свое прекрасное лицо, изможденное постом и молитвой, — вы идете дальше требований церкви. Слава церкви в том, чтобы сочетать свои догмы с нравами каждой эпохи, ибо церкви суждено идти вместе с человечеством веками веков. По ее решению тайная исповедь заменила исповедь публичную. Эта замена создала новые законы. Достаточно тех страданий, которые вы претерпели. Усните с миром: бог услышал вас.

— Но разве желание преступницы не согласно с законами ранней церкви, которая дала небу столько святых, мучеников и проповедников, сколько есть звезд на тверди небесной? — пылко возразила Вероника. — Кто же воззвал: *покайтесь друг перед другом* ? Разве не ближайшие ученики спасителя нашего? Позвольте мне открыто, на коленях, покаяться в моем позоре! Только так исправлю я зло, которое причинила людям, причинила несчастной семье, изгнанной и почти вымершей по моей вине. Люди должны узнать, что мои благодеяния — это не дар, а уплата долга. А вдруг потом, после моей смерти, какой-нибудь случай сорвет скрывающую меня завесу лжи?.. Ах, при этой мысли я чувствую, как приближается мой смертный час!

— В этих словах я вижу расчет, дитя мое, — сурово сказал архиепископ. — В вас сильны еще страсти, особенно та, которая, казалось мне, уже угасла...

— О, клянусь вам, монсеньер, — воскликнула Вероника, прервав прелата и глядя на него остановившимися от ужаса глазами, — сердце мое очищено раскаянием, на какое только способна согрешившая женщина: я вся полна лишь мыслью о боге.

— Предоставим, монсеньер, правосудию небесному идти своим путем, — сказал кюре дрогнувшим голосом. — Вот уже четыре года я противлюсь этому намерению, в нем заключается единственный повод для споров между мною и моей духовной дочерью. Эта душа открыта передо мной до дна, земля больше не имеет на нее прав. Пятнадцать лет рыданий, слез и покаяния искупили общую вину двух грешников; не думайте, что отголоски страсти звучат в ее жестоких угрызениях. Давно уже это горячее раскаяние чуждо пылких воспоминаний. Да, потоки слез погасили жаркий пламень. Я ручаюсь, — продолжал он, положив руку на голову г-жи Граслен и показав прелату ее полные слез глаза, — я ручаюсь за чистоту этой ангельской души. К тому же в ее замысле я вижу желание восстановить честь отсутствующей семьи, которая по воле провидения имеет здесь своего посланца.

Вероника взяла дрожащую руку кюре и поднесла ее к губам.

— Вы часто были ко мне суровы, дорогой пастырь, но теперь я поняла, где кончалась ваша апостольская кротость! Вы, — обратилась она к архиепископу, — вы, верховный владыка этого уголка божьей державы, будьте моей опорой в страшный час позора! Я склонюсь на коленях, как последняя из женщин, а вы поднимете меня, дав мне прощение, и, быть может, я стану равна тем, кто не знал падения.

Архиепископ молчал, мысленно взвешивая все доводы и возражения, которые прозревал своим орлиным оком.

— Монсеньер, — снова заговорил кюре, — религия подверглась жестоким испытаниям. Возвращение к старинным обычаям, вызванное тяжестью вины и покаяния, может превратиться в торжество церкви, за которое все будут нам благодарны.

— Скажут, что мы фанатики. Скажут, что мы потребовали этой ужасной исповеди. — И архиепископ снова погрузился в размышления.

В это время, предварительно постучавшись, вошли Орас Бьяншон и Рубо. Когда дверь отворилась, Вероника увидела свою мать, сына и всех домашних, молившихся за нее на коленях. Священники из двух соседних приходов тоже были здесь, они пришли, чтобы прислуживать г-ну Бонне, а также затем, чтобы приветствовать знаменитого прелата, которому французское духовенство единодушно прочило кардинальский сан, надеясь, что его высокий, истинно галликанский ум способен просветить священную коллегию.

Орас Бьяншон должен был вернуться в Париж, он пришел проститься с умирающей и поблагодарить ее за щедрость. Врач ступал медленными шагами, догадавшись по выражению лиц обоих священников, что речь идет о ране душевной, которая привела к телесному недугу. Уложив Веронику, он взял ее за руку и пощупал пульс. Глубокое безмолвие сельской летней ночи придавало торжественность этой сцене. Большая зала с распахнутыми настежь двухстворчатыми дверьми была ярко освещена; все молились, стоя на коленях, кроме двух священников, сидя читавших свои требники. По одну сторону роскошной парадной кровати стояли прелат в фиолетовой рясе и кюре, по другую — оба врача.

— Она не знает покоя даже в смерти! — сказал Орас Бьяншон, подобно всем богато одаренным людям умевший находить слова, достойные великих событий, свидетелем которых он бывал.

Архиепископ встал, словно движимый внутренним порывом; он позвал г-на Бонне, и, направившись к дверям, они пересекли спальню, затем залу и вышли на террасу, где провели в беседе несколько минут. Увидев, что они возвращаются, закончив обсуждение спорного церковного вопроса, Рубо поспешил к ним навстречу.

— Господин Бьяншон просил передать, чтобы вы торопились. Г-жа Граслен умирает в страшном возбуждении, не имеющем отношения к ее болезни.

Архиепископ ускорил шаг и, подойдя к г-же Граслен, смотревшей на него с тревогой, сказал:

— Ваше желание будет исполнено!

У Бьяншона, не снимавшего руки с пульса больной, вырвался жест удивления, он посмотрел на Рубо и на обоих священников.

— Монсеньер, это тело больше не подчиняется законам науки. Ваши слова вдохнули жизнь туда, где уже царила смерть. Вы заставите меня верить в чудеса.

— В нашей больной уже давно жива только душа! — сказал Рубо, и Вероника поблагодарила его взглядом.

В этот миг счастливая улыбка, появившаяся на губах у Вероники при мысли о полном искуплении, придала ее лицу выражение небесной чистоты, так красившее ее в восемнадцать лет. Страшные морщины, проведенные жизненными тревогами, темные краски, серые пятна, все меты времени, наделившие пугающей красотой это лицо, выражавшее только страдание, — одним словом, все ужасные перемены в облике Вероники исчезли; казалось, до сих пор она носила маску, и маска эта упала. Последний раз повторился чудесный феномен, при котором красота жизни и чувств этой женщины находила верное отражение на ее лице. Все в облике Вероники очистилось и просветлело, словно мечи, сверкавшие в руках слетевших к ней ангелов-хранителей, озарили ее своим отблеском. Такой она была, когда в Лиможе называли ее *прекрасная г-жа Граслен*. Любовь к богу оказалась еще могущественнее, чем преступная любовь; одна пробудила некогда все жизненные силы, другая победила предсмертное бессилие. Раздался приглушенный крик, матушка Совиа бросилась к кровати.

— Наконец я снова вижу мое дитя! — воскликнула она.

Выражение, с каким произнесла старуха слова *мое дитя*, так живо напомнило о невинной поре детства, что все свидетели этой прекрасной смерти опустили головы, стараясь скрыть свое волнение. Знаменитый врач, склонившись, поцеловал руку г-жи Граслен и вышел. Стук колес его экипажа, нарушивший ночную тишину, возвестил, что нет надежды сохранить душу этого края. Когда г-жа Граслен задремала, архиепископ, кюре, врач и все друзья, испытывавшие тяжкую усталость, тоже прилегли отдохнуть. На заре умирающая проснулась и попросила, чтобы открыли окна. Ей хотелось последний раз увидеть восход солнца.

В десять часов утра монсеньер Дютейль, облаченный в епископские ризы, вошел в комнату г-жи Граслен. Прелат и г-н Бонне с таким доверием относились к этой женщине, что не стали давать ей никаких советов относительно границ, которых должна она держаться в своих признаниях. Вероника увидела, что духовных лиц больше, чем было их в приходе Монтеньяка, — здесь присутствовали священники из соседних общин. Четыре сельских кюре собирались прислуживать монсеньеру. Великолепные церковные украшения, которыми одарила г-жа Граслен свой приход, придавали церемонии особую пышность. Восемь мальчиков из хора, в красных с белым одеждах, стояли двумя рядами от кровати до выхода в залу, держа в руках высокие подсвечники золоченой бронзы, выписанные Вероникой из Парижа. По обе стороны возвышения стояли убеленные сединами ризничие с крестами и хоругвями. Преданные Веронике прихожане принесли деревянный алтарь из ризницы, убранный и подготовленный для того, чтобы монсеньер мог служить перед ним мессу. Г-жа Граслен была глубоко взволнована, — подобные заботы церковь уделяет лишь коронованным особам. Двери из залы в столовую были открыты, и Веронике виден был весь первый этаж замка, где собралось почти все население деревни. Друзья позаботились о том, чтобы в зале находились только домочадцы. Впереди, у дверей спальни, столпились ближайшие друзья и люди, на чью скромность можно было положиться. Г-да Гростет, де Гранвиль, Рубо, Жерар, Клузье и Рюффен поместились в первом ряду. Все они стояли, чтобы голос кающейся не был слышен никому, кроме них. К тому же рыдания друзей заглушали признания умирающей. Впереди всех стояли две женщины, на которых страшно было смотреть. Первая была Дениза Ташрон; чужеземная, квакерски простая одежда сделала ее неузнаваемой для земляков, но тут присутствовал человек, которому трудно было забыть ее; появление Денизы оказалось лучом света в страшной тайне. Главный прокурор внезапно постиг истину; роль, в которой он выступал перед г-жой Граслен, открылась ему в полной мере. Судейского чиновника, этого сына девятнадцатого века, меньше других подверженного власти религиозных догм, охватил ужас, ибо только теперь он понял, какую тайную драму переживала Вероника в особняке Граслена во время процесса Ташрона. Эти трагические дни вновь возникли в его памяти, освещенные горящими глазами старухи Совиа, которые, пылая ненавистью, словно изливали на него два потока расплавленного свинца. Эта женщина, стоявшая в десяти шагах перед ним, не простила ему ничего. И человек, представлявший земное правосудие, содрогнулся. Бледный, раненный в самое сердце, он не смел взглянуть на ложе, где женщина, которую он так любил, сраженная рукою смерти, лежала, собирая все силы, чтобы победить агонию величием своей страшной вины. При одном взгляде на сухой профиль Вероники, четким белым пятном выделявшийся на красной камке, у него кружилась голова. В одиннадцать часов началась месса. Когда кюре из Визе прочел апостола, архиепископ снял стихарь и встал на пороге двери.

— Христиане, собравшиеся здесь, дабы присутствовать при таинстве соборования хозяйки этого дома, — сказал он, — вы, соединившие свои молитвы с молитвами церкви, дабы предстательствовать за нее перед господом и испросить ей вечное спасение, знайте, что в свой смертный час она сочла себя недостойной принять святое причастие, не свершив в назидание ближним публичного покаяния в самом большом своем грехе. Мы противились ее благочестивому намерению, хотя обычай публичного покаяния был принят в первые дни христианства. Но поскольку бедная женщина сказала нам, что речь идет о восстановлении доброго имени одного из сынов этого прихода, мы предоставили ей свободно следовать зову раскаяния.

После этих слов, произнесенных с мягким пастырским достоинством, архиепископ отошел в сторону, уступив место Веронике. Умирающая выступила вперед, опираясь на руки двух величественных, всеми почитаемых людей — кюре и старой матери; не подарило ли ей материнство тело, а матерь духовная, церковь, — душу? Вероника преклонила колени на подушке и, сложив руки, на мгновение задумалась, из какого-то небесного источника в своем сердце черпая силы для того, чтобы заговорить. В эти минуты молчание стало страшным. Никто не смел взглянуть на соседа. Все глаза были опущены. И все же, когда Вероника подняла глаза, она встретилась с взглядом главного прокурора, и выражение его бледного лица заставило ее покраснеть.

— Я не могла бы почить в мире, — слабым голосом заговорила Вероника, — если бы оставила о себе ложное представление, которое все вы, слушающие меня, могли себе создать. Вы видите перед собой великую грешницу, которая вверяет себя вашим молитвам и пытается заслужить прощение публичным признанием в своей вине. Вина эта столь тяжела, последствия ее так ужасны, что, быть может, никакое покаяние не может ее искупить. Но чем больше унижений перенесу я на земле, тем меньше буду я опасаться гнева божьего в царствии небесном, куда я стремлюсь.

Отец мой, относившийся ко мне с доверием, двадцать лет назад поручил моим заботам юношу из этого прихода, который отличался примерным поведением, способностями к наукам и превосходными душевными качествами. Юноша этот был несчастный Жан-Франсуа Ташрон. С тех пор он привязался ко мне, как к своей благодетельнице. Каким образом чувство мое к нему стало греховным? Об этом, я думаю, мне позволено умолчать. Быть может, вы сочтете, что самые чистые чувства, руководящие нами в земной юдоли, незаметно уклонились от правильного пути, станете искать оправдания в необычайной самоотверженности, в человеческой слабости, во множестве причин, как будто смягчающих тяжесть моей вины. Но даже если сообщниками моими были чувства самые благородные, я не стану от того менее виновной. Я предпочитаю открыто сказать, что, стоя по своему воспитанию и общественному положению выше этого мальчика, которого доверил мне мой отец и от которого меня должна была отделять свойственная нашему полу стыдливость, я роковым образом послушалась голоса дьявола. Я испытала слишком сильное материнское чувство к этому юноше, чтобы остаться равнодушной к его робкому и безмолвному обожанию. Он первый оценил меня по достоинству. Быть может, меня соблазнил ужасный расчет: я подумала, как скромен будет мальчик, обязанный мне всем и по воле случая стоящий от меня так далеко, хотя по рождению мы оба равны. Наконец, слава о моей благотворительной деятельности, об исполнении религиозного долга служила завесой, скрывающей мое поведение. Увы! Свою страсть я таила в тени алтарей, и это, без сомнения, один из величайших моих грехов. Самые добродетельные поступки, любовь к матери, мое благочестие, подлинное и искреннее, несмотря на мои заблуждения, — все служило жалкому торжеству безрассудной страсти, и я чувствовала, как опутывают меня неразрывные узы. Моя бедная обожаемая мать, которая слушает меня сейчас, долго, сама того не зная, была невинной сообщницей зла. Когда глаза ее открылись, я совершила уже столько опасных поступков, что она нашла в своем материнском сердце силы молчать. Ее молчание превратилось в высшую добродетель. Любовь к дочери победила любовь к богу. Ах, я торжественно снимаю с ее души эту тяжесть! Она закончит дни свои, не принуждая лгать ни лицо свое, ни свои глаза. Пусть будет чиста от осуждений ее материнская любовь, пусть ее благородная святая старость, увенчанная всеми добродетелями, предстанет во всем своем блеске, освобожденная от цепи, которая невольно влекла ее к бесчестию!..

Тут голос Вероники пресекся от рыдания; Алина подала ей нюхательную соль.

— Даже преданная служанка, которая оказывает мне эту последнюю услугу, относилась ко мне лучше, чем я заслуживала, она делала вид, что не знает того, что ей было хорошо известно. Но она была посвящена в тайну сурового покаяния, умерщвлявшего мою плоть, которая, наконец, сдалась.

Итак, я прошу прощения у людей в том, что обманывала их, подчиняясь ужасной человеческой логике. Жан-Франсуа Ташрон виновен меньше, чем общество могло думать. Ах! Я умоляю всех, кто слушает меня! Подумайте, как был он молод, как опьяняло его и мое раскаяние и невольные соблазны. Больше того! В нем говорила честность, но честность плохо понятая, и она-то привела к величайшему несчастью. Мы оба не могли больше выносить эту непрестанную ложь. Он взывал, несчастный, к моей гордости, он хотел, чтобы эта роковая любовь не была постыдна для меня. Я, только я виновна в его преступлении! Вынужденный необходимостью, бедный юноша, виновный лишь в безграничной преданности своему кумиру, избрал самый непоправимый, самый опасный из всех запретных путей. Я узнала обо всем лишь в день преступления. Но в момент выполнения ужасного замысла рука божья опрокинула все здание ложных расчетов. Я прибежала, услышав крики, которые до сих пор звучат в моих ушах. Я догадалась о кровавой борьбе, но не в моей власти было остановить ее, я сама была причиной ее безумия. Ташрон был тогда безумен, я утверждаю это.

Тут Вероника посмотрела на главного прокурора, а из груди Денизы вырвался глубокий вздох.

— Он лишился разума, когда увидел, как неожиданно рухнуло все, что считал он своим счастьем. Несчастного юношу совратило с пути собственное сердце; роковая неизбежность вела его от проступка к преступлению, от преступления к двойному убийству. Одно мне ясно: он вышел из дома моей матери невинным, а вернулся туда преступником. Только я одна во всем свете знала, что не было здесь ни преднамеренности, ни тех отягчающих обстоятельств, что стоили ему смертного приговора. Сотни раз я хотела признаться во всем, чтобы спасти его, и сотни раз героическим усилием, продиктованным мне свыше, смыкала свои уста. Возможно, именно то, что я была там, в нескольких шагах, и придало ему ужасное, постыдное, позорное мужество убийцы. Один он бежал бы. Я воспитала эту душу, развила этот ум, облагородила это сердце, я знала: он неспособен на низкие чувства. Воздайте справедливость этому невинному орудию, воздайте справедливость тому, кто благодаря милосердию божьему мирно спит в могиле, которую орошали вы слезами, догадываясь, без сомнения, об истине! Карайте и проклинайте виновную, она перед вами! Придя в ужас от совершенного преступления, я все сделала, чтобы скрыть его. Мне, не имевшей своих детей, отец поручил чужое дитя, чтобы я привела его к богу, а я привела его на эшафот! Ах, осыпайте меня упреками, разите меня, час мой пришел!

Когда Вероника произнесла эти слова, глаза ее засверкали неукротимой гордостью. Архиепископ, который стоял позади Вероники, осеняя ее епископским жезлом, вышел из своего бесстрастного спокойствия, он протянул правую руку и прикрыл глаза кающейся. Раздался глухой стон, словно вырвавшийся в предсмертной муке. Жерар и Рубо подхватили упавшую в глубокий обморок Денизу Ташрон и унесли ее из комнаты. Когда Вероника увидела это, глаза ее погасли, она взволновалась. Но вскоре душевный покой мученицы вернулся к ней.

— Теперь вы знаете, — продолжала она, — я не заслуживаю ни похвал, ни благословений за все, что я здесь сделала. Во имя неба я вела тайную жизнь, исполненную сурового покаяния, и небо будет судить ее! Жизнь моя, известная всем, была отдана исправлению совершенного мною зла; свое раскаяние я запечатлела в делах, которые оставят неизгладимый след на этой земле; быть может, оно будет существовать вечно. Оно живет в золотых полях, в растущей деревне, в ручьях, устремившихся с гор в равнину, некогда дикую и бесплодную, а теперь зеленую и цветущую.

Ни одно дерево не будет срублено здесь в течение столетия без того, чтобы местные жители не вспомнили, чьи угрызения совести взрастили его. Кающаяся душа, вдохнувшая жизнь в этот край, будет еще долго жить среди вас. То, что приписывали вы таланту и достойно примененному богатству, сделано наследницей своего раскаяния, той, что совершила преступление. Долг обществу возвращен, на мне одной лежит ответ за жизнь юноши, оборванную в расцвете сил; мне была она доверена, и с меня спросят отчета!..

Слезы хлынули из глаз Вероники, погасив пылавший в них огонь. Она помолчала.

— И еще есть среди вас человек, который честно выполнил свой долг и тем навлек на себя мою ненависть, как казалось мне, вечную, — продолжала она. — Он был для меня первым орудием моей пытки. Все произошло слишком недавно, ноги мои слишком глубоко погрузились в кровь, чтобы я могла заглушить в себе ненависть к правосудию. Я поняла, что, пока хоть зерно гнева живет в моем сердце, не умрут во мне греховные страсти. Мне не нужно было прощать, я лишь очистила тайное прибежище, где скрывалось зло. Как ни дорого далась мне эта победа, но она одержана.

Вероника увидела залитое слезами лицо главного прокурора. Земное правосудие тоже способно испытывать муки совести. Когда кающаяся подняла голову, чтобы продолжать исповедь, она встретилась с полными слез глазами старца Гростета, который протягивал к ней руки, словно умоляя: довольно! И тут эта неподражаемая женщина услышала такие раздирающие рыдания, что, тронутая столь сильной любовью, успокоенная бальзамом всеобщего прощения, она почувствовала, как охватила ее смертельная слабость; увидев, что силы Вероники иссякли, старая мать бросилась к ней и, словно в дни своей молодости, на руках отнесла ее в постель.

— Христиане, — сказал архиепископ, — вы слышали исповедь кающейся. Она подтвердила приговор правосудия земного и может успокоить его сомнения или тревоги. Вас же слова ее побудят снова присоединить молитвы ваши к молитвам церкви, которая служит мессу, дабы испросить у всевышнего милосердное прощение в ответ на столь великое раскаяние.

Служба возобновилась. Вероника следила за ней с видом такого глубокого внутреннего покоя, что казалась другой женщиной. На лице ее появилось выражение непорочной чистоты, освещавшее его в те дни, когда она невинной девушкой жила в родительском доме. Заря вечной жизни уже окрасила ее лоб белыми и золотистыми бликами. Вероника внимала таинственной музыке и черпала жизненные силы в своем желании последний раз соединиться с богом. Кюре Бонне подошел к кровати и дал Веронике отпущение грехов. Архиепископ помазал ее святым елеем, и на лице его отразились отцовские чувства, показавшие всем молящимся, как дорога была ему эта заблудшая, но вновь обретенная овечка. Совершив помазание, прелат закрыл для всего земного эти глаза, причинившие так много зла, и замкнул печатью церкви слишком красноречивые уста. Уши, слыхавшие столько дурных внушений, стали глухи навек. Чувства, укрощенные покаянием, были теперь освящены, и дух зла потерял власть над этой душой. И все величие и глубина таинства предстали перед людьми, увидевшими, как увенчались заботы церкви исповедью умирающей.

Приготовленная к причастию, Вероника вкусила тела господня с чувством надежды и радости, растопившим льды неверия, на которые так часто наталкивался кюре. Потрясенный Рубо стал в этот миг католиком! Зрелище это было и трогательным и страшным; но оно было настолько торжественно, что искусство живописи, быть может, нашло бы в нем сюжет для одного из своих шедевров.

Когда, после причастия, умирающая услыхала, как читают евангелие от Иоанна, она знаком попросила мать привести к ней сына, которого раньше увел из комнаты воспитатель. Увидев преклонившего колени Франсиса, прощенная мать почувствовала себя вправе благословить свое дитя и, возложив руки на его голову, испустила последний вздох. Старуха Совиа стояла рядом, не уходя с поста, как все последние двадцать лет. Эта по-своему героическая женщина закрыла своей многострадальной дочери глаза и поцеловала их один за другим. Тогда все священники и ризничие окружили кровать. Освещенные трепетным пламенем свечей, они затянули грозную мелодию De profundis, и звуки ее поведали крестьянам, стоящим на коленях перед замком, друзьям, молящимся в комнатах, и всем слугам, что мать кантона скончалась. Рыдания и стоны сопровождали заупокойное пение.

Исповедь владетельницы замка не вышла за порог спальни, ее слышали только друзья. Когда крестьяне соседних сел вместе с жителями Монтеньяка пришли один за другим, чтобы, бросив зеленую ветвь, сказать со слезами и молитвой последнее прости своей благодетельнице, они увидели какого-то подавленного горем судейского; он стоял на коленях, держа в своих руках холодную руку женщины, которую, сам того не желая, ранил так жестоко, но так заслуженно.

Два дня спустя главный прокурор, Гростет, архиепископ и мэр, держа за концы черное покрывало, провожали тело г-жи Граслен к месту последнего упокоения. Ее опустили в могилу при полном молчании. Не было произнесено ни слова, ни у кого не хватало сил заговорить, глаза у всех были полны слез. «Это святая!» — шептали люди, уходя по дорогам кантона, который она возродила, и слово это как бы вдохнуло душу в созданные ею поля. Никому не показалось странным, что г-жу Граслен похоронили рядом с Жаном-Франсуа Ташроном. Она не просила об этом; это старая мать, движимая любовью и состраданием, посоветовала ризничему положить рядом тех, кого земля разлучила так жестоко, но общее раскаяние соединило в чистилище.

Завещание г-жи Граслен было таким, как все ожидали. В Лиможе она учредила стипендии в коллеже и основала койки в богадельне, предназначенные только для рабочих; она ассигновала значительную сумму — по триста тысяч франков каждые шесть лет — на приобретение части деревни, называемой Ташроны, где завещала выстроить приют для бедных стариков кантона, для больных, для родильниц, не имеющих крова, для подкидышей; приют должен был носить имя Ташронов. Вероника пожелала, чтобы уход за больными был поручен сестрам-монахиням и выделила четыре тысячи франков на жалованье хирургу и врачу. Г-жа Граслен просила Рубо быть главным врачом приюта, подыскать себе в помощь хирурга и наблюдать с санитарной точки зрения за постройкой здания вместе с Жераром, который назначался архитектором. Кроме того, она завещала в дар монтеньякской общине обширные луга, доходы с которых должны были идти на уплату податей. Церкви был оставлен фонд помощи для особых случаев: на эти деньги следовало оказывать поддержку молодым людям и детям Монтеньяка, проявившим склонности к искусству, наукам или какому-нибудь ремеслу. В своем стремлении к разумной благотворительности завещательница указала суммы, ассигнуемые на поощрение талантов. Весть о смерти Вероники, встреченная повсюду как общественное бедствие, не вызвала никаких пересудов, оскорбительных для памяти этой женщины. Такая сдержанность была как бы воздаянием почести ее высоким добродетелям со стороны благочестивых тружеников, возродивших в этом уголке Франции чудеса, описанные в «Нравоучительных письмах»[[41]](#footnote-41).

Жерар, назначенный по завещанию опекуном Франсиса Граслена, поселился в замке; через три года после смерти Вероники он женился на Денизе Ташрон, в которой Франсис обрел вторую мать.

*Париж, январь 1837 — март 1845.*

1. По обету (*лат.*), то есть приношения церкви. [↑](#footnote-ref-1)
2. *...продававшийся с национальных торгов зáмок.* — Земельные владения монастырей, а также поместья дворян‑эмигрантов были объявлены во время революции 1789—1794 годов национальным имуществом и продавались с торгов. [↑](#footnote-ref-2)
3. *«Черная шайка»* — так назывались в период Реставрации скупщики родовых аристократических замков, предназначенных на снос. [↑](#footnote-ref-3)
4. *...посещение мессы, которую служил не присягнувший священник.* — Во время революции священники должны были принести присягу на верность республиканскому правительству, иначе они лишались права служить в церкви. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Физиогномика* — теория, согласно которой можно якобы определить характер человека по чертам его лица и форме черепа. Основатель физиогномики — Иоганн‑Каспар Лафатер (1741—1801), швейцарский ученый, философ и богослов. [↑](#footnote-ref-5)
6. На греческий манер (*франц.*). [↑](#footnote-ref-6)
7. *Кассандра* — в греческой мифологии дочь троянского царя, прорицательница, предсказывавшая лишь мрачные, трагические события. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ламенне* , Фелисите‑Робер ( 1782—1854) — французский богослов, представитель так называемого «христианского социализма». Идеи Ламенне преследовались официальной церковью. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Сеид* , то есть приверженец, слепо преданный человек, от имени Сеида, раба Магомета. Образ Сеида был создан Вольтером в трагедии «Магомет». [↑](#footnote-ref-9)
10. *Процесс Фюальдеса.* — Фюальдес, крупный судейский чиновник времен Империи и Реставрации, был убит в 1817 году в притоне своими друзьями‑преступниками, боявшимися доноса с его стороны. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Дженни Динс* — героиня романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница» (1818). [↑](#footnote-ref-11)
12. *«Последний день осужденного»* — повесть В. Гюго, опубликованная в 1829 году, в которой он выступил против смертной казни. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Медея* — героиня одноименных трагедий древнегреческого поэта Еврипида (V век до н. э.) и французского драматурга XVII века Корнеля. [↑](#footnote-ref-13)
14. *«Поповская партия»* — прозвище, данное либералами ультрароялистам, связанным с конгрегациями (объединениями монашеских орденов). Идеологами ультрароялистов выступали Жозеф де Местр и Бональд. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Джеффри* , Джордж (1640—1689) — английский канцлер при Карле II и Якове II. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Лобардемон* , Жан‑Мартин — один из ближайших помощников кардинала Ришелье в борьбе с своеволием феодалов, был членом королевского суда. [↑](#footnote-ref-16)
17. *...знаменитые епископы Марселя и Мо ...архиепископы Арля и Камбрэ.* — *Епископ Мо* — Жак Бенинь Боссюэ (1627—1704) был известен своими проповедями. *Архиепископ Камбрэ* — Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ламот (1651—1715), писатель‑моралист, автор книги «Приключения Телемака, сына Улисса», содержащей критику абсолютизма. *Епископ Марселя* — Бельзене — принимал активное участие в борьбе с чумой в 1720—1721 годах. *Архиепископ Арля* — Дюло — казнен по приговору революционного трибунала в 1792 году. [↑](#footnote-ref-17)
18. *...уже в 1829 году... провидел судьбы монархии* — то есть понимал неизбежность ее краха. В результате Июльской буржуазной революции 1830 года рухнула монархия Бурбонов. [↑](#footnote-ref-18)
19. *...борьба, разжигаемая принцем Полиньяком между либералами и Бурбонами...* — Князь Арман Полиньяк возглавил в ноябре 1829 года кабинет министров, проводил крайне реакционную политику, был одним из вдохновителей ультрароялистов. Политика Полиньяка привела к резкому обострению внутреннего положения во Франции. [↑](#footnote-ref-19)
20. *В августе 1830 года...* — то есть после Июльской буржуазной революции 1830 года. [↑](#footnote-ref-20)
21. Божественный дух (*лат.*). [↑](#footnote-ref-21)
22. *Вы похожи на язычника Ореста, станьте же святым Павлом!* — *Орест* — герой греческой мифологии, после убийства матери преследуемый богинями мщения Эриниями, сошел с ума. *Павел* — согласно библейской легенде, язычник Савл, презиравший христиан, будто бы услышал голос бога; потрясенный этим, раскаявшись, он принял христианство и стал известным под именем апостола Павла. [↑](#footnote-ref-22)
23. *...Маленький капрал* — так называли Наполеона в целях конспирации его сторонники. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ла Кентини* , Жан (1626—16OO) — французский садовод, был назначен главным садовником садов и оранжерей Людовика XIV. [↑](#footnote-ref-24)
25. В низменной душе (*лат.*), то есть делать опыты на животных. [↑](#footnote-ref-25)
26. *...бедствия, постигшего в самом сердце Парижа первый висячий мост...* — Речь идет о неудачной постройке висячего моста через Сену в 1826 году. Мост рухнул. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Монж* , Гаспар ( 1746—1818) — французский математик, один из основателей Политехнической школы. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Вобан* , Себастьен (1633—1707) — французский военный инженер, создатель системы военных укреплений. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Рике* , Пьер‑Поль (1604—1680) — французский инженер, строитель Большого южного канала во Франции. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Кашен* , Жозеф‑Мари (1757—1825) — французский инженер, по его проекту был построен мол в Шербурге. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Стефенсон* , Джордж (1781—1848) — английский изобретатель, построил первую железную дорогу в Англии. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Мак‑Адам* — шотландский инженер, первый начал строить дороги с грунтовым покрытием и стал укреплять их укатанным камнем. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Пифагор* (ок. 580 — ок. 500 до н. э.) — математик, создатель религиозно‑мистического учения о переселении душ. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Лопиталь* , Мишель (ок. 1505—1573) — французский политический деятель, канцлер Фракции, стремился примирить католиков с гугенотами. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Три знаменательных дня* — то есть дни Июльской буржуазной революции 1830 года — 27, 28, 29 июля. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Лютер, Кальвин, Цвингли* — реформаторы католической церкви, выступавшие в Германии, Франции и Швейцарии в XVI веке. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Нокс* , Джон (1505—1572) — последователь учения Кальвина, пропагандировал идеи Реформации в Шотландии. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Закон о праве старшинства.* — Согласно Гражданскому кодексу, введенному Наполеоном в 1804 году, было уничтожено право старшинства, или право первородства, то есть преимущественное право старшего сына нераздельно наследовать состояние отца. Равное право наследования получали все дети. Это вело к раздроблению владений старой аристократии. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ордонансы.* —26 июля 1830 года правительство Карла X, борясь с нарастающим революционным движением во Франции, опубликовало ордонансы, чрезвычайные королевские указы, коими объявлялась распущенной палата депутатов, вводились новые ограничения в избирательную систему, устанавливалась более строгая цензура. Ордонансы вызывали возмущение в народных массах и послужили толчком к началу событий Июльской революции 1830 года. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Навигационный акт* Кромвеля был принят в 1651 году Долгим парламентом по инициативе Кромвеля. Актом устанавливалась монополия британского торгового флота в торговле с колониями, в торговле со странами Африки, Америки и Азии. [↑](#footnote-ref-40)
41. *«Нравоучительные письма»* — ежегодные отчеты французских католических миссионеров. [↑](#footnote-ref-41)